

Октябрь

2000

5
Октябрь

5 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

2000

МАЙ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей НОСОВ. Член общества, или Голодное время. Роман	3
Бахыт КЕНЖЕЕВ. В тесноте отступающих лет... Из книги «Невидимые». Стихи	62
Петр АЛЕШКИН. Три рассказа	68
Владимир КАЧАН. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка... Свободное сочинение на свободную тему. Окончание	87
Евгений ШКЛОВСКИЙ. Сатори. Рассказы	129

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Олег ПАВЛОВ. Наша война. Из «Нелитературной коллекции»	148
Лариса БЕРЕЗОВЧУК. Великий инквизитор на марше, или Культура как власть	152

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Отличие ямба от хорея

Кирилл КОБРИН.
Письма в Кейптаун о русской поэзии 167

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Шествие голого короля 173

Елена ИВАНИЦКАЯ.
Дороги и спотыкания 178

Переписка по Цельсию и Фаренгейту

Андрей ГРИЦМАН.
Будет ли будущее? 181

Песни познания

Самый долгий саспенс в мире. О неэстетичном
отношении действительности к искусству 189

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

***Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.***

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 28.03.2000. Подписано к печати 20.04.2000. Формат 70x108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8540 экз. Заказ № 830. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Член общества, или Голодное время

РОМАН

Глава 1. Падение самовара

Кого ни спроси (тех, кто помнит еще) — помнят до мелочей День Великого Катаклизма. Я-то помню день предыдущий. В этот день я сдал Достоевского.

В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное — сочинений собрание — я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова... закоулками, огородами, проходными дворами, пролазами... просто тамошний «Букинист», он работал по воскресеньям.

Почему я не взял такси? Потому что не было ни копейки.

Ничего, ничего, он бы понял меня, Федор Михайлович, и простил, а то бы еще и благословил даже на сдачу его сочинений (так я себя утешал), ибо знал он, что такое долги, кредиторы и неплатежеспособность.

Полагаю, при определенных обстоятельствах он бы сам отнес, не задумываясь, в «Букинист» на проспект Огородникова, окажись такой комплект у него пускай даже в единственном экземпляре, — свое полное собрание произведений — со всеми рукописными редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками несохранившихся и найденных писем, сводными указателями, включая фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, исправлений и дополнений.

Уже по этому перечню видно, что я ПСС открывал.

Не то слово. Я прочитал все 30 томов, или 33 книги, от корки до корки — от первых слов «От редакции: Настоящее Полное собрание Ф. М. До...» — до последней печатки по списку: «П. К. Раухфуса» вместо «К. А. Раухфуса».

И все 30 томов, или 33 книги, я прочитал за три дня и три ночи! Это покажется невероятным. Поверить в это нельзя. Лично я ни за что б не поверил, что такое возможно!.. Но я знаю: возможно!.. За три дня и три ночи! И это было со мной!

Весной 91-го я имел глупость посещать платные курсы сверхбыстрого чтения по методу Шелеховского-Картера. Тогда этот сомнительный метод широко разрекламировали в газетах как «основной вспомогательный инструментарий метаинтеллектуального развития»; никто не знал, что сие означает, но верили, что что-то хорошее. Вот я и пришел по газетному объявлению в ДК им. Крупской, заплатил девяносто рублей (тогда я работал и мог позволить), попал в группу студентов и домохозяйек, наслушался умных речей, ощутил прелести глубинного погружения в «метаинтеллектуальный сфероид расширяющихся потенциалов» — в меру предрасположенности к этому делу. Нам говорили, что учат нас будто бы по рассекреченной методике ГРУ-ЦРУ; тогда все время что-нибудь якобы рассекречивали, а якобы рассекретив, тут же выгодно втюхивали восторженным потребителям через всевозможные платные курсы.

Трехсуточная атака на Достоевского была мне засчитана как дипломная работа. Другие атаковали Теккерера, Серафимовича, многотомную «Жизнь рас-

тений», словари, энциклопедии, «Махабхарату» — в общем, то, что оказывалось под рукой. В целом я выдержал испытание. Получив свидетельство об окончании курсов и едва добравшись до дома, до койки, я, рухнув, понял, что еще чуть-чуть — и сошел бы с ума, я вырубился, уснул, стал поленом, веслом, дирижаблем, оглоблей, а когда пробудился и посмотрел с ужасом на книжные полки, решил, что с Достоевским в одном доме мне делать нечего. (Забавно, что и жена моя — только уже по отношению ко мне, а не к Достоевскому — тоже пришла к аналогичному умозаключению...)

Несколько дней я не мог смотреть на печатные знаки. А когда посмотрел, то не смог внятно воспринимать напечатанное. Я не понимал, о чем читаю. Я даже не понимал, читаю ли я, когда я читаю, или я не читаю? А читал я так: или стремительно, или совсем никак, вперив неподвижный взгляд в одну букву.

Я запил. Водка подействовала благотворно; я исцелялся. Через месяц-другой я снова научился читать по-человечески: как все — сначала по слогам, потом бегло — правда, влечения к чтению напрочь лишился.

...А вот чему я был бы рад придать значение (но не решаюсь) — престранному разговору в троллейбусе, приключившемуся между мной и одним ниже обозначенным субъектом вскоре после того, как я получил за Достоевского денежку. Итак, по порядку.

Мой нетерпеливый кредитор проводил август в поселке Солнечном. А до Солнечного, как известно, можно добраться с Финляндского вокзала. А от проспекта того Огородникова до Финляндского ходит, по счастью, троллейбус — «восьмерка»; вот я и поехал на нем.

Я сидел у окна и листал от нечего делать (здесь бы надо подробнее...) старинную с ятями книжку. Называлась она красиво: «Я никого не ем» и вся кишела овощными рецептами. Эта книжка досталась мне в наследство от одной давней подружки, которой была не нужна, — ну а мне и подавно. Я сегодня ее собирался по случаю сдать, приложив к Достоевскому, но Достоевского взяли охотно, а эту нет, ну и пусть. Их право.

Ладно. Троллейбус наш повернул на Загородный. На остановке возле пожарной каланчи вошел некто и сел рядом. Я книгу листаю; не прошло и минуты, как он подает голос: «Что-то интересное... Судя по всему что-то суворинское... Или нет? Маркса?..»

«Энгельса!» — обрезал я довольно-таки грубо. Но он не обиделся. «Понимаю. — Он дал мне понять, что ценит юмор. — “Анти-Дюринг” в переводе Веры Засулич». Не обиделся — и блеснул эрудицией.

Я посмотрел на субъекта: зрелых лет, худощав, гладко выбрит. Он неприятно — неприятно доброжелательно — улыбался. И еще: несмотря на жару, был он в костюме. И костюм был с иголки.

Скрывать я не стал, пусть знает: «Я никого не ем». — «Вы?» — «Нет, это название. — Я закрыл книгу и показал обложку. — Видите? “Я никого не ем”».

«Зеленковой. Ольги Константиновны Зеленковой, — сказал мой сосед. — Как же не знать... 365 вегетарианских блюд... Петербург, тринадцатый год, если память не изменяет... У вас третье издание?» — «Понятия не имею». — «А вы на титул взгляните». — «Третье, третье». — «Зеленков редактировал, Александр Петрович, супруг Ольги Константиновны, известный врач в свое время...» — «Вот как?» — поразился я необыкновенным познаниям. «Он, он», — подтвердил незнакомец. «А я и не знал». (И знать, честно говоря, не хотел.)

«У вас редчайшей сохранности экземпляр. Просто редчайшей». — Я заскромничал: «Корешок поврежден». — «Пустое! — энергично возразил мой попутчик. — Это же поваренная книга, вы понимаете? Поваренная! Часто ли вы видели поваренные книги в издательских переплетах?»

«Никогда не видел, — честно сознался я. — Только эту».

«И неудивительно! Такого рода литература до дыр зачитывалась. Елена Молоховец на аукционе дороже Ахматовой идет прижизненной, почти как Чехов с автографом! А все потому, что в издательском переплете. Это Елена-то Молоховец! Она в каждом доме, у каждой хозяйки была, и где теперь ее пере-

плеты? Нет, нет, берегите свою Зеленкову, такой экземпляр, я вам просто завидую. Разрешите?»

Я хотел ему дать книгу в руки, чтобы полистал, если хочет, но он брать и листать не стал, а лишь прикоснулся к обложке двумя пальцами, тогда как «Я никого не ем» по-прежнему держал я. Мне стало смешно. «Возьмите, не бойтесь». — «Да? Вы разрешаете? Знаете, там у вас, я видел, печать какая-то... на титуле... Разрешите взглянуть?» — «Сделайте милость. Это первого владельца, наверное». «Какая прелесть! Какая прелесть! — Он внимательно рассматривал печать на титуле. — Какая прелесть, однако!»

Печать же (однако) была самая обыкновенная — овал, по краям надпись: «Кабинетъ для изученія массажа и лечебной гимнастики», — а в середине: «П. Я. Струцъ».

«Уж не родственник ли ваш?» — спросил я попутчика. «Родственник, да не мой». — «А чей?» — «Откуда ж мне знать? — проговорил незнакомец, возвращая книгу. — Вам лучше известно. Я думал, что ваш. Но не ваш. Вижу, не ваш. В принципе все люди родственники. И вы, и я». — «Но вы сказали “какая прелесть”». — «Просто я от печатей, от книг с печатями, сам не свой. Страсть такая во мне... книги с печатями. Я их, знаете ли, коллекционирую... Каких у меня только нет их... с печатями. Извольте».

*Долгат Фомич Луночаров
Общество друзей книги,*

— прочитал я на визитной карточке.

Значит, не сумасшедший. Как будто. А то уж подумал. Все может быть.

«Вам выражение «маргинальная сфрагистика» о чем-нибудь говорит?» — спросил Долгат Фомич Луночаров. «Нет, ни о чем». — «Сфрагистика — это наука о печатях, позвольте напомнить, вообще о печатях. А маргинальная сфрагистика — то, чем я занимаюсь. Моя тема».

Я почтительно промолчал.

«Есть у меня Пушкин брокгаузский, великолепнейшее издание... А печать? Не догадаетесь: «Всесоюзный Совет рабочих точного машиностроения. Библиотека завкома имени ОГПУ». Как вам нравится?» — «Редкий, должно быть, экземпляр», — сказал я уклончиво. «Еще бы. Ваш тоже редкий». — «Вообще-то это не моя книга». — «Я сразу понял». — «Почему?» — «Для приверженца безубойного питания у вас не тот цвет лица, извините. Вы сегодня жарили что-то на свином жире, бьюсь об заклад». — «Верно, картошку...» — «А вчера, не хочу вас обидеть, пили портвейн. Молдавский. Где вы только достали его? Все спирт «Рояль» пьют».

«Потрясающе!» — вымолвил я, без дураков потрясенный, ибо действительно был угощаем вчера молдавским розовым.

«Очень был признателен вам, — продолжал Долгат Фомич, — если бы вы нашли возможным позволить мне переснять как-нибудь титульный лист этого замечательного экземпляра — с печатью. Верну, верну обязательно!.. В моей коллекции нет ничего касаясь лечебной гимнастики. У меня больше по общественным дисциплинам, по сельскому хозяйству, по искусству...»

Почему же не дать? Я дал ему книгу, пусть переснимет. Он бережно положил ее в кейс. Мой телефон записал и даже адрес, обещал позвонить. Спросил: «Когда лучше — утром? вечером?» — «Утром. Вечером меня не бывает... — «трезвым» следовало бы добавить. — Только соседям не передавайте, у нас плохие отношения». (Под «соседями» я подразумевал жену с ее не скажу кем.)

«Понимаю. А может, у вас по музыке есть что-нибудь? Я печать имею в виду... Нет? Хотя бы школы какой-нибудь музыкальной?»

У меня ничего по музыке не было, ничего музыкального, даже слуха не было, не то что школы, — о чем я и доложил Долгату Фомичу, сам не знаю зачем. Медведь, сказал, наступил на ухо. «Вот уж не поверю, музыкальный слух может развить каждый». — «А я не могу. У меня патологическое отсутствие слуха».

Я не обманывал. Я не чувствую ритма. Я не способен отхлопать на ладошах пять слов по слогам. Спеть что-нибудь — Боже упаси! Не способен танцевать.

Буду наступать на ноги. Да еще не в такт. Самое невероятное: мне снятся музыкальные сны, а иногда (и нередко!) звучат в голове мелодии — знакомые, полужаномые и, главное, совсем незнакомые, я слышу их!.. Но чтобы воспроизвести, хотя бы самую простенькую... никогда в жизни!.. Даже «Чижик-пыжик» спеть не могу. Полное отсутствие слуха.

Я так и сказал. Вообще-то я человек скрытный, но не знаю сам, зачем-то я разоткровенничался.

«Выходит, внутри вас живет музыка?» — спросил Долмат Фомич, привстав (его остановка). «Живет, да не выходит!» — Я засмеялся. «Гений! Гений! — восхищенно воскликнул мой собеседник. — Ну мне пора». — И, пожав руку, выскочил из троллейбуса.

В Солнечном я был недолго. Встретился со своим нетерпеливым кредитором (о чем рассказывать неинтересно) и отдал ему почти все деньги, вырученные за Достоевского, — расплатился. На душе посветлело.

Того, что осталось, хватило еще на две бутылки «Стрелецкой» — по самой что ни на есть *коммерческой цене* (не по талонам).

На Достоевского, на тридцатитомного, полного, академического, можно было бы жить больше месяца, если б не долг. А месяц был август. Краснели гроздья рябины. Помню, смотрел я в окно электрички и думал, как продал легко его, сдал. Страна у нас при всем при том (при том, что я сдал Достоевского) оставалась по-прежнему *литературоцентрической*: ехали и читали — кто детективы, кто классику... кто роман, кто басню... А кто-то в окно смотрел, кто читать не желал или нечего было. Кончилось лето почти. Гроздья рябины. Я лета не видел.

Это по прошествии дней многим будет казаться, что в те часы накануне грандиозных событий все только и думали об одной политике. Вот и не так. Я лично, глядя в окно электрички, переводил полного Достоевского в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка) — в денежном эквиваленте.

Самым дорогим был Достоевский в спичках (если в мировых ценах). А также в отечественных презервативах. А также в ворованных дрожжах, что продают пачками возле проходной комбината на Курляндской улице.

Но и без спичек, и без отечественных презервативов, и без ворованных дрожжей можно было бы жить на Достоевского месяца два-три, получалось.

Если б не долг. Я второй месяц нигде не работал. А жил я у парка Победы в сталинском доме с высокими потолками. Один — не один.

С некоторых пор я полюбил не торопиться домой, если это можно называть домом.

В тот вечер вот что случилось.

Около девяти приходит ко мне с куриным паштетом институтский приятель Валера, и не один. «Познакомься, Надей зовут». Ну, Надя и Надя.

Хлеб я купил, и мы выпили за Надежду. И за наше общее, что ли, здоровье. И потом, не чокаясь, ни за что — по простоте отношений.

Поначалу пить не очень хотелось. Однако «Стрелецкая» славно пошла.

За стеной загудело. Это включился пылесос не без помощи моей полубывшей жены. Он всегда включается, когда ко мне приходят гости. Жена полюбила чистить ковер. Ненавижу с детства этот ковер, эту мещанскую роскошь.

«Удивительный человек, — сказал Валера, показывая на меня, — он женился на аферистке. Она с ним фактически развелась, живет с хахалем в его же квартире, оттяпало комнату, и теперь они, представляешь, вы-тра-вли-вают, вы-тра-вли-ают его отсюда, гонят на улицу! Олег, помани мое слово, ты здесь жить не будешь!»

«Преувеличиваешь, — сказал я, — сильно преувеличиваешь».

Я не против истины, но Валера действительно преувеличивал. Хотя в его словах доля правды была. Не хочу развивать коммунальную тему, она мне противна. Если послушать Валеру, я какой-то болван, недотепа. Все гораздо сложнее.

«Слушай, а ты знаешь, на что мы это... пьем сегодня? — вдруг встрепенулся Валера.— Олешка Достоевского продал!»

«Бюст?» — спросила Надежда. «Сочинений,— сказал я,— собрание. Полное!» «Бюст, наверное, дорого стоит»,— о каком-то все грезила бюсте.

«Живет на Сенной,— Валера мне объяснил,— у тетки живет. А ты был на Сенной? Барахолка... Три тыщи народу...» — «Если есть что продать, я продам,— сказала Надя, обнимая Валеру.— Хоть бюст, хоть что».

«Книга не водка,— я тоже сказал,— она должна быть дорогой».

Чужая мысль, не моя. (И небесспорная.) От того, что я вспомнил ее, чужую, меня замутило. С некоторых пор организм не переносит цитаций. Я встал и пошел на кухню. Шатало.

Я хотел попить холодной воды, но из крана почему-то текла только горячая, видно, кран у нас работал неверно. Горячую я пить не желал.

Элька вылезла из-под стола и зарычала. «Поди прочь, животное!» — сказал я собаке.

«Не называй Эльвиру животным!» — Это вышла моя жена, вернее, уже не жена из своей... моей, вернее... в общем, из другой комнаты.

«Сука»,— сказал я собаке назло жене. «Алкоголик! — закричала Аглая. (Па-па-па-бам!.. К вопросу о музыке...) — Ты нарочно дразнишь ее, чтобы она тебя укусила!»

Я не был алкоголиком. Я стал выпивать лишь в последнее время. И потом не потому на меня рычала собака, что была мною дразнима, а потому, что... не знаю сам почему... потому что, знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти?.. «Пошла отсюда, пошла отсюда,— повторял я собаке,— скотина плешивая!..»

«Артем! Он хочет, чтобы его укусила Эльвира!»

«Сука»,— продолжал я свои оскорбления.

Ее вошел в турецком халате. «Артем! Посмотри на него!..» — Ее посмотрел.

«Гашенька, моя дорогая,— заскрежетал ее зубами (своими зубами),— Гашенька, моя дорогая, ты только скажи мне, я его в порошок сотру!..»

«Скажи скорей ему, Аглая, за что тебя твой муж имел?» — не удержался я передразнить Пушкиным. На сей раз цитата, точная или неточная, получилась все-таки к месту, и для меня — как глоток свежего воздуха (право, не ожидал). Аглая взвизгнула. Собака тявкнула. Ее дал мне в глаз. Я дал в глаз ему. Мы сцепились. Затрещал халат турецкий. Попадали стулья. Посуда полетела со стола.

В общем, картина нелицеприятная.

Стоял у нас большой медный самовар на буфете. Память о бабушке. В детстве я прятал в нем сигареты. Жена говорила, что я подарил ей самовар этот на день почему-то ее рождения. Неправда. Я не дарил. Но пусть.

Он-то и загремел мне на голову.

В глазах потемнело. «Уездили клячу»,— послышалось мне (или вслух произнес — кто теперь знает?). Я потерял сознание.

Моя фамилия Жильцов. Олег Жильцов.

Жильцов Олег Николаевич.

Странная фамилия — Жильцов; Нежильцов мне кажется более внятной.

Естественно, в школе я был Жильцом. И во дворе был я Жильцом. Что лучше, конечно, как думаю я сейчас, чем быть Кирпичом, например, каковым был мой враг Кирпиченко. Но кирпич, я думал тогда,— это твердость, увесистость, прямота, а что такое жилец? Я недолюбливал свою фамилию. Я недолюбливал свою фамилию за то, что она начиналась почему-то с малосимпатичной буквы Ж, за то, что в ней явно слышалась ЖИЛА, за мягкий знак, за глупое цоканье. Учителя, мне казалось, произнося «Жильцов», сглатывали слюну.

Иногда я протестовал. Ко мне обращались: «Жилец». «Я не жилец»,— отвечал я сурово.

В шестом классе в гостях у Оли Кашицкой я впервые увидел словарь Даля. Полубопытствовал. Не найдя слов неприличных, ни того, ни другого, ни третьего, открыл на «жилыце». Так вот кто такой жилец.

«Кто жив, кто живет или кому еще суждено жить?»

Хорошо это или плохо? Пожалуй, с этим можно смириться.

Хуже: «Постоялец, нанимающий помещение». Еще хуже: «Паренек для прислуги».

Неясно, как относиться к — «уездному дворянину, жившему при государе временно». Вроде бы дворянин — вполне сносно, но почему «при» и каком еще государе?

Сотрясенный мой мозг алкал безмятежности. Сотрясенный мой мозг алкал, говорю, безмятежности, а тут такие события. Вот и я теперь: кого не спроси (всех, кто помнит еще) — до мельчайших подробностей помнят День Великого Катаклизма. Мне же нечего вспомнить.

В больнице им. 25-го Октября встретил я день 19 августа, и тем он запомнился мне, что сильно тошнило. 20-го тоже сильно тошнило, и 21-го тоже тошнило, но меньше, не так уже сильно. Потому что кололи магнезию. Мировые силы сходились в единоборстве, решались судьбы народов, а мне, равнодушному к их судьбам, кололи магнезию в задницу — такое ужасное несоответствие!

Прежде чем уколоть, сестра сообщала обязательно новость: дан такой-то приказ, ультиматум такой-то отвергнут, Борис Николаевич почему-то с броневика обратился к народу. Тошнило. С победой демократии перестало тошнить, и я снова почувствовал желание что-нибудь съесть; но, странное дело, когда я потом, по прошествии дней, месяцев, лет, видел на телеэкране лица героев, особенно то, одутловатое, с выражением отеческой заботы, сразу припоминался нервный, неровный сестрицын голос и начинало поташнивать.

В те дни я и не думал вникать в происходящее, я вообще старался не думать. Просто не думалось — вот и вся моя мысль.

Отголоски исторических потрясений, затухая в сотрясенном мозгу, ничего не доказывали, кроме — что тошнит не без причины. «Белый дом... — переговаривались сестры — ... наш Белый дом...» «Белый дом. Белый дом. Белый дом», — позвякивали ложками нянечки и везли макароны желающим есть. Не наш ли? — глухо во мне отзывалось и глохло. «Будет штурм, — тревожились, — Белого дома». А мне так представлялось: дом, в котором лежу (обязательно белый), вот-вот начнут штурмовать и будут брать поэтажно.

Теперь, когда почасовая хроника событий опубликована, я склонен считать, что самовар загремел мне на голову в исторический момент: мятежники собрались на последнюю сходку. Трубецкой сказал: «Да!» Самовар навернулся. Я потерял сознание. Не сомневаюсь, Валера с Надеждой в этот миг, счастливые моим отсутствием, разрядились, как молнии, в любовной схватке, и я даже многих спрашивал потом: а что было с вами накануне известных событий — в такое-то время? И ведь с каждым что-то случалось. А раз так, раз произошел, в самом деле, некий неведомый всплеск вселенской энергии или что-то вроде того, мирового порядка-масштаба, должен ли я, многогрешный, со своей стороны роптать на Аглаю? Ну упал самовар и упал. О другом вспоминать не хочу. Аглая, прости.

Ждали жертв. В ночь на 20-е, узнал я потом, когда вспоминали другие, а мне полегчало, — в ночь на 20-е ждали жертв. Кого-то действительно привезли, но не в нашу палату. Привезенный оказался белогорячным.

Я поправлялся. Меня посещали. Пришел как-то Валера, принес бутылку кефира и печенье со знаковым именем «Привет Октябрю». У него остались мои ключи. Жил Валера теперь в моей комнате — вместе с Надеждой. «Не волнуйся, мы присмотрим за комнатой. Все будет в порядке».

Я и не волновался несколько.

Оказывается, в ночь на 20-е Валера и Надежда были на баррикадах. Они защищали Мариинский дворец, оплот тогдашней законно избранной местной власти. К счастью, нападающих не было. Защита прошла успешно.

«Ты представить себе не можешь,— вдохновенно говорил мне Валера,— как это было здорово! Как прекрасно! Какое единение людей! Самых разных! Самых-самых разных людей! Ты знаешь, я впервые ощутил себя счастливым. Такой был единый порыв! Общий восторг!.. Как жаль, что тебя не было с нами! Если б не это,— он показал на мою голову (мне — на мою),— ты бы был обязательно с нами».

«Извини,— сказал я как можно мягче, чтобы не обидеть Валеру,— вас тоже не было со мной». «С тобой? Сравниваешь... Все было так стремительно. Когда мы вбежали, ты лежал на полу». «Ну и ладно, Валера».— Я пожал ему за пястье по-дружески. Он сидел рядом, я лежал, улыбался.

Страшно представить, что было бы, если бы на площадь перед Мариинским дворцом выехали настоящие танки. А тут Валера с Надеждой на баррикадах. Все гибнут, кроме Валеры. Надежда гибнет последней. А Валера контужен. И вот мы с ним лежим в больнице им. 25-го Октября. Соседние койки. Я, поправляясь, подаю ему пить. Он герой. Я — пришибленный самоваром.

Как-то раз я получил передачу — экзотический фрукт киви (в тот год он был нам еще в диковинку), а к нему прилагалась записка:

«Дорогой друг! Знаю, знаю, что Вы поправляетесь. Искренне желаю скорейшего и полного выздоровления. Не смею обременять Вас своим непосредственным присутствием, но прошу принять мое заверение в дружбе. У меня есть для Вас небольшой сюрприз. Когда выпишетесь, обо всем узнаете. Жму руку. Ваш Д. Ф. Л.».

Кроме «дефлорации» и «дефиле», никаких ассоциаций «Д. Ф. Л.» не вызвало. Я был больше обескуражен, чем тронут. Я не знал — от кого. Целый вечер перебирал всевозможных знакомых, и только ночью, во сне, вдруг озарило: Долмат Фомич Луночаров, троллейбусный пассажир! Я мигом проснулся. Палата храпела. Луночаров мог найти меня через Аглаю, я же дал ему телефон. Я был потрясен вниманием Луночарова. И немного испуган. Сюрприз... Не люблю я сюрпризов.

Незадолго до выписки еще раз пришел Валера, принес опять же кефир и печенье принес, «Радость детства» печенье.

«Понимаешь, они тебя изведут. Тебе не ужиться с Аглаей». «Понимаю,— сказал я,— а что же мне делать?» «Главное, не делать глупостей»,— дал Валера дельный совет. «Ну спасибо, Валера».— «А что? Тебе нужен покой. Плюнь на эту квартиру. Пока. А потом — видно будет... Давай сделаем так. Мы сейчас поживем у тебя, поприсмотрим с Надеждой за комнатой... Ничего, у нас получается, мы справляемся, ты не волнуйся... А ты... Ты пока что у Надькиной тетки поселишься, есть каморка свободная, в двух шагах от Сенной... Комфорт не обещаю, но зато в центре города, вид из окна, сам понимаешь, и второе — отдохнешь, расслабишься, она бандитов боится, не хочет одна... По крайней мере не сумасшедший дом, это я тебе гарантирую. Соглашайся. Ну?»

«Гну»,— сказал я Валере. Он был прав. Возвращаться мне не хотелось. Я хотел сменить обстановку. «Тетка-то,— спросил я,— наверное, сильно ненормальная?» — «Нормальная тетка. С ней Надька жила. Соглашайся».

Я подумал: «Пожалуй»... И ответил: «Давай».

Глава 2. Сенная

Пока я лежал в больнице, многое у нас изменилось. Петербург, в частности, стал опять Петербургом, а был последний раз Ленинградом. Не чудо ли это? В Петербурге я вышел на волю, а стукнуло меня в Ленинграде еще. Как для других, не знаю, но по мне метаморфоза *Ленинград — Петербург* — далеко не формальность. И отчасти еще потому, что я перебрался — буквально: из бывшего *ленинградского* сталинского дома возле парка Победы — в бывший *доходный петербургский* дом в трех шагах от Сенной.

Екатерина Львовна жила на последнем этаже, кажется, на пятом или на четвертом,— я так и не сосчитал, сколько этажей в этом доме: кажется, пять, а

может, четыре... Может быть, шесть, не считал... В любом случае, чтобы к себе попасть, я должен был еще повыше подняться по деревянной скрипучей лесенке, потому как жилище Екатерины Львовны было странным образом само по себе двухэтажным: внизу — ее комната, наверху — то, что как бы мое, антресоли типа кладовки — под самым скатом пологой крыши: когда на матрасе лежишь, слышно, как дождь стучит-убаюкивает.

А я часто лежал. И все слышал — и дождь, и воркование голубей, и кошачьи гулянки.

Нормально. Было бы хуже без лампочки. Подвешенная к перекладине, она меня выручала. Она делала зримыми некоторые предметы. То есть, конечно, зримыми все становились предметы, когда освещались, но лишь некоторые я признавал фаворитами.

Лежа, я мог их рассматривать. На худой конец просто видеть.

Или замечать их присутствие — что на самом деле мне больше всего и нравилось, причем боковым именно зрением, невзначай, когда, не думая ни о чем, повернешься на правый бок, в общем-то, строго говоря, к стене, хоть и с окном (как бы).

«Все же лучше, когда что-то есть, чем когда нет ничего, — сказала Екатерина Львовна в день знакомства. — Что найдешь наверху, все твое. Не стесняйся, бери».

Корзина, коробка, картонка и похожая на маленькую собачонку детская вязаная шапка с помпоном, повешенная на кривой гвоздь и забытая всеми на свете. Отчего-то именно к ним, простым и ненужным, я проникся нежностью. В них что-то было. На самом деле ничего не было. Но мне нравилось их сочетание. Чем-то трогало душу. Корзина, коробка, картонка... Были бы живыми, я бы с ними мог перекинуться парой слов о проблеме, допустим, самоидентификации (или самосинхронизации... или о понимании, допустим, понятия самодостаточности), так ведь не были. Впрочем, и хорошо, что не были: не надо ничего допускать. А я был. Был и теперь уже по принуждению на какую-то щетку смотрел, потому что не мог не замечать ее неравномерной облезлости. Она меня, щетка, тем уже злила, что привлекала за чем-то внимание. словно дразнила: ну что, слабо выбросить? Из принципа не выбрасывал. Хотя мог.

«Чай пить пойдешь?» — кричала снизу Екатерина Львовна, сбивая меня с какой-нибудь оригинальной мысли. Если чего не жалел я, так это мыслей своих, тем более оригинальных. Ничуть.

Поднимался с матраса — и вниз по ступенькам: скрип, скрип. У нее ужасно скрипели ступеньки.

С Екатериной Львовной мы сразу поладили. Она очень боялась грабителей. Уверенность в том, что живой кто-то дышит поблизости, избавляла Екатерину Львовну от ночных безотчетных страхов.

Она выписывала «Известия» за то, что там печатали о погоде по всей стране, и в целом придерживалась правильных взглядов. Вот, скажет, намерен к нам Солженицын вернуться. Хорошо-таки. Хорошо. А то вдруг за чаем процитирует Горбачева: «Свобода стала уже высшей ценностью...»

«Армия-то, считай, на пороге реформ...»

Или так: «Нет, — говорит, — слишком большие мы, слишком громадные... Надо нам поделиться на сорок частей — и дело с концом... Вся беда от того, что у нас одно государство».

Спросит порой: «Ты что хочешь от жизни?» Отвечаю: «Трудно сказать». Помолчим. «А вы?» — «А я справедливости».

Возьмет нож и начнет на разделочной доске делить гуманитарную помощь из объединенной Германии.

Сенная площадь — вот стихия Екатерины Львовны. Когда узнала она, что я продал книги, очень обрадовалась и с жаром меня похвалила: «Молодец. Молодец! Так и надо. Надо все продавать. Теперь все продается».

Еще весной Екатерина Львовна поделила имущество по категориям — с таким расчетом, чтобы хватило на 500 дней (именно за 500 дней предполагалось

тогда построить капитализм в России), и понесла в соответствии с разработанным графиком личные вещи на знаменитую барахолку. Насколько я понимаю, Екатерина Львовна капитализм представляла как раз коммунизмом, куда можно войти без имущества.

Предпринимательницы вроде Екатерины Львовны, жившие рядом, обносили ряды бутербродами и блинами. К моему появлению в ее доме Екатерина Львовна уже всерьез подумывала о блинах. Но блины надо печь, бутерброды же с нехитрым *дефицитом* наподобие вареной колбасы покупались *по коммерческой цене* в ближайшей кулинарии. Для блинного предприятия Екатерине Львовне, кроме муки, требовался ассистент. Я наотрез отказался.

«Увольте. Мне некогда». — «Что значит некогда? — кипятилась под антресолями Екатерина Львовна. — Может, ты блины печь не умеешь? Так я научу». — «Нет. Спасибо. Я сам по себе». (Вставать не хотелось, лежал на матрасе.) «Сам по себе — быстро ноги протянешь. Надо занимать активную позицию в жизни. Где же твой *авангард*?» — «Какой еще авангард?» — «Сам знаешь какой». Я не знал. Честно не знал. Я так и не узнал, что понимала Екатерина Львовна под *авангардом*.

А Сенная мне и без Екатерины понравилась Львовны, и без ее авангарда. Я просто снял часы однажды с руки и спустился вниз, к людям.

В том сентябре я целиком принадлежал Сенной площади.

На Сенной быть радостно, Сенная место такое.

Хочешь — будь, хочешь — не будь.

Всего удивительнее, что на Сенной я повстречал немало знакомых. Одни бесцельно шатались, пораженные невиданным изобилием. Другие приходили с целью купить что-нибудь конкретное — пилу по металлу или талоны на мыло. Третьи — продать — вилочный набор или дачный карниз. Особо *крутых* (героин, редкоземельные элементы, Калашников...) среди моих знакомцев не было, и я тоже при встрече не мог никого ничем удивить.

А как она манит, как затягивает! Сегодня пришел с часами, завтра принесешь старинный барометр, послезавтра — домашние тапочки. Или нет, лучше значки, школьную твою коллекцию, столько лет пролежала без дела, Горький, Куйбышев, Калинин... города, имена, события... 50 лет Октябрю... 20 лет заводу точных приборов... Прощай, прошлое! Прощай! Главное — не попасть под трамвай, он, погромыхая, а на повороте с ужасным скрежетом, медленно, с трудом, еле-еле пробирается сквозь толпу — ну какое же скоростное движение может быть на Сенной площади? — тем более когда долгострой Метростроя за огромным бетонным забором царственно занимает всю середину...

Что-то со мной стало происходить неладное. Что — мне трудно было понять, но в одном я себе отчет отдавал: это сны, — стали мне видаться-слышаться странные сны, ладно бы музыкальные, это пускай, да ведь чересчур выразительные какие-то — рельефные, выпуклые, кинематографичные, с такими замысловатыми поворотами, с такими, бывало, причудливостями и неожиданностями, что, случилось, пробуждался я не иначе (по нескромности своей и самолюбивости), как с тщеславной мыслью об авторстве: да неужто я сам так сочинительствую? Раньше я сны забывал моментально, плохой из меня сновидец. А тут вдруг помнится до мельчайших подробностей, а то как бы и не было ничего, и вдруг посреди дня весь сон сам собой вспоминается. Получалось, что конец сентября больше снами запомнился. На Камчатку поехал, а в поезде мухи летают, цеце, пассажиры боятся укусов... Или вот с покойным Потапенко из четвертой палаты (перелом черепа в трех местах) вместе стихи сочиняем, запомнилось только:

ужасней шепота натурщиц

халтурщик сукин сын халтурщик —

кто халтурщик? почему халтурщик? зачем сукин сын?.. И еще — профрейди-ское: Екатерина Львовна будто простужена и просит горчичник ей поставить, а мне как-то неловко ей ставить горчичник, и вру я ей, чтобы горчичник не ставить, будто в Крым горчичник уехал, зато есть, говорю, для согрева чуть-чуть,

и, гляжу, стакан уже на столе, а в нем зубы вставные... Стал я частенько во сне поддавать, до головокружения налимонивался. Во сне! Ну а в жизни было не так выразительно. Дни слеплялись в комок. Листья верно желтели. Сотрясался Советский Союз. Возрождалась, считалось, Россия.

Вспомнил сон про Эльвиру. Гадкий сон, тем более гадкий, что никогда до сих пор — даже во сне — за мной кровожадности не замечалось. А приснилось, что хочу зарубить топором их Эльвиру. Туристским топориком. И что будто в этом вопрос всей моей жизни: дерьмо я, вопрос, или все ж не дерьмо? дерьмо или нет? (не к деньгам ли приснилось?) чтоб топориком тюкнуть?.. И что будто Эльвира, с одной стороны,— воплощение зла, исчадие ада, но, с другой стороны, должен я преступить, ибо есть тут порог, ибо в целом к собакам отношусь я нормально, без ненависти, хорошо. И долго терзаюсь. Истерзавшись, пробуя лезвие пальцем, решаюсь я: да! Да, готов! Я готов! Да, да! Да. Вдруг — звонок. Долгий-долгий. Эльвира с прогулки пришла. От звонка и проснулся.

Этот сон, когда вспомнился, на меня очень сильно подействовал. Что-то было в том сне издевательское, пародийное. Надо мной словно кто-то решил подшутить. Я ж не полный кретин. Я же вижу.

Вижу: подходит старушка к приятелю моему: «Милый, дай понюхать какао. Все равно не купить, дай понюхать только... Разреши».

Разрешает. Банку открыл. (И все наяву.)

«Ой! Спасибо, как пахнет!.. Слово молодость вспомнила... Пахнет-то как!.. Нам такое в войну присылали...» «Знаешь, мать,— произносит приятель, а голос дрожит,— я бы дал тебе, мать, но не дам, я пойду, мать, отправлю отца в Ростов-на-Дону». И уходит, не попрощавшись,— растрогался.

Я пошел бродить по Садовой. Не знаю что, но что-то нехорошее со мной начиналось, я не хотел нехорошего, и, чтобы было все хорошо в моем представлении, я представил себе, я представил в себе ощущение бодрости будто бы мысли. И слышалась гамма, простая, будто я наступаю на клавиши, так вот иду... Мстить кому бы то ни было (убеждал я себя), а тем более невинной собаке, у меня и в мыслях быть не могло. Этот сон мне приснился несправедливо!

Так рассуждая, я нечаянно оказался на набережной реки Фонтанки, стоило мне взглянуть себе под ноги, как стало понятно происхождение сна. Вот я что вспомнил. Вчера... да, вчера, как и сегодня, я шел вдоль... в до-ре-ми-фа- соль... вдоль Фонтанки, ля-си, точно так же ступал — осторожно, — потому что иначе ступать здесь нельзя, невозможно: на каждом шагу — я ничуть не преувеличиваю — буквально на каждом — лежат экскременты собачьи... Вот и разгадка. От загаженного тротуара мысль моя вчера невольно обратилась к Эльвире, я недобрым словом вспомнил ее, ну а дальше, что касается сна, это дело уже сновидческих механизмов. Но и это не все. Мне навстречу вчера шел худой гражданин, судя по поступи, озабоченный тем же (я вспомнил). Без труда догадавшись, о чем я думаю, он обратился ко мне с короткой речью: «Народ безмолвствует, а воры воруют. Дерьмо лежит прямо на улице. Владельцы собак перестали убирать за своими собаками. Грядут тяжелые испытания. Курс рубля падает. Власть гниет. Разваливается производство. Большинство писателей — бездари. Помните, что я вам сказал. Я знаю. Я сам депутат. Моя фамилия Скоторезов». «Скоторезов», — повторил я вслед уходящему.

Он же, повернувшись на мост и напряженно запоминаемый мною, высокий, худой, но вынужденно смотрящий себе под ноги, неожиданно уподобился гвоздю с помятой шляпкой — таким и запомнился — вбитым на границе двух административных районов Санкт-Петербурга — Ленинского и Октябрьского — в деревянный мост по имени Госткин мост, на котором курить запрещается, согласно табличке. И хотя собака — далеко не скотина, выше, чем скотина (и больше, чем скотина, друг человека), человек с резкой фамилией Скоторезов и с резвым скоторезовским темпераментом врзался в память мою и осел в подсознании, чтобы в должный час подпитать мой сон прихотливым пафосом собакоборчества. Мысль моя в тот день, я заметил (если это был тот день, о котором я говорю), начала пробуксовывать. «Я ж ее не убил, а всего лишь хотел убить», —

думал я. Гвоздь торчал из моста, а я уходил — уходил по направлению к дому. «Кто — кого?» — думал я, ни о ком конкретно не думая...

Вот, наблюдаю я, сосредоточиваясь, пропали из города воробьи, их более не подкармливают старожилы. Вот, наблюдал, беременных нет больше совсем, никто не рождает. Зато много бубнящих. В самом деле, отчего так много встречается бубнящих? Каждый третий встречный бубнит. Идет и бубнит. Он бубнит. Мы бубним. Мне бубнится. Я заставил себя не бубнить и сразу же оказался на лестнице — около подоконника. На подоконнике лежали окурки. Здесь курят пацаны. Пол-литровая банка окурков стоит на Сенной три рубля. «Даже крыша когда у тебя поедет,— пробубнило во мне,— не пойдешь продавать на Сенную окурки». Поехали, поехали, цеплялось слово за слово, поехали в Еристань. Потом то ли шел, то ли плыл, то ли лежал — то и было: лежал. «А не эпилепсия ли это?» — спросил государь и схватил меня за ногу. Вскрикнув, я проснулся.

Екатерина Львовна трясла мою ногу с остервенением: «Вставай, вставай, к телефону!» У Екатерины Львовны нет телефона — обстоятельство, которому не успел удивиться.

«Осторожно, тебе говорят... ой, какой ты... смотри,— она помогала спуститься по лестнице мне,— упадешь, костей не соберем. Аккуратней». «Который час?» — спросил я, спустившись в кухню. «Откуда ж мне знать? Мы ж с тобой часы наши... тью-тью...»

Мне показалось, что она шутит, этого быть не могло... чтобы тью-тью. И мои тоже — тью-тью? И ее тоже — тью-тью? Тью-тью.

Мы пришли к соседке — на этаж ниже. Я никогда не был в этой квартире. Прихожая. Круглый столик. Тью-тью. Трубка снята и ждет меня лежа. Соседка спряталась от меня, мне так показалось. «Проснись! — дал я команду себе и взял трубку.— Алле».

«Здравствуйте,— послышалось в трубке,— здравствуйте, Олег Николаевич». Я с ней поздоровался: «Здравствуйте» (...с трубкой).

«Хорошо? Хорошо ли здравствуете? Как здоровье ваше?» (Тью-тью?) «Хорошо,— отвечаю,— спасибо, хорошее».— «Это вас Долмат Фомич беспокоит. Помните, мы в троллейбусе ехали?.. У меня еще книга ваша осталась?» — «Книга?.. Моя?» — «Ваш экземпляр... Мне Аглая Петровна про вас рассказала, как найти. Через Аглаю Петровну и Надежду Евстигнеевну».— «Какую Евстигнеевну?» — «Через Надежду Евстигнеевну, которая в вашей квартире живет. Вместе с Валерием Игнатьевичем. Они телефон подсказали».— «Как же, как же... я понял».— «Олег Николаевич, дорогой, у меня радостная новость для вас. Сюрприз. Я писал вам в больницу, вы помните?» — «Да, спасибо, был тронут... и этот... как его... киви...» — «Ну так слушайте...» — «Да...» — «Олег Николаевич?..» — «Да...» — «Вы приняты в наше Общество!»

«Да?...»

«Общество друзей книги!»

Что же мне оставалось, как опять «да» не спросить. Я и спросил: «Да?» — «Да, Олег Николаевич! Поздравляю вас! Состоялся Совет — и ни одного голоса против! Все — за! Редчайший случай!.. С вас даже не требуется формального заявления, моей рекомендации оказалось достаточно. Так что примите мои искренние поздравления, Олег Николаевич». «Спасибо»,— отвечаю растерянно.

Долмат Фомич забеспокоился: «Ну что вы, что вы, это я вас благодарить должен!.. Такую книгу мне одолжили!.. С печатью... С печатью такой замечательной!.. Не сомневайтесь, Олег Николаевич, я все переснял, зарегистрировал... Спасибо вам... большое спасибо...»

Тут я вдруг ощутил необходимость самому членораздельно высказаться и вроде того залепетал, что рад, что не меньше моего Долмат Фомич тоже рад и что оказался ему чем-то полезен,— а сам думаю: на кой леший мне Общество это?

«Олег Николаевич,— между тем продолжал Долмат Фомич,— завтра у нас очередное заседание состоится. Очень вас прошу прийти. Заодно и книгу верну. Приходите, не пожалеете, доклад будет интересный. И еще кое-что».— «Но...

простите... мне как-то неловко в некотором смысле... знаете, такое ощущение, что я злоупотребляю вашим доверием...» — «Только этого не надо. Завтра в семь вечера в Доме писателей на Шпалерной. Знаете дворец Шереметева?» — «Так вы писатели, значит?»

Долмат Фомич словно даже обиделся. «Ни в коем случае. К писателям никакого отношения не имеем. Просто мы помещение там арендуем, Дубовую гостиную, — раз в неделю. Запомните, мы — Общество друзей книги. Общество друзей книги. Повторите, пожалуйста», — попросил Долмат Фомич неожиданно. «Общество друзей книги», — произнес я нерешительно.

«До завтра. Жму руку». — «Жму руку», — повторил я опять и как будто, в самом деле, пожал руку своему собеседнику.

«Что с тобой? — спросила меня Екатерина Львовна, когда я положил трубку. — Побледнел как покойник». — «Ничего, ничего, все в порядке».

Когда я поднимался наверх, меня заметно пошатывало. Тю-тю.

Глава 3. Друзья книги

Иначе Дом назывался Дворцом — Дворцом Шереметева. Хотя, говорят, он не был дворцом в силу какого-то формального правила: будто бы никто из царской семьи не ночевал в этих стенах...

В этих стенах, по мнению некоторых, бродят по ночам привидения.

На самом деле я и не собирался входить в Дубовую гостиную. Я хотел подойти к Долмату Фомичу после. Потому и опоздал нарочно. Но пока они еще заседали, решил подождать, благо рядом был стул, вот я и сел.

Я тогда в лицо никого не знал из писателей. Писатели и писатели. Но некоторые были приметные. Вот идет, на клюку опираясь, — бородат, волосат, а кто — кто, кто? конь в пальто! — теперь-то я точно знаю кто: живой классик, поэт... Еще приметна: встретишь — к перемене погоды...

А вот двое идут: один невысокий, в строгом костюме, при галстукке, без бороды, причесанный весь и взгляд суровый, холодный, сразу и не догадаешься, что поэт, а другой, приземистый, в свитере в сером и с бородой, а лицо добродоброе, догадайся, что критик... друзья!

Некая писательница остановилась: «Если вы в бильярдную, лучше зайти с той стороны». Ага, есть бильярдная. «Нет, я в Дубовую».

Она хотела сказать мне что-то про Дубовую (или про меня в свете Дубовой), но не сказала, прошла. И тогда я приоткрыл дверь.

И когда приоткрыл дверь — лишь посмотреть, там ли сидят библиофилы, — даже растерялся — от того, что был сразу ими замечен. Все повернулись в мою сторону, словно только и ждали меня, а Долмат Фомич (я его еще и распознать не успел) объявил радостно: «Вот он! Олег Николаевич! Олег Николаевич, милости просим! Вот место свободное».

Вошел. (Все на меня глядят.) Вот место свободное. Спасибо. Сел на старинный стул с резной спинкой (тут все старинное).

Один во главе стола стоит, наверное, доклад читал. Ждет. Рядом Долмат Фомич сидит и все про меня талдычит: «Это, прошу любить и жаловать, Олег Николаевич. Я рассказывал, вы знаете. Олег Николаевич...»

Я глупо головой киваю, раскланиваюсь. Мне товарищескими улыбками отвечают. «Да, да, — говорит Долмат Фомич докладчику, молоджавому старичку с лицом аскета. — Извините. Мы слушаем. Потрясающе интересно».

«Ну так я продолжаю?» — «Будьте любезны». — «На чем мы остановились?...» — «На мотивах».

«Коллеги, выделим два мотива и рассмотрим их поподробнее. Первый. Бытовой мотив: тривиальное отсутствие карандаша. Второй. Конспирологический: прошу внимания, сознательное сокрытие маргиналии от глаз постороннего...»

Моложавый старичок наполнил Дубовую ровно-взедливым голосом профессионального обозревателя сложных тем.

Не скажу, что я сразу понял, о чем доклад. Сначала мне показалось, о криминалистике. Проблема: когда подчеркивают в книге ногтем, как определить каким — указательного пальца или мизинца? Сложный вопрос. Тут, оказывается, пять методов, у каждого метода — свой критерий... Только доклад не о криминалистике был. А вот о чем: о маргиналистике, вспомогательной книговедческой дисциплине, о существовании которой мне до того раза даже слышать не доводилось. В общем, о маргиналиях, владельческих записях на полях и вообще о книжных пометах, всяких там крестиках, галочках, вплоть до отчеркиваний ногтем, едва заметных и потому особенно интересных для исследователя. Оказывается, докладчик не один год работал в этом направлении — систематизировал, описывал, соотносил. Я потом узнал, как его звали. Профессор Скворлыгин. И был он в первую очередь палеопатологом, одним из ведущих специалистов по болезням доисторических животных и первобытных людей; а кроме того — библиофилом, страстным, неистовым, с весьма и весьма специфическим интересом.

Скучная была лекция. Скучали все, не только я. Долгат Фомич при всей своей заинтересованности, несомненно показной, так старательно напрягал мышцы лица, подавляя зеवоту, что казалось, это челюсть его звонко щелкает, а не бильярдные шары в соседней комнате. Я начинал жалеть, что пришел, а когда докладчик приступил к Достоевскому, к его беглым записям на широких полях журнала «Ребус», январь 1880, причем которых за утратой экземпляра не видел никто, а вот он, профессор Скворлыгин, с помощью вторичных данных реконструировал смело, мне просто захотелось встать и уйти. Но я не ушел никуда.

Между тем аудитория оживилась, что-то было такое сказано, что заставило всех встрепенуться. Публика негромко переговаривалась. Многие стали выступать с места. Профессорский монолог сменился общей беседой, не так чтобы сильно непринужденной, но все-таки достаточно оживленной — дружеской и раздумчивой. Речь шла о книгах Терентьева. Фамилия эта мне ничего не говорила, однако я догадался, что Терентьев был членом Общества, здесь его знали все. «Милейший Всеволод Иванович», «наш дорогой Иванович», «Иваныч», «Сева», «незабвенный»...— кто с пиететом, кто, напротив, с подчеркнутым запанибратством, как бывает, когда говорят о покойнике очень близкие люди — с ощущением, что ли, вины: ты-то, друг, дескать, все теперь понял, все теперь знаешь, это нам здешним тырк-пырк, прости,— а кто с неизбывным таким удивлением: «трудно поверить», «невозможно представить»,— так вот они все и говорили об этом Терентьеве с места; и докладчик тоже говорил изменившимся голосом и лицом подобрев, оставив тон академический, всю свою лексику наукообразную — о Терентьеве, хотя больше о маргиналиях, о том, как поступает сквозь них лицо конкретного человека, в смысле, характер активного читателя, так сказать. Он если, значит, склонен к пометам, весь в них сам — в галочках на полях, крючочках, нотабене, в знаках вопросительных и восклицательных и других каких-нибудь, только ему и понятных,— подчеркнет ли он так слово или вот этак и напишет ли что где-нибудь сбоку. Замечание ли, как, допустим, Блок, оказывается, на 160-й странице третьего тома Бунина чиркнул небрежно: «Тютчев лучше писал», или, как, взять Пушкина — на письме Вяземскому — знаменитое, афористичное, убедительное: «Поэзия выше прозы». Или что-то вроде того. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно.

Вот две книги из личной библиотеки Всеволода Ивановича Терентьева: одна — просветительская брошюра, очень небрежно изданная, пособие по садоводству, другая — знаменитая «Кулинария», памятник советской полиграфии 50-х годов, едва ли не самая толстая книга, изданная в СССР массовым тиражом (помнится, СССР в тот день еще существовал худо-бедно, официально развалился он позже, месяца через три, в декабре, если не ошибаюсь). Так вот, на страницах обеих книг можно найти, объяснил нам Скворлыгин, пометы, сделанные рукой Всеволода Ивановича Терентьева. Что до брошюры, то это ис-

правления опечаток — докладчик заверил аудиторию, что он скрупулезно изучил текст брошюры, и, будьте уверены, нет там никаких иных опечаток сверх тех двадцати четырех, исправленных ее, брошюры, владельцем.

«По существу, он выполнил работу корректора. Сам. По внутреннему побуждению. Он даже обратился к словарю, чтобы исправить латинское слово... название... сейчас найду... сорта крыжовника... вот! Насколько я знаю, Всеволод не владел латынью».

Все были поражены. Но еще больше привлекли внимание маргиналии в кулинарной книге. В конце своей жизни Терентьев, выясняется, находился на бескислотной диете, о чем неоспоримо свидетельствовали записи, оставленные им напротив ряда рецептов. Этаким дневник, после каждой записи дата.

Диетические записи долго еще обсуждались.

«Ну как? — подошел ко мне Долмат Фомич, когда лекция завершилась. Он держал книгу, обернутую черной бумагой, я не сразу догадался, что это моя, которую у меня тогда не приняли в «Букинист». — Вам понравилось выступление? Не правда ли, хорошо? — И, не дожидаясь ответа, весело аттестовал докладчика: — Энциклопедист!»

В Дубовой гостиной стоял ровный кулуарный гул. Библиофилы, разбившись на кучки, предавались общению.

Похоже, Долмат Фомич был уязвлен моим равнодушием.

«Удивительный человек, — продолжал он расхваливать докладчика. — Запечатальный исследователь. Голова».

Тогда-то я и услышал о палеопатологии. Я узнал, как увлечен ею профессор Скворлыгин и как увлечение палеопатологией этой самой ничуть не мешает профессору Скворлыгину заниматься еще и маргиналистикой.

«Столько знать, столько знать!.. Впрочем, — тут Долмат Фомич хитро прищурился, — у нас все интересные. Неинтересных у нас нет людей. И быть не может. Спасибо вам огромное. Возвращаю вам с благодарностью».

Протянул мне книгу мою.

«Ах да! — вспомнил я, за чем пришел (пряча книжку под мышку). — Вам она пригодилась?»

«Еще как! Такая печать великолепная! «Кабинет для изучения массажа»... Круглая. В старой орфографии. И так пропечаталась... Я ведь справки навел. Была действительно Струц. Струц Ганс Федорович, и была у него действительно Школа изучения массажа и лечебной гимнастики, с кабинетом...»

«Вот как», — сказал я угрюмо.

«Вашу печать я сфотографировал (ксерокс в ту пору был еще не настолько популярен) и занес в особый реестр. Вы увидите... Я вам покажу когда-нибудь... Похваляюсь коллекцией...»

Я сказал: «Долмат Фомич, боюсь вас разочаровать, мне кажется, вы во мне сильно ошибаетесь. Конечно, спасибо за внимание, но ведь я здесь, честно говоря, сбоку припека...»

Лицо Долмата Фомича сморщилось, точно он укусил лимон или услышал невероятную пошлость. «Только честных слов, умоляю, не надо... Сюда, пожалуйста, — отвел меня в сторону. — Я редко ошибаюсь в людях. Вы — наш. Уверяю вас, вы с нами, с нами... Вам не может здесь не понравиться. Почему вам не нравится?»

«Мне нравится. Но дело в другом...» «Дело в том, — подхватил Долмат Фомич, — в том, что вы еще не освоились. Понимаю, понимаю. Осваивайтесь, я помогу. Уверяю вас, вы скоро сами вызовитесь прочитать доклад с этой трибуны». Никакой трибуны в Дубовой гостиной не было.

«Вы читали Монтеские “Персидские письма”?» — «Долмат Фомич, я далек от всего этого. Я уже давно не читаю книг, уж если вам хочется знать...» — «Не хочется, не хочется...» — «У меня Достоевский был, тридцать томов...» — «Вы не здоровы, Олег Николаевич, вы еще не оправились после болезни. Не хочу вас пугать, вы бледные, исхудавшие, с огоньком в глазах болезненным... Я вас пер

вый раз не таким встретил. Не возражайте. Вам надо очень серьезно задуматься о своем здоровье, и в первую очередь о питании. А в обиду мы вас никому не дадим, так и знайте!»

«Так и знайте» сказано было в сторону дубовой двери, за которой играли в бильярд мои, надо полагать, недоброжелатели.

К нам подошел профессор Скворлыгин. «Если надо лекарства, могу помочь».

«А?» — акнул мне Долгат Фомич, мол, а я что говорил... «Мне ничего не надо,— я начинал раздражаться.— Большое спасибо».

Подошел другой библиофил и, склонив голову набок, уставился на меня, улыбаясь.

«Олег Николаевич претерпевает финансовые затруднения,— неожиданно сообщил Долгат Фомич.— Он нетрудоустроен». Не успел я и рта открыть, как вновь подошедший радостно вымолвил: «Это ерунда. Сейчас придумаем». «У меня на кафедре есть место хранителя фондов»,— сказал профессор Скворлыгин.

«А вы не занимались никогда журналистикой?» — спросил тот, улыбающийся. «Нет, Семен Семенович»,— ответил за меня Долгат Фомич. «Это ничего. Мы затеваем газету... библиофильскую... “Общий друг” называется... Почему бы вам не поучаствовать?»

«Олег Николаевич,— сказал Долгат Фомич,— незаурядный стилист, я чувствую это на расстоянии». «В таком случае что вам ближе? “Библиография”, “Новинки”, “Наша коллекция”, “Колонки для всех”?»

И тут произошло невероятное: они мне выдали аванс. «Константин Адольфович, можно вас на минутку?.. Выдайте, пожалуйста, аванс молодому человеку, он будет вести у нас кулинарную рубрику...» Константин Адольфович, как выяснилось, казначей Общества, немедленно отсчитал мне две тысячи рублей — сумму на тот день весьма солидную. Я растерянно держал деньги в руке, не зная что и сказать, а Долгат Фомич тем временем мне втолковывал:

«Работа несложная, творческая, вам понравится. Найдете цитату из классика... «Ромштекс окровавленный»... как там дальше?.. «и Страсбурга пирог нетленный»... Сначала цитату приводите, а потом рецепт из кулинарной книги, как тот же ромштекс приготовить...»

«Ростбиф, а не ромштекс окровавленный,— весело возразил Долгату Фомичу профессор Скворлыгин.— “И трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет...”»

«“Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым”,— поспешил реабилитироваться Долгат Фомич.— Иными словами, Семен Семеныч, я не сомневаюсь, что нам всем повезло: с газетой согласился сотрудничать такой большой эрудит».

«А есть ли у вас кулинарная книга?» — обратился ко мне профессор Скворлыгин. «Думаю, что нет»,— быстро ответил Долгат Фомич. «Ну тогда я дам вам экземпляр покойного Всеволода Ивановича Терентьева». «Тот самый?» — спросил Семен Семенович испуганно. «Да, это ответственный шаг,— сказал Долгат Фомич.— Это не шутка». — «Но ведь там же записи на полях!..» — «Однако,— проговорил Долгат Фомич,— Олег Николаевич достоин доверия». — «Я тоже вижу, достоин доверия»,— изрек палеопатолог с какой-то возмутительно неуместной торжественностью. «Я тоже... собственно... вижу»,— поспешно согласился Семен Семенович и для пущей убедительности кивнул головой.

Теперь они обсуждали достоинства книги.

«Смотрите, какая большая.— Профессор Скворлыгин любовно ее перелистывал.— Государственное издательство торговой литературы. Москва, 1955 год. Ее до сих пор называют сталинской, хотя сам Сталин уже, как вы знаете, лежал в Мавзолее два года, такая фундаментальная». «А страниц-то, страниц-то... без малого тысяча!» — зачарованно произнес Семен Семенович. «Две с половиной тысячи столбцов! — отчеканил Долгат Фомич.— Одних цветных иллюстраций двести листов!» «И это при тираже полмиллиона!»

«А давайте-ка я вам прочитаю, что сказал академик Павлов. Эпиграф.— Профессор Скворлыгин стал читать с выражением: — “...Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, еда с испытываемым наслаждением...”»

«Прелесть! — умилился Долмат Фомич.— Слов нет. Прелесть».

Положить фолиант мне некуда было. Пришлось внять увещаниям профессора и взять его старомодный портфель с металлической пластинкой «Дорогому Скворлыгину от сослуживцев».

Решили, что недели мне будет достаточно. Через неделю, сказал Долмат Фомич, ко мне придет курьер, я ему и отдам приготовленное.

«Я бы мог и сам занести». — «Нет, нет, у нас еще нет офиса. Главного редактора непросто найти. С курьером надежнее».

«Господа! — воззвал к присутствующим Константин Адольфович.— У меня осталось три лотерейных билета! Есть ли такие, кто еще не получил билет Дантевской лотереи?»

«Олег Николаевич не получал. Дайте Олегу Николаевичу!»

«Только,— произнес Долмат Фомич шутливым тоном,— Олегу Николаевичу обязательно выигрышный». «Обязательно,— сказал казначей, поднося мне три билета.— На выбор».

«Мне, кажется, тот»,— сказал Семен Семенович. «А по-моему, этот»,— возразил профессор Скворлыгин. «Я сам знаю какой,— сказал Адольф Константинович.— Вот вам билет. Берите».

Я взял.

Всего замечательнее, что на этом наше собрание не закончилось, имело быть продолжение, причем в более узком кругу, довольно-таки для меня неожиданное. Из Дубовой гостиной мы с Долматом Фомичом выходили в числе последних, большинство библиофилов к этому времени успели разойтись. Долмат Фомич меня остановил: «Не сюда, не сюда, сюда, пожалуйста...» Здесь была еще одна дверь. «Пожалуйста, милости просим». — Он открыл, приглашая. Не зная, что там, я вместе с другими, оставшимися и, конечно, что там, отлично знавшими, библиофилами прошел сквозь какой-то чуланчик и очутился в изумительном по красоте помещении, стилизованном под нечто вроде фаустовского кабинета. Первое, что бросилось в глаза, был роскошный витраж: два льва держали щит, украшенный короной,— родовой герб давнего владельца дома.

За столиками сидели нетрезвые, почти все бородатые субъекты (как я догадался, местные литераторы), они шумно и не закусывая кутили — ничего, кроме водки, на столах не было. «Злачное место»,— шепнул мне Долмат Фомич, приглашая жестом пройти дальше, к еще одной двери, и увлекая меня за собой в другой зал.

Туда мы вошли последними. «Кворум!» — кратко объявил некто, возможно, Семен Семенович. Я увидел сервированный стол. Еще как сервированный!..

Никого, кроме библиофилов, здесь не было.

«Господа! — сказал профессор Скворлыгин.— Не пора ли отужинать? Прошу всех к столу». Библиофилы не заставили себя уговаривать, задвигали стульями, рассаживаясь.

Круг избранных — понял я наконец, где очутился. Актив Общества, сливки Общества. Гляжу на выход неволью. Адьо — и домой. «А вы?» — Меня приглашают сесть, меня — персонально. Нет, я стою, никуда не ушел, не сел еще, потому что стоя удобнее — именно мне доверяют открыть бутылку шампанского.

Зазвякали вилки и ножи.

Что ели, пожалуй, не буду описывать, хотя мог бы и отметить кое-что, ну хотя бы (не удержусь) жульен: «Жульен шампиньоновый с эстрагоном,— рекомендует профессор Скворлыгин с классической приятностью в голосе.— Не находите ли его аппетитным?»

Все находят жульен аппетитным, о чем тут же докладывают сияющему от счастья профессору. Это он, профессор Скворлыгин, виновник сегодняшнего торжества,— первый тост был за его доклад, за его успех. За его изыскания.

А второй — за меня.

Почему за меня? — Почему-то. — Буду принимать все как должное.

Иногда появляется Лариса, официантка, по всему видно, свой человек. «Ну что, мальчики, сыты?» «Ларисочка, — вкрадчиво мурлыкает пожилой библиофил с бакенбардами, — вы так похожи на Анастасию Николаевну, на жену писателя Федора Сологуба...» Куда с большим вниманием Лариса слушает Долмата Фомича, перед ним наклонясь, но ровно на столько, чтоб и тому пришлось вытянуть шею: он ей что-то на ухо шепчет, — не пора ли, быть может, принести канapé?

«Это правило или исключение? — обводя стол взглядом, спрашиваю соседку свою, Зою Константиновну, единственную библиофилку на все Общество библиофилов. «У нас, — отвечает она, — богатые спонсоры. Хотите филе?»

Потом библиофилы играют. Каждый называет фамилию малоизвестного ныне автора, причем обязательно надо называть писателя второй половины XIX века, и все выкрикивают, кто больше знает, что тот написал.

«Баранцевич!»

«*Воробушек!*» — «*Куколка!*» — «*Акулина!*»

«Новодворский!»

«*Карьера!*» — «*Тетушка!*» — «*Сувенир!*»

«Мачтет!»

«*Хроника одного дня в местах не столь отдаленных!*»

«Не спи-те, — нараспев проговорила Зоя Константиновна, положив ладонь на мое плечо. — Вы упускаете свой шанс.»

«Мне кажется, я действительно сплю», — сознался я честно. «Во сне не пьют. Налейте мне мадеру». — «Лично я как раз часто пью во сне». — «Вот как? Это признак алкоголизма, — и, подумав, добавила: — Или травмы. У вас разбитое сердце.»

«Вообще-то меня шарахнуло по голове недавно, а что до сердца, то все с ним нормально. За вас, Зоя Константиновна». — «За вас, Олег Николаевич.»

Скоро она опять заговорила: «Скажите, Олег Николаевич, глядя на меня, вы воображаете мелодию? Сознайтесь, внутри вас ведь что-то играет?»

Внутри меня ничего не играло. «Вам Долмат Фомич сказал?»

«А разве не так? Вы какой инструмент обычно воображаете — виолончель?» — «Никакой. Я так не могу объяснить. Я просто музыку иногда слышу. И все». (Если бы я при этом знал названия всех инструментов... Ну, скрипка, ну, арфа, ну, барабан... «Виолончель»...)

«И сейчас тоже слышите?» — «Сейчас нет». — «А оркестр бывает?» — «Ну, бывает». — «Симфонический?» — «Не знаю. Когда как. Когда симфонический, когда какофонический». — «Неужели вы способны вообразить какофонию?» — «Я нарочно не воображаю ничего. У меня само получается.»

Похоже, Зоя Константиновна была разочарована. Чтобы ее не расстраивать, я сказал: «Видите ли, сейчас я одержим полифонией.»

Отчасти так и было: после того, как я сдал Достоевского, что-то во мне звучало полифоническое...

«Олег Николаевич, а как вас величают любящие вас женщины?» «Кто как, — отвечал я уклончиво (не хватало еще ей рассказывать, как меня в былое время жена привечала, пока не выселила из квартиры). — По-разному.»

«Алик, Аленька, Алёнушка... — фантазировала Зоя Константиновна, уже захмелевшая. — Олег... Да! Олег. Замечательное имя. Олег Николаевич, я вас буду называть Олегом. Разрешаете?»

Тем временем настала моя очередь предложить фамилию малоизвестного литератора второй половины XIX века. Из малоизвестных я никого не знал, шутки ради я назвал фамилию моей бывшей жены, разумеется, девичью: «Хвошчинская!»

Со всех сторон закричали: «*Большая медведица!*» — «*Пансионерка!*» — «*Былое!*»

Профессор Скворлыгин даже привстал: *«Провинциальные письма о нашей литературе!»*! *«Провинция в старые годы!»* — вдохновенно вспомнил Долмат Фомич. *«После потопа»*, — сказал с бакенбардами.

«А ну-ка,— обратилась к сотрапезникам Зоя Константиновна,— скажите, из какого это рассказа: “Бывали хуже времена...”»,— но закончили фразу все вместе:

«Подлее не бывало!» — И тут же наперебой: *«Из “Счастливых людей”!..»* — *«Из “Счастливых людей”!..»* — *«Из рассказа “Счастливые люди”!..»*

Стали подводить итоги. Долмат Фомич объявил победителем почему-то меня (что-то я все-таки недопонял в их правилах). Мне хлопали. Однако за Хвощинской статус «малоизвестного литератора» отказались признать. Говорили, что «очень известная».

«Поздравляю,— проворковала Зоя Константиновна, положив мне на плечо сразу обе ладони.— Вы молодец».

Лариса убирала тарелки. Отдыхали. Прохаживались по залу, беседуя. Один библиофил музицировал на пианино, а двое других пели куплеты. «На слова Мятлева, узнаете?» — спросил Семен Семенович, проходя мимо меня.

Зоя Константиновна подвела меня к окну, отдернула занавеску-маркизу: «Вам нравится?»

Вид был действительно замечательный: Нева, крейсер «Аврора», гостиница не то «Ленинград», не то «Петербург»,— как раз в те дни ее переименовывали.

«Как хороши, как свежи были розы!» — ворковала Зоя Константиновна.

Пили кофе с пирожными. Профессор Скворлыгин рассказывал о болезнях древних людей, о костях, которые он изучает, о том, что нет интересней науки, чем палеопатология.

Глава 4. Такое непринужденное интонирование...

Октябрь в Петербурге — скверное время. Листья гниют под ногами. Сыро, дождливо, собачье дерьмо... Не листопад. Листопад листолежем сменился. Листогнилом. Где уж тут золотая осень! Еще, может, в Пушкине — золотая, или в Павловске, может, она золотая, там ведь так посадили деревья, что листья цвет не сразу меняют, не вперемежку, не как им вздумается, а радуя глаз: желтые пятна, багровые пятна, зеленые пятна еще. Музыка парков. А на вокзале другая музыка. Духовой оркестр играет у Витебского. В открытый чемодан кидают рубли. Можно «Татьяну», а можно «На сопках Маньчжурии». Всё — «На возрождение духовой музыки» (табличка). На Сенной у метро поскромнее оркестрик, менее слаженный. Мэр города обещает к Новому году открыть подземный переход и новую подземную станцию, сопряженную с уже имеющейся. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». Иностранные вывески появились на Невском. С энтузиазмом играют у Елисеевского. В основном то, что волнует национальные чувства проходящих мимо американцев. Но туристов немного. Не сезон. И потом еще не оправались после путча. Боятся. Около Гостиного двора сумасшедший карлик с выпученными глазами и с гитарой — истошно орет. Он бьет по струнам без всяких аккордов и что-то выкрикивает невразумительное, подпрыгивая и подергиваясь. Вокруг толпа. Одни смеются, другие совсем не смеются.

Нет листьев на Мойке. Липы спилены. Пилили липы пилой. Конечно, это были липы, а не тополя. Я хорошо помню. Просто мы когда-то по какой-то весне из клейких липовых листочков придумали салат со сметаной — экстравагантную закуску на тридцатилетие художника Б. Он отмечал юбилей в огромной мастерской у Синего моста, которую арендовал в складчину с тремя другими художниками. Б. писал горы, вулканы и лунные ночи. Ему подарили набор из тридцати граненых стаканов и будильник, облагороженный гравировкой: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну». Костя-примитивист блевал в Мойку

клейкими липовыми листочками. Зато много на Введенском канале. Тополиных. Мокрые, чавкают, когда ступаешь. Канала нет. Давно закопан. Есть только улица, носящая имя Введенский канал. От невзрачной стены Военно-медицинской академии оттопыривается пивной ларек, похожий на огромную бородавку. В розлив. А не в разлив. И с подогревом. Функционирует до полуночи. Иные спать укладываются в кучу мокрой листвы. Холодает. «Зачем не забираете пьяных? Замерзнут!» — возмущалась Екатерина Львовна, сама подшофе. Пьяненькие лежали повсюду.

В остальном Екатерину Львовну власти вполне устраивали. Ее бутербродное дело заметно расширилось. Она нашла компаньона — спившегося майора в отставке, с которым можно было поговорить о политике, благо продажа имущества остановилась на телевизоре.

Они смотрели новости и заинтересованно их обсуждали.

На телевизоре лежала кулинарная книга из библиотеки покойного Всеволода Ивановича Терентьева, столь крупнообъемному предмету не нашлось места у меня на антресолях. Строгостью и обстоятельностью веяло от этой книги. Я сначала боялся, что и она окажется на сенной барахолке, но, почувствовав отношение к ней Екатерины Львовны — ревностно-почтительное, ревностно-благоевнейное, — перестал беспокоиться.

Книга-намек. Книга-иносказание.

Ни в себе самом, ни вне себя самого я не искал смысла никакого особого, просто не хотел задумываться о нем, не находил нужным, а тут — увесистый труд, фундаментальность которого так и лезла в глаза, на века переплетенный в Образцовой типографии имени Жданова, лежал себе преспокойно на телевизоре, намекаячи как бы на устойчивость мира, на простоту неких мировых констант, когда мир-то наш на глазах расплзался.

Странное дело, именно в те смутные дни, когда из магазинов исчезли продукты и даже по талонам не купить было сахар, подсолнечное масло, обыкновенный чай и крупу, резко возрос неожиданный спрос на — нет, не на поэзию, как в эпоху военного коммунизма, — на кулинарную литературу! Издаваемая фрагментами Молоховец продавалась в киосках вместе с газетами и шла нарасхват, не говоря уже о разных там «Крепких напитках», «Диетической стратегии молодоженов» или «Занимательном сыроедении». Пережившему искус маргинального библиофильства и кулинаробесия, мне сейчас легко вспоминать, но тогда, глядя на экран хозяйкиного телевизора, радостно возвещавшего об очередном крахе очередной «структуры последней империи», я смутно переживал близость сталинской «Кулинарии», тяжело нависающей над головой подслеповатого журналиста.

Когда Екатерина Львовна положила ее на телевизионный ящик, она мне так сказала: «Ты стал много думать. А ведь ты не любишь собак. Нехорошо. Ты становишься злым».

«При чем тут, скажи, демократия? — слышал я сквозь сон, как она возмущалась среди ночи внизу. — Разве собаки до путча не гадили?» «Еще как гадили», — соглашался майор, уже изрядно подвыпивший. «А он говорит, что не так. Что только сейчас... А ведь путч был когда?.. В конце лета был путч. А собак вывозят на лето. Вот и не гадили... Собаки на дачах летом живут... В отпусках... Их после путча уже привезли... вот и гадят... а он...» «Срут», — сказал компаньон.

Я не понимал этого. Я не понимал: почему Екатерина Львовна так уверена, что я ненавижу домашних животных? Потому что я всего лишь рассказал ей сон про Эльвиру? Как хотел ее зарубить топором?.. Болван. Нашел кому рассказывать!.. Я рассказывал сны ей зачем-то... Зачем?

«Он сочиняет стихи».

Ложь! Тебе не понять!.. Ты залезла в мои записи, глупая женщина! Записи, верно, мои, да стихи — не мои! «Морозной пылью серебрится его брововый воротник...» Нам так с вами не написать, Екатерина Львовна!

Вошел: и пробка в потолок,
 Вина кометы брызнул ток;
 Пред ним roast-beef окровавленный,
 И трюфли, роскошь юных лет,
 Французской кухни лучший цвет,
 И Страсбурга пирог нетленный
 Меж сыром лимбургским живым
 И ананасом золотым!

Восклицательный знак — уже от меня, не удержался поставить...

И ананасом золотым!

После иронической фразы о принципах выбора мяса в условиях отсутствия выбора приводился нехитрый, адаптированный к обстоятельствам времени рецепт ростбифа.

В среду пришла Юлия.

Я еще спал. Самые нелепые сны снятся почему-то под утро.

Уже наяву, застегиваясь, дооблачаясь и думая, что все-таки не ко мне, шел, спотыкаясь, к двери.

Нет, стояла девушка в светлом плаще с приподнятым воротником. «Здравствуйте. Олег Николаевич — вы?» «Я»,— сказал я. «Я курьер. Меня зовут Юлия». — «Здравствуйте, Юлия». «Юлия,— поправила гостя.— Я курьер».

То, что курьер, только сбило меня. От жены, я подумал. Повестка, наверное, в суд. Хотя какая повестка? С курьером...

Она видела, что не врубаюсь. «Долгат Фомич просил забрать материал для газеты. Знаете такого?» Я обрадовался: «Ну, конечно, а как же? Вы проходите. Что же вы не проходите?»

В общем, впустил.

«Готов материал?» — «Да какой материал!.. Тоже мне материал!.. Два материала... (Ворчу.) Я бы сам занес. Не тот случай». — «У них еще нет офиса. Адрес редактора никто не знает». — «Но вы-то знаете?» — «Я знаю... И потом, за меня не беспокойтесь, я не перетрудилась. Вы у меня за все время первый...— она запнулась,— не клиент, а как это?.. Адресат?» «Сослуживец»,— предположил я. «Хотя бы»,— согласилась курьер.

Я поинтересовался: «А давно вы работаете?» — «Два месяца». — «И что же за два месяца ни с кем не... общались?» — «Ни с кем. К вам первому». — «То есть числитесь просто?» — «Нет, почему же, просто работы не было... большой». — «А сейчас появилась... большая?» — «Как видите. Ну так где ваш труд?»

«Раздевайтесь,— сказал я, спохватившись. — Я сейчас принесу».

«В другой раз,— сказала она.— Мне некогда».

«Некогда, некогда»,— постукивало у меня в голове, когда поднимался к себе по лесенке. Там, на матрасе, записей не было. И под матрасом не было. Я сосредотачивался, вспоминал, не к месту и не ко времени заторможенный. Вспомнил. Вложено в «Кулинарию».

Вниз спустился, подошел к телевизору. Так и есть: между вклейкой *Телятина* и вклейкой *Свинина*... Но почерк ужасный какой!.. Какие каракули!.. Футь, как нехорошо, как некрасиво!.. Да о чем же я думал, когда это все выписывал?..

Я вернулся к Юлии. «Знаете, я, пожалуй, перепису. А то жуть какая-то...» «Сойдет»,— сказала курьер и, свернув мои бумажки в трубочку, засунула в карман плаща.

Работа, конечно, не весть какая, но можно было бы и поаккуратнее.

«Это черновик. Я переделаю. Перепису». — «Я вам сама перепечатаю. Не беспокойтесь». — «Еще чего не хватало! — Я попытался вынуть торчащую из кармана трубочку.— Вы же курьер!» «Драться будем?» — насмешливо спросила Юлия, резко от меня отстраняясь.

Ах вот ты какая... Ну что ж, я в конце концов к вам не напрашивался. Пускай.

«Газета. Выйдет. Когда». — То был мой вопрос.

«Не знаю. Ее давно выпускают. Все не выпускается...» — «Но деньги платят». — «У нас богатые спонсоры».

«Тогда мне вот что скажите, Юлия... Который час? У меня часы не заведены». (Тю-тю.) «Двенадцатый. Долго спите, Олег Николаевич». — «Разве заметно, что спал?» — «Заметно, что еще не проснулись». — «Ну уж нет! — сказал я и замотал головой: мол, проснулся. — Проснулся».

«Приходите в пятницу на заседание». — «Куда?» — «Туда же, в Дубовую гостиную. Кстати, Долмат Фомич просил передать, что вы записаны в писательскую библиотеку. Для работы. Счастливо».

Я закрыл за ней дверь.

Итак, это называется «для работы». Не знаю, догадывался ли Долмат Фомич, но книг у меня при моих обстоятельствах, в самом деле, не было ни одной — кроме той, терентьевской «Кулинарии». За тем же, допустим, «Онегиным» надо куда-то пойти, и вот я иду не куда-то туда, а туда, куда велено: в читальный зал, шутка ли сказать, писательской библиотеки (знать, и на эти сферы распространилось влияние моего покровителя).

Был принят ласково. «Ах, так это вы? Вы из Общества библиофилов?»

Миловидная женщина достала мой формуляр, он уже был заполнен, оставалось только поставить подпись. Больше вопросов не задавала. Тогда я сам полюбознательствовал: «А что, вы всех членов Общества записываете в библиотеку?» — «Нет, конечно. Вы же не члены Союза писателей. Только три места на все ваше Общество».

Какая честь, подумал я, неужели я третий?

«Вы второй», — сказала библиотекарша. «А кто первый? Долмат Фомич, наверное?!» — «Нет, другой». — «Профессор Скворлыгин?» — «Нет, вы не знаете его». — «Его или ее? Зоя Константиновна, да?» — «Нет. Терентьев Всеволод Иванович». — «Так ведь он же умер». — «Умер, — согласилась библиотекарша. — В таком случае вы не второй, а первый. Еще две вакансии... Вообще-то это нас не касается. Союз писателей сам по себе, а ваше Общество само по себе. Что будем читать?»

Я попросил хрестоматию для восьмого класса. «Ну что ж, — сказала библиотекарша, — можно и хрестоматию». — Она принесла хрестоматию.

Я сидел за круглым столом красного дерева — один, в тишине — в уютной дворцовой комнате со старинной мебелью и резным потолком, окруженный Брокгаузом и Эфроном, Сытиным и Сувориным, всем «Всем Петербургом», всей-всей «Живописной Россией» — сотнями томов в роскошных издательских переплетах, и листал, листал, перелистывал обыкновенную школьную хрестоматию. Я был, как тот алкоголик, подшитый — примеряющий к себе рюмку запретной водки. Примирялся как будто с печатным текстом. Несмело. То был брак по расчету. Мне деньги платили. Я помнил.

Я тем себя успокаивал, перелистывая хрестоматию, что помнил: деньги платили — за это.

Я сдал всего Достоевского в «Старую книгу». Не зря. У Достоевского мало едят. Пьют чай. Или чай пить. Или миру пропасть. Ни чая не надо, ни мира. Вспоминал о еде.

Генерал у Замятина (вспомнил) готовил самозабвенно картофель фри (во фритюре) — у себя «на куличиках». О куличах. Калачах. Кренделях. Заболоцкий. Из-под пера выходило — чужое.

«Взгляните», — сказал Долмат Фомич, передавая профессору Скворлыгину две машинописные странички. — «Ну-кась, ну-кась. — Профессор Скворлыгин искал нетерпеливо очки по карманам; нашел; нацепил на нос; причмокнул губами; сглотнул слюну; сказал: — Мм-мээ». — И углубился в чтение.

ТРАКТИР «ВСЯКАЯ ВКУСНЯТИНА»

«В волшебном царстве калачей...»

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.
Внизу под кренделем — содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный,
В чугун ударил тамада,—
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идолы в тиарах,
Летят, играя на цимбалах
Кастрюль неведомый канкан.

Н. Заболоцкий. «Столбцы».

«Деньги дороги, да калачи дешевы». Ну-ну. В наше время как раз наоборот. Да все равно «жива душа калачика просит». Что ж, попробуем:

КАЛАЧ ФИЛИППОВСКИЙ. Возьмите 8 стаканов муки, 2,5 стакана молока (это уже по тексту «Кулинарии»), 1,5 пачки маргарина, 1,5 стакана сахарного песка, 5 штук яиц, 1 чайную ложку соли, 0,5 палочки дрожжей.

Дрожжи и половину нормы муки растворить в подогретом молоке. Опору хорошенько вымесить и поставить на... Готовые калачи посыпать сахарной пудрой.

КРЕНДЕЛЬ. Крендель — род калача. Отличается особой формой и добавками: миндаль — 0,5 стакана, изюм — 1 стакан, корица молотая — 1 столовая ложка.

Если же вам не хватает талонов для этого теста, рекомендую:

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТОРТ. Возьмите 1 стакан муки, 1 стакан песка, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 0,5 чайной ложки соды — погасить уксусом, 2—3 столовые ложки какао... Добавьте в тесто 1 ложечку меда.

И приятного аппетита.

«По-моему, великолепно,— сказал профессор Скворлыгин.— Даже словицу подобрал, каков молодец!.. А как изящна концовка!.. “И приятного аппетита!..” Казалось бы, простые слова, но насколько точны, выразительны и уместны!»

«А мне нравится “и”,— сказал Долмат Фомич. — Обратите внимание, не просто “приятного аппетита”, а “и”! “И приятного аппетита”! Такое непринужденное интонирование... Нет, молодец, молодец... Лучший материал в номере, как ни крутите!..» «Друг мой! — Профессор Скворлыгин тряс меня за руку.— Поздравляю. Искренне поздравляю!»

Я не то чтобы затосковал по родному дому, не то чтобы мне уж совсем истерзала душу моя неприкаянность — или конкретно: достал бы майор со своими прихватами, хрен с ним и с ними,— но костюм при моем теперешнем положении в обществе мне бы не помешал. И я отправился за костюмом.

В нашей квартире приключился ремонт.

В моей — и еще раз: в моей! — в настоящей, напротив парка Победы.

«Не ждали?» Точно, не ждали.

Оклеили зачем-то стены в прихожей какими-то жуткими обоями с омерзительными разводами как бы под мрамор. «Зачем?» «Красота спасет мир», — сострил Валера. Меня передернуло.

«Могли бы и посоветоваться». Он промолчал. Так и есть: в моей комнате потолок белят. Вдвоем. Надежда разводит мел, а этот, значит, со стремянки спустился. «Ребята, а вы, я смотрю, надолго обосновались». «Но надо же делать что-то с квартирой», — Валера сказал. — Осторожно, не прислоняйся».

«Это как? — Я не понял про “надо”. — Что надо делать?» «Жить надо по-человечески! — Валера воскликнул. — По-человечески, понимаешь?» «Каждый должен обустроить свой дом», — раздался голос Надежды.

«Так ли я понимаю, что вы свой дом обустраиваете?»

Валера спросил: «Ты разве против?» — «Нет, я не против, просто я думал, что это все-таки мой дом». — «Разумеется, твой... В известном смысле твой... Но не только твой. И твоей жены тоже. И наш». — «Наш общий дом», — обобщила Надежда. «Вот мы и ремонтируем», — сказал Валера. «А он недоволен», — сказала Надежда Валере.

«Стойте, стойте! А ну-ка объясните мне, какое отношение к моей квартире имеете вы?» — То бишь, сам того не желая, я поднял и заострил проклятый *квартирный вопрос*, из всех проклятых — самый мне ненавистный.

«Объясню. Раз ты придираешься к словам, я тебе, во-первых, скажу: да, действительно, строго говоря, это неправильно, нельзя говорить “моя”, “твоя”, “наша”, “ваша” об этой квартире. Эта квартира не совсем твоя и не совсем наша, если быть достаточно строгими. Что касается тебя, Олег, то ты в этой квартире всего лишь *прописан*, а изживший себя институт прописки, нравится тебе или нет, будет вот-вот ликвидирован, подобно другим институтам социального принуждения, скоро даже никто вообще не вспомнит, что это было такое — прописка... И лишь после *приватизации*... — Это скучнейшее слово (в те дни жутко модное) Валера произнес особо отчетливо. — После приватизации можно будет говорить о данной квартире, как о чьей-либо собственности. Не перебивай. Вторых... Ты спрашиваешь: какое мы имеем отношение к этой квартире? Вот какое: мы в ней живем. В-третьих, как видишь, мы ее ремонтируем. В-четвертых, Олег, если не мы, то кто? Может быть, ты? Может быть, ты способен пошевелиться чуть-чуть? Пальцем о палец ударить?..»

Нет, не способен. Не могу. Не хочу. Не люблю. Не воспринимаю. Не понял ни слова. Какой-то бред. «Да ведь я вас просто впустил!.. Просто пожить впустил!» — воскликнул. «Ну впустил. Ну и что? Ты так говоришь, будто мы тебе плохого желаем». А Надежда сказала: «Я ведь знала, что он не оценит». — «Оценит, оценит. Поживет еще недельку с женой со своей, сразу оценит. Заживо съедят. Будет съеден».

С этим не спорил. Он прав. «Говорят, — сказал я без злорадства, — породистой собаке отдельная площадка полагается. Вот кто раньше вас приватизирует». — «Не знаю, как насчет собак, но я ведь тоже могу рассчитывать на привилегии». — «Ты?» — «Как защитник Белого дома», — невозмутимо ответил Валера. «Да ведь ты же в Питере был!» — «Мы защищали *Петросовет*, — сказала Надежда, — это приравнивается к защите Белого дома». — «На него никто ж не нападал, на ваш Петросовет». — «Потому и не нападали, что были защитники».

Брошен взгляд на Надежду: каково сказано? Точная фраза. Умная фраза.

«С другой стороны, — рассуждает Валера, прохаживаясь по комнате (что непросто — ремонт), — и с твоей неоднозначной женой можно при наличии доброй воли поладить вполне. Она не подарок, это да... Но... практичная женщина, с хваткой... Мы находим общий язык». — «Я рад за вас». — «Только не горячись. Ничего особенного. Я женюсь — фиктивно — на твоей жене». — «Поздравляю». — «С этим не поздравляют. Фиктивно».

Я и спрашивать не стал, зачем он женится, я только сказал: «Неплохо было бы посоветоваться с формальным мужем, есть такой». — «Ты, что ли? Да мы тебя даже тревожить не собирались. Без тебя меньше хлопот». — «Меньше хлопот жениться на моей жене?» — «Конечно. Сейчас это оформляется в тече-

ние часа. Лишь бы деньги были и свой человек. Знаешь, сколько стоит свидетельство о смерти?» — «Тебе надо свидетельство о браке». — «О смерти». — «Чьей смерти?» — «Твоей».

Мне показалось, что ослышался.

«Элементарно. У меня знакомая в загсе, вместе на баррикадах были. Оформляем тебя как усопшего — фиктивно! Твоя жена, вернее, вдова, фиктивно вступает в брак. Со мной. Она ответственный квартиросъемщик, я ее муж. Приватизируем. Сдаем или продаем. Тебе часть прибыли. А нам с Надюхой процент за хлопоты, нам много не надо».

«Если шутишь,— сказал я,— то очень глупо». «Как будто кто-то твоей смерти хочет!.. Никто не хочет, не бойся. Или чтобы я домогался твоей жены?.. Может быть, ты ревнуешь!.. Так ты не ревнуй... Ты что думаешь, я действительно домогаюсь твоей жены?» «Он не домогается, нет,— обняла Надежда Валеру. — Он мой. Правда, Валерочка?»

«Я бы мог и не говорить ничего,— сказал Валера, освобождаясь от объятий.— Ты бы ничего и не узнал бы. Подумаешь, бумажка!»

«Бред, бред, бред!..» — «В чем же ты бред усматриваешь?» — «Во всем! Зачем тебе фиктивно жениться?.. Зачем мне фиктивно умирать?.. Чушь какая-то, идиотизм!» — «Нет, дорогой, идиотизм — это не воспользоваться моментом, возможностями, ситуацией — вот что такое идиотизм! В стране чудеса происходят!.. Сейчас такое придумать можно... все, что захочешь!.. любую бумажку достать!.. А через месяц-другой ты в лепешку разобьешься, ни за какие деньги уже не дадут! Ни о рождении, ни о смерти твоей, ни о чем не дадут! Вспомнишь меня, так и будет!» «Да зачем мне бумажка твоя?! И потом,— возопил я,— я так и буду спать на антресолях?»

«Можешь спать внизу», — спокойно ответила Надежда.

Я открыл шкаф. Упала газета. «Осторожно, запачкаешь!» Платья висели. «Где мой костюм?» — «В кухне! На вешалке!»

Я в кухню пошел. Точно, мой костюм висел на вешалке, они перетаскивали вешалку из прихожей.

«Ты носишь мой костюм?» — грозно спросил я Валеру. «С ума сошел! Вот что я ношу!» (Он был в рабочей одежде, перепачканной мелом.) — «А на улицу ты выходишь в моем костюме?» — «Ну знаешь, у меня есть в чем выходить на улицу». — «В моем свадебном костюме!» — «Олег! Ты снесешь его на барахолку! Ты опустился, Олег! Тебя видели на Сенной, ты продавал кактусы». — «Это было давно. Где галстук?» — «Зачем тебе галстук?» — «Галстук отдай!»

«Да возьми ты свой галстук! Если хочешь торговать, вот, смотри. Нам нужны распространители. Можно без галстука. Потрогай.— Он протянул мне пачку обоев, именно пачку, а не рулон; то были прямоугольные листы ватмана с голубовато-серыми разводами, стилизация под мраморные плиты.— Я прихожую ими оклеил. И еще здесь оклею». «Пачкаются», — сказал я. «Ничего не пачкаются. Сами делаем. В ванну бензин наливаешь, сверху масляную краску жирным слоем. Бросаешь листы, чтобы плавали на поверхности... Краска впитывается, достаешь, сушишь. Проветриваешь...» — «Ты наливаешь бензин в мою ванну?» — «Мы их делаем у себя в институте!»

Направляясь к двери и неся костюм, я спросил с горечью: «Как твоя аспирантура, Валерий Игнатьевич?» — «Какая аспирантура, Олег Николаевич? Ты же видишь, время какое!.. Какая, к черту, аспирантура!»

Глава 5. Разденьтесь и лягте

«Блестяще! — восхитился Долмат Фомич.— Здорово сказано! У меня просто слюнки текут, как здорово!.. Ну вы молоток, молоток!» — «Это, знаете ли, Замятин написал, “На куличиках”. Я ни при чем». — «Нет, Олег Николаевич, Замятин — дело прошлое, а вы — наш сегодняшний день. Вы — наша главная удача, а не Замятин, я вами очень доволен». — «Смеетесь?» — «Зачем же смеяться? Поощряю, а не смеюсь. Вы умеете работать с чужим текстом, с цитатами...»

Знаете, это какая редкость сегодня! Найти, оживить, сопоставить!.. реанимировать!.. не перетянуть одеяло на себя, извините за выражение!.. Для этого нужен талант, определенный талант. Кто, ответьте мне, сегодня умеет работать с цитатами?»

Мы вышли из-за стола после фаршированных баклажанов в соусе со сливками, прогуливались по банкетному залу вдвоем. В банкетном зале стоял ровный гул: библиофилы обсуждали книжные новости. Сегодняшний доклад был посвящен специфическим вопросам старения бумаги и книжного клея.

«Долгат Фомич, разгадайте загадку, удовлетворите мое любопытство. Как же так... зачем?.. Мне вы уже пятый гонорар платите, и немалый, но как же газета? Ни один номер еще не вышел...» — «Не торопите события, Олег Николаевич. Газета есть, не когда она вышла или не вышла, а когда она есть. “Общий друг” еще не вышел, вы правы, но он есть. Он вошел в наш обиход в ранге идеи. Кто же скажет, что нет? Есть, есть».

«Есть надо, тщательно пережевывая пищу»,— сказал, проходя мимо, Семен Семенович.

Подошел профессор Скворлыгин: «Над чем работаете, Олег Николаевич? У вас удачный дебют». Я отвечал в тон разговора: «Над хлебобулочными изделиями. Хочу рассказать читателям “Общего друга” о галушках из ячменной муки. В повести Николая Васильевича Гоголя “Ночь перед Рождеством” есть классический эпизод...» «С галушками...— не удержался Долгат Фомич.— С галушками! Это просто сил нет как здорово! С галушками!..»

«Не забудьте,— сказал профессор Скворлыгин,— галушки очень хороши с кислым молоком».

Оба излучали радость неопишемую, аппетит отражался в глазах; оба так на меня смотрели, словно я сам был галушкой.

«А помните, как писал Белинский? — неожиданно спросил Долгат Фомич.— “Поэтические грезы господина Гоголя”. Вот где поэзия. Ведь это, в самом деле, поэзия!» «И какая поэзия! — вздохнул профессор Скворлыгин.— Подождите, Долгат Фомич, у вас же есть, не дайте соврать, прижизненное издание “Вечеров”!» «Ну, это преувеличение,— скромно произнес Долгат Фомич.— Всего лишь титульный лист, и не более. Титульный лист со второго издания, сохранность очень хорошая... На нем стоит печать Союза рабочих крахмально-паточной и пивоваренной промышленности, украшение моей коллекции. Это восемьсот тридцать четвертого года издание, Гоголем переработанное». «Но вышло оно,— заметил профессор,— в одна тысяча восемьсот тридцать шестом году». «Да, но цензурное разрешение — тридцать четвертого года. Ноябрь месяц. Десятое ноября».

«И все-таки хотелось бы побольше стихов, настоящих стихов... Ямб... Хорей...» «Амфибрахий», — кивнул Долгат Фомич. «Вот, например, в поэме Некрасова “Современники” упомянут салат. Чем не повод поговорить о холодных закусках?.. “Буду новую сосиску каждый день изобретать, буду мнению без риска о салате подавать...” Помните, Олег Николаевич?»

Я не помнил.

«Ну как же... Конец первой части...»

Нет, я не помнил. И даже не знал.

«Рекомендую».

«Фантастика! Вы удивитесь, друзья, но эта поэма... о которой вы только что упомянули, профессор... эта поэма — вот! — И, словно заправский иллюзионист, выразительно щелкнув пальцами, достал Долгат Фомич из внутреннего кармана небольшой томик Некрасова: Н. А. Некрасов, Последние песни. М., “Наука”, 1974 (эту книгу я потом изучил основательно, от корки до корки). — Каково?» — спросил Долгат Фомич, торжествуя.

«Невероятное совпадение»,— выдохнул профессор Скворлыгин. «Да тут и закладка, — обрадовался Долгат Фомич еще большему совпадению, — как раз на этом месте!» «Быть не может!» — не поверил профессор Скворлыгин.

Долмат Фомич продекламировал:

«Слышен голос — и знакомый —
“Ананас — не огурец!”».

«Оно!» «Ну это судьба, Олег Николаевич, это просто судьба! Берите, берите скорее. — Долмат Фомич сунул книгу в руку мне, молчаливо недоумевающему. — Многое вам придется обдумать, осмыслить... Это судьба!»

Зазвенел колокольчик. Всех приглашали снова к столу. Зоя Константиновна, которая села было за пианино, внезапно залилась громким неподражаемым смехом; радость переполняла ее.

«Я специалист по костям, — обратился профессор Скворлыгин ко всем присутствующим. — Я бы мог вам рассказать о костях. Только это не к столу. В другой раз». Парфе клубничное подавалось на сладкое.

Крайне неприятное зрелище. Старуха. Она выкрикивала ругательства, как сумасшедшая. Она и была скорее всего сумасшедшей — тощая, в полинялом пальто. Пассажиры, обзываемые «козлами» и «идиотами», благоразумно молчали. Доставалось не только попутчикам и путчицам, но и натурально сильным мира сего: тогдашнему Бушу (был такой в США) и Ельцину с Горбачевым (это уже наши).

Не желая никого обижать и на оригинальность не претендуя, я громко сказал: «Тише, бабуся, кругом шпионы!» И все. Весь мой поступок... Все как будто вздрогнули в нашем троллейбусе. И та замолчала. Зловеще.

Незнакомка в красном шарфе повернулась на мой голос, она посмотрела на меня, хотел бы я думать, с благодарностью, но, если оставаться реалистом, пожалуй, все же с иронией (а то и насмешкой). И произнесла «здравствуйте», чем очень меня удивила. Странная девушка, подумал я, но хорошая. Несомненно, кроме красного шарфа, она обладала еще и природными отличиями, именно: глазами, носом, губами. И волосами еще, но тогда волосы были спрятаны под капюшон (красный шарф был повязан поверх капюшона). Ну и шеей (скажу, забегая вперед).

«Очень тонко замечено, — отвлек меня пассажир, очутившийся рядом. — Кругом шпионы. В правительстве и везде. Шпионы и предатели. Кругом измена!»

Он стал перечислять высокопоставленных изменников и шпионов, загибая пальцы. «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Есть свидетельства, есть доказательства». «Вы, — вспомнил я, — вы депутат Скоторезов!»

Пассажир дернулся, словно его ударили в бок, и немедленно вышел (была остановка).

Водитель объявил, что машина не пойдет дальше, а пойдет назад, по семнадцатому.

Мелкий дождик накрапывал. Мы стояли около дома Дельвига, похожего на большой зуб.

«Что-то много, — сказал я, — сумасшедших в городе».

Она ответила: «Выпускают. Денег нет».

Она не уходила, и я не уходил. Мне казалось, что это уже было когда-то со мною — может, здесь, на троллейбусной остановке. Представился: «Меня зовут Олег». «Неужели?» «Что “неужели”?» — Я сам из-за этого «неужели» на долю секунды засомневался, тот ли я есть, кем представился, неужели Олег? — Вам не нравится имя Олег?»

«Нравится, — сказала, смеясь. — В таком случае меня зовут Юлия».

«Юлия?» — «Юлия». — «Елки зеленые!» — вот и все, что я смог произнести вразумительного.

Юлия. Наш курьер из «Общего друга». Она. Это было чудовищно. Во плоти и неузнанная. Мною не узнанная. Она.

«Не комплексуйте. Бывает. Мы только раз виделись».

Да ведь этого даже теоретически быть не должно! «Раз виделись!..» Ведь образ ее, той — ее — однажды виденной Юлии, мной овладел как-никак, а точ-

нее, весьма и весьма овладел — раз она мне приснилась. Раз виделись раз. Она мне же присниться успела. Был сон, говорю.

«Я еще позавчера к вам приходила, вас дома не было,— как бы за меня извинялась и опять же передо мной таки Юлия (впрочем, взяв еще более насмешливый тон). — Хозяйка дала».

Ей хозяйка дала мои кулинарные наброски о жаренной (сырые наброски) с томатом-пастой салаке и раках вареных.

«Юлия, вы мне приснились». «Что-нибудь непристойное»,— заключила саркастически Юлия и была недалеко от истины. Хотя — смотря что считать непристойным. «Смотря что считать непристойным». — «Я многим снюсь. Бывает».

Разволновался. Разволновался, честно скажу. Как бы я ни старался подстроиться под Юлин тон спокойно-насмешливый, внутри-то меня поклокаtywало. Внутри меня внутренностями моими несоощущаемыми, самонееощущаемыми, само по себе ощущаемо, ощутимо — овладевало, страшно сказать, неясное предощущение не случая, но судьбы.

«Много совпадений,— сказал я,— много совпадений в последнее время».

На это Юлия резонно ответила мне, что совпадений в жизни у нас больше, чем думаем, замечаются лишь немногие. На это я резонно заметил, что как посмотреть, может, все, что есть, и есть одни совпадения. Но развивать не стал теорию.

Я только сказал Юлии: кто знает, может, мы и раньше встречались — в какой-нибудь прошлой жизни.

«Зачем же в прошлой? — сказала Юлия.— Наверняка в настоящей».

«Юлия! Ты была на тридцатилетии художника Б.!» И ответом мне было Юлино: «Да».

«Был салат, был из липовых листьев салат!» — Только зря про салат, он не главное. Опять полезла бестолочь кулинарная.— «И море “Ркацетели”»,— сказала Юлия.

«Ты помнишь меня?» — «Теперь вспоминаю». — «Ты сдавала какой-то экзаме...» — «А ты учился... где ж ты учился?..» — «Не важно. Мы с тобой танцевали,— вспомнилось мне.— И целовались». — «Но не более того»,— сказала Юлия неуверенно. «Я наклюкался. Был хорош». — «Я тоже была хороша». — «Тебя увел от меня Костя Задонский». — «Видишь, какая память»,— сказала Юлия.

Я подвел черту: «Потрясающе!»

Был потрясен. Мы глядели друг другу в глаза, потрясенные. Юлия — тоже. Без каких-нибудь «будто», без «что-то», будто что-то не что-то, а все, я — в ее — соразмерно моим — расширяющиеся зрачки — глядя — понял — не что-то, а все — и не что-то, а все,— что могло лишь мгновение быть понимаемым, лишь мгновение — быть.

И прошло. И следа не осталось — исчезло.

Юлия отвела взгляд в сторону, а я завершил вдох.

Жаль.

Жаль, что так бестолково.

Но не биться же в падучей в конце концов.

Шел транспорт. Ярko фургоны выраженные и мебелью груженное, ехало по Владимирской «Найденон и компаньоны». Играл уличный музыкант на баяне. Со стороны Кузнечного рынка тянуло гнилым картофелем.

«Я тороплюсь. Меня ждут,— проговорила Юлия.— Надеюсь, встретимся послезавтра». «А завтра? А что ты делаешь завтра?» «Завтра,— сказала Юлия,— я должна передать вам, Олег Николаевич, официальное приглашение на послезавтра».

Я спросил: «Значит, завтра придешь?» «Будем считать, передала сегодня. Завтра у меня выходной»,— сказала Юлия. «Зачем выходной?» — уже не зная, что спрашивать, спросил я еще.

Не удостоив меня ответом, взмахнула Юлия рукой — остановилась машина. «Пока!» Помахала мне из кабины, я видел. Сама стремительность.

Окулист — оккультист. Уролог — уфолог. Диагностик — агностик.

Мне нужен был невропатолог. У него была необычная фамилия — Подоплек.

Я опоздал, невропатолог уже закончил прием. Сестра, худошавая старушка с заячьей губой, не пускала меня в кабинет: «В среду, в среду, доктор устал». — «Я не могу в среду». — «Тогда в понедельник». — И скрылась за дверью.

Я человек исполнительный, я пришел, потому что мне сказали в больнице: через месяц-другой покажись невропатологу. А надо ли? Может, и не надо. Я опять постучал. Заглянул. «Извините. Один вопрос. Меня после больницы направили, сотрясение мозга, я не жалуюсь, у меня все хорошо. Надо ли мне приходить, или вы меня совсем отпускаете?..»

Невропатолог сидел за столом, перед ним лежала картонка, он лепил из пластилина фигурки. «В понедельник!» — не поднимая головы, отрезал невропатолог, бликуя лысиной. Я подивился на невропатолога: зверюшки — медведь, корова, жираф...

«Вы не поняли? В понедельник! Закройте дверь!» — закричала сестра.

Закрыв дверь и пошел прочь. Ну их. Уже был на лестнице, когда услышал: «Стойте! — Невропатолог, тот самый, лысенкий, приземистый, догонял меня, едва не выскакивая из халата. — Сотрясение мозга — когда?»

«19 августа».

«Секундочку. — Он взял у меня медицинскую карту, взглянул на фамилию, крякнул. И уже другим, ласковым тоном: — Идемте, Олег Николаевич, прошу вас».

Я последовал за ним. Сестра в кабинете застегивала сапожки. Пластилин со стола она уже убрала вместе с картонкой. Собиралась домой.

«Лидия Владиславовна, я поговорю с молодым человеком, вы можете идти, только вот что, пока не ушли, попрошу-ка я вас, голубушка, выпишите-ка мне... ему то есть... парочку направлений... ну, на кровь само собой клинический... и на, хорошо бы, мочу, нет? — спросил он меня. — Не возражаете?..» «На кровь... и мочу? — переспросил я невольно. — А зачем?» «Хочу все знать, — сказал невропатолог, моя руки под краном. — Кровь да моча — слабость врача. — Хихикнул. — Утречком до половины одиннадцатого, в любой день... первый этаж, двенадцатый кабинет...»

Долго и задумчиво вытирал руки вафельным полотенцем.

Я удовлетворил все его просьбы: следил глазами за молоточком, предоставлял коленку для ловкого тыка, стоял с вытянутыми руками и закрытыми глазами — все, как положено.

«Головокружения?.. Как спите?.. Хорошо спите?.. Хорошо — это хорошо... А что плохо?» Я сказал, что сны вижу чересчур выразительные. Но не жалуюсь. «Кошмары?» — «Нет, как раз нет. Я не жалуюсь. Но уж очень рельефные. Раньше такого не было». — «Расскажите последний». — «Сон?» — «Да, будьте любезны».

Невропатолог приготовился слушать, он удобно, насколько это позволяла форма стула, развалился, раскинулся, правая рука повисла на спинке, обмяк. «Только с подробностями, не халтурить!» С подробностями так с подробностями.

Про Юлию я ему не стал рассказывать, рассказал предпоследний. Про Африку. Моя поездка на Мадагаскар в компании четырех китайцев.

Доктор слушал внимательно, можно сказать, увлеченно, почему-то с закрытыми глазами. Он то улыбался, то хмурился, то тяжело вздыхал; казалось, он сам видит мой сон и пуще меня самого переживает мои похождения.

«В жизни не так интересно», — сказал я в конце. «Жизнь скучна, — согласился невропатолог. — Спасибо. Еще парочку не расскажете?»

Я рассказал, мне не жалко.

«Просто заслушаешься,— произнес мечтательно доктор.— А мне ничего не снится. Или такое говно...— Он поморщился.— Представьте, столб телеграфный, уют... к чему бы это?» Откуда ж мне знать, к чему ему снится уют? Я не Фрейд.

«А как ваша печень?» — спросил невропатолог и принял рабочую позу врача, когда тот сидит по обычаю за столом и смотрит на пациента. «По-моему, ничего». — «А селезенка?» — «Вроде нормально». — «Разденьтесь по пояс и лягте».

Я подчинился. Он пальпировал мой живот, щупал печень, искал селезенку. Нашел. «Не худеете?» — «Нет, не худею». — «Но полнеете?» — «Да нет, не полнею». — «Как так, не полнеете? Почему не полнеете?» — «А зачем мне полнеет?» — «Должны полнеть. Идите на весы», — сказал невропатолог.

Взошел на весы. «Эээ, дружище, так никуда не годится! — рассердился Подоплек, перемещая движки.— Как это прикажете понимать? Недобор минимум килограммов семь!.. Да куда ж они смотрят, господа-товарищи?»

Я застегивался. «Какие господа?..» Невропатолог сел за стол и стал энергично что-то писать, но не в моей медицинской карте, а в своем журнальчике. «Какие товарищи?..»

«Ладно, давайте начистоту,— сказал Подоплек, отложив ручку.— Я про вас, Олег Николаевич, вы даже предположить не можете, сколько знаю. Мне Скворлыгин про вас часами рассказывал...»

«Вы знакомы с профессором Скворлыгиным?»

«А мир тесен, голубчик. А мир медицины — совсем с гулькин нос...»

«Он ведь палеопатолог... Болезни древних людей...» «Болезни древних людей! — передразнил меня доктор.— Да что вы знаете о болезнях?.. От палеопатологии, голубчик, и до невропатологии всего полтора шага. Но не будем об этом. Хотите кофе?» Я отказался.

«И что же вам про меня рассказывал Скворлыгин?»

«Только хорошее. Он ценит вас. Молодец, что кофе не пьете, один только вред. Особенно от растворимого... Я и с Долматом знаком, и с Мукомоловым...» — «А кто такой Мукомолов?» — «Не всех знаете даже. А я всех знаю, всех. Во всяком случае, библиофилов». — «Так вы библиофил? Член Общества?»

Невропатолог повел головой неопределенно, не да, не нет — не кивнул, но и не мотнул отрицательно, а как-то наискось так: «Не совсем... Впрочем, да... Разумеется, да».

Застонал водопроводный кран, что-то с прокладкой.

«Вам бы отдохнуть, голубчик, вам бы на море... Солнечные ванны, морской воздух... Чайки кричат, а вы плывете себе на корабле... аргонавтом себе, понимаете ли, Ясоном... Ась?.. Там — берег Тавриды, там — берег Эллады... скалистые острова!.. Кипр... Родос... Пиренеи!.. Что там еще?.. Колыбель цивилизации, голубчик!.. А корабль белый-белый, палуба чистая-чистая, кухня... кухня, скажу вам, одно объеденье... Женщины... Какие женщины!.. Музыка!.. Вы про музыку мне не рассказали... я имею в виду ваши сны бесподобные... Ведь снится же музыка, снится?..»

«Да, мне часто музыка снится». — «Не только, наверное, снится? Вам и наяву мерещится музыка, не так ли?» — «Я бы не сказал “мерещится”. Это не галлюцинации. Просто звучит во мне музыка, вот и все». — «При том что у вас чисто отсутствует музыкальный слух и вы не способны напеть даже самую простую мелодию?..» — «Откуда вы знаете?» — «Я же врач».

«Да, это так. Я как Бетховен, только Бетховен был глух, а у меня отсутствует слух».

«Отлично сказано! Отлично!.. Послушайте, голубчик, я буду с вами предельно откровенен. У меня хронический простатит, ужасно запущенный. Не удивляйтесь. Если врач, то и не болеет? Болеет, болеет... Я что хочу сказать? У меня постоянный зуд в промежности, не прекращаемый. И когда чай пью — зуд, и когда оперу слушаю — зуд, и когда с вами беседую, вот сейчас — зудит, зудит,

зудит... Скажите мне, пожалуйста, с вашей музыкой не так ли происходит?.. Что-то ведь есть общее, а?»

«Да как же можно сравнивать музыку с зудом?»

«А я и не сравниваю. Я не про эстетику говорю, я про природу восприятия... Ведь есть аналогия, нет?» — «По-моему, нет». — «А по-моему, есть, — убеждая себя самого, сказал Подоплек. — Кстати, как у вас насчет мочеполовых органов, все ли в норме?»

Я ответил: «Не жалуюсь».

«Но... скажите мне, доктору, я никому не скажу, я знаю, у вас в семье не все хорошо, дело житейское, давно ли вы имели последний контакт?»

Я сказал: «Как посмотреть». «То есть после травмы ни-ни?» — «После травмы ни-ни». — «А почему?» — «Знаете, я об этом не задумывался...»

«Хорошо, хорошо... Еще вопрос. Гепатитом болели?» — «Нет». «Слава Богу, — сказал невропатолог. — Не пейте, не курите, проветривайте каждый день помещение, возьмите себе за правило каждый вечер выходить на прогулку, ешьте больше овощей, больше витаминов, клюкву купите, сейчас она есть, помните, что за вами кровь и моча, приходите ко мне, когда захотите, я приму вас в любое время. И еще. Никому не рассказывайте о нашем разговоре».

Глава 6. Без галстука

Входная хлопнула. У меня за спиной. И я в темноте очутился. В кромешной. Рука искала перила, нога — ступеньку. Не нашли: ни та ни другая — ни того ни другого.

У меня не было спичек. Уважающие себя люди тогда ходили с фонариками.

Я был на втором, когда дверь отворилась на третьем. «Олег, это ты?» — голос Юлии. «Я», — ответил я по-немецки. Поднимался, встречаемый.

«Лампочки, гады, воруют... Я слышала, ты внизу грохотал... Осторожно...» В светлом прямоугольнике — в светлом платье. Почти светящаяся. «Пришел все-таки». Стоит, светлая. «Здравствуй», — говорю, входя.

Я пришел последним, как оказалось. Из-за нее. Не последним — из-за нее, а пришел из-за нее — вообще. Если бы ее здесь не было, я бы вообще не пришел. Боялся, не будет.

Вешая на вешалку в прихожей: «У нас тоже света на лестнице нет никогда. Ввернешь — сразу выкрутят». (Честно говоря, я никогда не ввертывал. И не выкручивал.) «У вас понятно, у вас барахолка рядом». — «А где все?» «Там». — Неврежний взмах рукой в сторону комнаты.

Узнаю голос Долмата Фомича, он что-то читает. Его слушают.

«Слушай, Юлия, ты умеешь завязывать галстук? Я не помню как. Разучился». — Достал галстук из кармана. В самом деле, забыл. Никакой задней мысли. «Пойдем к зеркалу», — сказала Юлия.

Вошли. Юлия свет зажгла. Трельяж. А вошли, стало быть, в спальню. На стене — ню. Мясисто-розователое. «Идеал женской красоты Долмата Фомича?» «Не думаю», — сказала Юлия.

Начнем. Обдаваемый запахом ее духов, я послушно вытянул шею и выставил вперед подбородок, пальцы Юлии закопошились у меня на горле. Ее пальцы пахли кинзой. Резала, наверное.

Я в зеркало посмотрел. В зеркала. Их было три (трельяж). В одном никого не было, в другом она завязывала галстук (для чего зеркало, кстати, не обязательно было), а в третьем (вид со спины, с ее спины) изображалось ущербное что-то — недообъятие: она на грудь ложится ему, а он, как истукан, руки по швам и голову задирает. Что-то вроде. И все вертикально.

«Не вертись».

Вот именно. Я положил ей руки на талию — для устойчивости. Зеркальная композиция запретендовала на смысл. Юлия, голову назад откинув и не переводя взгляда, словно обращаясь к неполучающемуся узлу и как бы в задумчивость

погружаясь, тихо спросила: «Так?» — Риторический гибрид насмешливости и заинтересованности.

«А давай,— сказал я,— дернем отсюда». «Это невозможно»,— сказала Юлия. «Почему?» — спросил я, сочета пальцы в замок у нее за спиной и в кольцо ее замыкая. «Потому что есть обстоятельства»,— нараспев проговорила Юлия, ровно настолько сопротивляясь моему замыканию, насколько требовалось это для продолжения манипуляций с галстуком. Впрочем, к последнему интерес у нее явно падал. Все равно не получалось.

«Тебе не нужен галстук,— сказала Юлия с грустью в голосе.— Выброси его к чертовой матери».

Я подошел к окну и выкинул галстук в форточку.

Галстук издевательски повис на дереве.

Я молчал.

«У жены хозяина дома будут проблемы»,— сказала Юлия, глядя на галстук, повисший на дереве. Я спросил: «Жена здесь?» «Чья?» — спросила Юлия. «Фомича, хозяина дома». «Здесь»,— ответила Юлия.

«Юлия. Юлия! — послышался женский голос.— Где Юлия?»

«Вот. Спихнулись». «Если так,— сказал я,— надо его скинуть чем-нибудь». «Не надо,— сказала Юлия.— Сам упадет. Идем».

Мы вышли из комнаты. По прихожей бродили библиофилы. Коллоквиум окончился. Время кулуарных бесед.

Зоя Константиновна — нос к носу. Это ей принадлежал возглас «Юлия! Юлия!». «Юлия! — начала было библиофилка, но, увидев меня, осеклась и ошарашенно вымолвила: — Олег Николаевич, вы здесь?» «Да вот,— сказал я,— зашел».

«Мы вас ждем, ждем, а вы... а вы... — приходила в себя Зоя Константиновна.— А вы тут, оказывается. В этой комнате...»

Не надо было оправдываться, да уж теперь что жалеть. «Мне Юлия помогала...» — сказал я, сократив кое-как фразу. (Потому что «галстук завязать» за отсутствием такового было бы очень странно договаривать. Да и вообще почему я должен отчитываться?)

«Олег Николаевич! Здравствуйте!» — подошел малознакомый библиофил. «О, кто пришел к нам, Олег Николаевич!» — воскликнул другой. «Олег Николаевич!.. Олег Николаевич!..» — приветствовали меня со всех сторон. Выбежал Долмат Фомич на имя мое и на отчество и, не скрыв радости, обнял меня. «Что же вы тут в прихожей стоите? Сюда, сюда,— повел он меня в комнату с библиофилами. (Книги, книги, книги на полках...) — Я боялся, вы не придете... Господа, узнаете?» «Олег Николаевич! Олег Николаевич!»

Стол.

Знакомые, полужнакомые и незнакомые лица.

Не прошло и минуты, а я участвую в разговоре. В чем трагедия Джойса... (А в чем трагедия Джойса?) Сколько стоит бумага... (А сколько стоит бумага?) Солженицын в Россию вот-вот... (И точно: скоро приехал!)

Стараюсь не смотреть на стол. Но явственные яства. Фрукты особенно. И ананас.

Где Юлия?

«Простите, я вам не показал еще своих сокровищ,— спохватывается Долмат Фомич.— Посмотрите». Альбом. В цельнокожаном переплете. Титульные листы редких книг. «Редчайших! Редчайших!» На каждом — печать. «Родники. Мои родники. Вскармливаете реку маргинальной сфрагистики».

Вот круглая: Усть-Ижорского фанерного завода «Большевик» на титульном листе «Острова Сахалина», отдельное прижизненное издание. А вот эллипсовидная печать — подарок профессора Скворлыгина — Института хирургического туберкулеза и костно-суставных заболеваний украшает титульный лист первого издания романа «Бруски». А вот квадратная — «Труд-ассириец», это печать одноименной артели производства гуталина, в 35-м году размещалась на Лиговке, что и отмечено карандашом слева от печати, а попала она неизвестно

как на книгу Н. Н. Страхова «Бедность нашей литературы», С.-Петербург, 1868 (титульный лист поврежден). Треугольная — «Красный картузник», на «Холодных блодах и закусках», тем замечательная, что к моменту выхода книги фабрика бумажных картузов прекратила свое существование.

Долмат Фомич любовно перелистывал страницы. «Вот», — похвастался он. Титул сказок Бианки, печать общеобразовательной школы № 186. «Вы знаете, кто там учился? Лауреат Нобелевской премии. Отгадайте, который?»

У меня нет желания что-либо отгадывать. По правде говоря, меня сфрагистика не интересует. Хотя:

«А сами-то книги, без титулов — где?»

«Ну чего захотели! — усмехнулся Долмат Фомич. — Всего не приобретешь».

«Олег Николаевич, можно вас на минутку?» — Надо на кухню. Зоя Константиновна зачем-то зовет. Попросил извинения.

Юлия, стоя у раковины, моет большую кастрюлю, недовольная чем-то. Она даже не посмотрела на меня. Наоборот: отвернулась. Зато ко мне внимательна Зоя Константиновна. Взяв за руку, подводит к столу.

«Для салата. Последний аккорд». — Диковинное приспособление стоит на столе, гильотиноподобное и, если я правильно понял, многоножевое. Соленый огурец жертвенно лежит на керамическом подогуречнике. Крепшш. Я правильно понял. «Нажмите, — последовала просьба Зои Константиновны. — Нажмите на рычажок. Последний аккорд».

Я нажал. Огуречные звездочки попрыгали в тарелку.

«Браво!» — за спиной аплодировали Долмат Фомич и его соратники.

Я шутливо раскланялся.

Долмат Фомич улыбнулся приветливо — мне, но слова, не столь приветливые (под шумок — уверенный, что я не услышу), обратил к Юлии: «Ты бы все-таки надела парадный передник».

Злой взгляд в его сторону. Обнаружив, что он всеми услышан, Долмат Фомич попытался смягчить неловкость веселой шуткой: «Юлия, Юлия, как хорошо тобою вымыта, я вижу, кастрюлия».

«Слушай, не надо!» — неожиданно громко произнесла Юлия. Скинула непарадный передник и вышла из кухни. Библиофилы во главе с Долматом Фомичом поспешили за ней. Я, пораженный, остался. «Своенравна, строптивая», — сортируя огуречные звездочки, обескураженно вымолвила Зоя Константиновна. И тут я понял: они же родственники! Ну конечно: отец и дочь! Как же я раньше не разглядел этого? Юлия — дочь Фомича, это же так очевидно! Все объяснилось. Все стало понятным.

Членство в Обществе, надо же — глупость какая!.. Не ему я обязан тем, что Юлия здесь, не так все абсурдно. Все лучше, все проще, все объяснимее!.. И с Долматом нелепое Фомичом знакомство мое, озаренное вдруг вспышкой смысла, — не нелепое вдруг, не случайное вдруг — без библиофилов, — сочталось вдруг у меня в голове с тем, что Юлия здесь, с тем, что Юлия здесь! Петь душа захотела.

Зоя Константиновна улыбалась многозначительно, словно догадывалась, о чем я думаю. Ба! Да ведь она и есть жена, она и есть жена хозяина дома! Других женщин нет. Все становится на свои места. Жена Фомича. Мать Юлии. Хотя лицом не похожа и нос — другой. Не мать — мачеха!

Зазвонил колокольчик, приглашая за стол. Мачеха Зоя Константиновна сказала мне доверительно: «Не ладят. Случается. А ведь как подходят друг другу... Такие разные и так подходят...»

Я насторожился: «Кто?»

«Луночаровы. Юлия Михайловна и... — Она глаза округлила. — Как? Вы ничего не знали? Юлия Михайловна и Долмат Фомич уже год как находятся в законном браке».

Я не поверил: «Этого не может быть!» «Уверяю вас, они муж и жена».

Все мои построения мигом разрушились. Я побледнел, наверное, потому что Зоя Константиновна поинтересовалась: «Вы, наверное, голодны?»

«А кто же тогда вы?» — спросил я не в силах смириться с известием.

«Ха-ха-ха! — Зоя Константиновна кокетливо засмеялась. — Молодой человек, а вы шалун. Мы друзья с Долматом Фомичом. Меня связывает с ним многолетняя дружба».

Тоска мое сердце объяла.

Зоя Константиновна предложила выпить. Мы выпили за библиотеку Демьяна Бедного. Закусывали. Я резал ножом. Сосредоточенно. Очень сосредоточенно, сам чувствовал: чересчур, не в меру выпитого, так быть не должно. Так не бывает. Бывает не так. Я сосредотачивался на своей сосредоточенности: нож ускользал. Я мог сосредоточиться только на чем-то одном: или на ноже, или на своей сосредоточенности. Или на том, что говорили. Демьян Бедный был библиофа. Библиофа — это тот, кто не дает читать книги.

«А вы, Олег Николаевич, нет. Вы не библиофа от слова “могила”. Олег Николаевич даст». «Долмату Фомичу дал Олег Николаевич. Нужную. Когда попросил». «Спасибо, Олег Николаевич». Пожалуйста. Дал. Дал. Дал.

Зачем я слушаю это?

Сталин брал книги читать. А Демьян давал неохотно. Демьян Бедный не давал никому, лишь Сталину. Сталин брал и читал. У него были жирные пальцы. Однажды ревнивый Демьян сказал про Сталина: «Он возвращает с пятнами на страницах». Могли б расстрелять. Уцелел. Но в опалу попал. Выгнали из Кремля. Исключили из партии. Отлучили от «Правды». Собрание книг досталось музею. Государственному. Литературному. Государственному литературному. Государственному литературному досталось музею.

Значит, все-таки они что-то подсыпали в вино. Значит, что-то подмешено.

«Когда я впервые прочла об этом, а я об этом прочла в “Огоньке”... в начале, помните, гласности (и перестройки), я так взволновалась, я так взволновалась, что спать не могла две ночи подряд. Сталин пятна оставил на них! Представляете, пятна! Я решила найти эти книги! Уникальные книги с уникальными пятнами... Это времени пятна. Пятна истории! Пятна истории, вам говорю!.. В те бессонные ночи в моем мозгу возникла новая дисциплина...» «Библиотрассография, — слышалось отовсюду, — библиотрассография...»

«Да! — заставила вздрогнуть меня возбужденная Зоя. — Да! Но теперь я скажу: библиотрассография — вот название страсти моей к указанному предмету!»

Я ел. За едой терял нить разговора. Помню, был помидор и что-то о том, как листала, листала, листала... Он не оставил реестра. Приходилось искать. Установливать — те ли, Бедного ли Демьяна? Тысячи книг. Капитальнейший труд.

«Достоверно могу назвать три книги». — «Какие?» «Первая. Рассказы Олега Орлова “За линией фронта”. Отпечаток указательного пальца левой руки на тридцать первой странице». — Она опять овладела моим вниманием. «Вторая. Сборник “Французские лирики XVIII века”, Москва, шестнадцатый год, с предисловием Валерия Брюсова. Характерное пятно напротив эпиграммы Вольтера».

«Вы бы не могли прочесть эпиграмму?» — «Могу».

Вот почему Иеремия
Лил много слез во дни былые?
Предвидел он, что день придет —
Его Лефрант переведет.

Третья...

Я встал. Не извиняясь, вышел. Я пошел.

Я пошел искать Юлию. Ее нигде не было. В прихожей не было. В кухне не было. В комнате, в которой мы были с ней, тоже не было. Были окно, открытая форточка, бамбуковая палка в углу, которой задерживают занавески. Я подумал о галстукке. Теперь я был обязан это сделать. Я не мог поставить ее под удар. Я взял бамбуковую палку и просунул в форточку. Галстук висел на дереве. Ски-

нуть галстук было непросто. Напротив окна. Я не мог дотянуться. Дотягивался. Палка была тяжелая. Чуть-чуть не хватало. А мог уронить. Но все ж дотянулся. Дотянулся до галстука. Скинул.

Меня ждали. Встреченный тишиной, сел я на место.

«Все хорошо?» — спросила негромко Зоя Константиновна. Я ответил ей: «Да». «Третье. Пятно, предположительно винное, на шестнадцатой странице Законов вавилонского царя Хаммурапи под общей редакцией профессора Тураева, восемь рисунков и карта, на карте след подстаканника».

«А не было ли там следов крови?» — спросил профессор Скворлыгин. «Не было», — ответила Зоя Константиновна.

Я увидел Юлию. Она сидела как ни в чем не бывало. Я не мог понять, откуда она появилась.

«Книжные пятна — это памятники материальной культуры эпохи. Книжное пятно как объект исследования есть след. След, нуждающийся в идентификации. Каждый исследователь должен знать: подсознание через него находит проекцию. Через пятно. Надо понять и усвоить: книжное пятно — визитная карточка индивидуальности. Но и ключ к пониманию менталитета, свойственного поколению или группе людей тоже. Книжное пятно — то место, где соприкасаются материальное и идеальное, в частности, пища питательная, продуктовая, гастрономическая, с пищей духовной, или, можно сказать, пища с не-пищей...»

Юлия глядела на меня. «Не пей», — читал я в ее зоре.

«Я бы могла вам рассказывать долго. Но я вижу, это не всем интересно».

«Очень интересно», — сказал Долмат Фомич. — Спасибо, Зоя Константиновна, мы вам благодарны. А теперь послушаем незабвенного Всеволода Ивановича Терентьева».

Он подошел к магнитофону и нажал кнопку.

ГОЛОС В. И. ТЕРЕНТЬЕВА. *...болезни крыжовника. А вы с той стороны... Я?.. Нет, пусть лучше на левую... (Неразборчиво.) Сюда?.. (Пауза.) Раз, два, три...*

«Итак, Олег Николаевич, теперь ваша очередь. Вы нам о чем-то рассказать очень хотите. О чем?» Я ни о чем не хотел, я так и сказал: «Ни о чем». «Как же так “ни о чем”?» — не поверил Долмат Фомич. — Надо обязательно о чем-то. «Мне не о чем вам рассказывать». «Нет, нет! — возражали собравшиеся. — Расскажите, пожалуйста, непременно расскажите». «Я не готов». — «Готовы, готовы». — «В самом деле, вы совершенно готовы, Олег Николаевич, совершенно готовы».

«Расскажите, — попросила Зоя Константиновна, вырисовываясь, когда я на нее посмотрел, — знаете о чем?.. Как вы научились читать. По кубикам, да?» — «Ваши первые книжки. Про них».

Я стал рассказывать про первые давно позабытые книжки, мною в детстве прочитанные.

Что же произошло тогда со мною? Что же за дрянь они мне подмешали, если я действительно им подчинился? Стал рассказывать. Я! И про что?!

И вот странность: с каждым словом я обретал уверенность. Словно бы и не я это рассказывал, а я только слушал, причем увлеченно. Боясь пропустить. Чуть-чуть недоверчиво. Мой рассказ был помимо меня. Прислушиваясь, я узнавал о себе позабытое. Как тогда, книгочей шестилетний, все не мог разобраться, чьи эти книжки — «его». Книжки из серии «Мои первые книжки». А я думал: «Его» — не «мой».

«Мои первые книжки».

Их было просто читать. Крупными буквами. Тонкие книжки. Я читал по слогам. Я рано научился читать. Все понимал. Я не понимал только, почему они, первые книжки, — мой? Не я же их написал. Что такое «мой»? Так я думал.

Печать неподдельной заинтересованности на лицах, внимающих мне. Вижу, вижу, как слушаете. Особенно Долмат Фомич. Жест рукой: мол, спокойно, мол, тсс!.. Он меня, как Терентьева ведь, он меня, как Ивановича (увиделось вдруг), — на магнитофон. Мой рассказ.

Про то, как варил солдат кашу из топора. Про то рассказываю. «Мои первые книжки».

«А на заборах вам приходилось читать в детстве?»

Еще бы! С этим связано яркое воспоминание. Как же, как же... Только не на заборе, а на столбе. Еще до школы. Я рано научился читать. Я гостил в деревне у тетки отца, а там стоял столб. Я подошел к столбу и прочитал. Выцарапанное. Выцарапанное прочитал на нем слово. Помню, как оно меня поразило краткостью своей и таинственностью. Я ж и раньше слышал его, но не только не знал, что оно означает, а даже не умел выделить его из потока непонятных мне выражений, чтоб понять, разгадать, раскумекать,— все оно от меня ускользало, все оно мною недоулавливалось.

Несмотря на краткость свою необыкновенную.

И вот прочитал выцарапанное. И обрадовался. Пришел я к тете Даше и назвал простодушно слово, мною прочитанное. Та испугалась. (Вид, конечно, сделала, что испугалась.) Ведь нельзя, нельзя ни за что это слово вслух говорить, такое оно страшное и плохое. Запрещенное слово. А если услышат, что я произнес, будет беда: повесят меня на Доску позора.

На Доске позора висеть не хотелось. Стало страшно мне очень. А что за доска-то такая?.. А такая. Позора. Вот за клубом, если услышат, поставят Доску позора и повесят на Доску позора — меня.

И тетю Дашу тоже повесят — за меня. Мол, она научила. Как повесят? Или прибьют. Молотком.

Не сплю. Лежу, под одеялом спрятавшись. Стрекошет сверчок. Тетя Даша молится на ночь, мерцает лампадка. За меня. Я ведь знаю кому. Он распят, приколочен.

За меня.

«А теперь про вашу работу. Про новую». — «Да, да! Олег Николаевич про салат написал». — «Вы так хорошо рассказывали, Олег Николаевич. Расскажите, пожалуйста, еще про салат». — «Про какой салат?» — «Ну, салат цикорий в соусе с мадерой». — «Ваша работа последняя». — «Моя?»

«Некрасов, — подсказал Долмат Фомич. — Некрасов. Для “Общего друга”». Кто-то из библиофилов уже цитировал:

«Буду новую сосиску
Каждый день изобретать,
Буду мнение без риску
О салате подавать».

Аттестация блюд, помните?»

«Сначала! Сначала! — скомандовал профессор Скворлыгин и сам стал декламировать:

— Это — круг интимный, близкий.
Тише! Слышен жаркий спор:
Над какою-то сосиской
Произносят приговор.
Поросенку ставят баллы,
Рассуждая о вине,
Тычут градусник в бокалы...
“Как! четыре — ветчине?..” —

Профессор замер на вдохе. —

И поссорились... —

выдохнул сокрушенно... Но тут же к всеобщему восторгу снова воспрянул духом:

— Стыдитесь!
Вредно ссориться, друзья!
Благодушно веселитесь!
Скоро к вам приду и я».

Хор голосов подхватил:

«Буду новую сосиску
Каждый день изобретать,
Буду мнение без риска
О салате подавать...»

И с еще большим энтузиазмом, приглашая жестами и меня к сему присоединиться:

Буду кушать плотно, жирно,
Обленюся, как верблюд,
И засну навеки мирно
Между двух изящных...»

«Блюд»,— промямлил я, принужденный отгадать рифму.

Смех. Аплодисменты. Звон бокалов. Мы выпили за Петербургское общество гастрономов, так удачно воспетое Некрасовым в поэме «Современники».

Закусывали. Сие исполнялось без шума. Библиофилы поглядывали на меня заговорщически, словно ждали от меня каких-то ответных слов, быть может, поступка. Я молчал.

«Ну так, Олег Николаевич, ответьте мне наконец,— не выдержала Зоя Константиновна,— почему же Некрасов, певец народного горя, с радостью посещал заседания Петербургского общества гастрономов?»

Я продолжал молчать.

«Там все есть, в книжке,— подсказал мне Долгат Фомич,— в примечаниях. Помните, я вам книжку дал?»

«Потому что,— за меня отвечивал до сих пор молчавший библиофил (то был казначей),— потому что, по словам Михайловского, там, цитирую, “можно, во-первых, действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать... и, в-третьих, это один из способов поддержать знакомство с разными нужными людьми”. Так сам Некрасов говорил Михайловскому».

«Вам это ничего не напоминает?» — спросила Зоя Константиновна. «Напоминает». — «Что?» — «Вас».

Не просто тишина воцарилась, но безмолвие. Вилки и ножи легли на тарелки.

«Ибо?» — встал из-за стола Долгат Фомич.

«Ибо,— вырвалось из меня,— ибо вы и есть гастрономы!»

Тут все встали. Стоя, мне аплодировали. Я тоже встал. Каждый подошел ко мне, обнял меня и поцеловал три раза. Каждый сказал: «Поздравляю».

А Зоя Константиновна сказала: «Вы все поняли сами».

«Да,— произнес торжественно Долгат Фомич.— Мы и есть гастрономы. Мы Общество гастрономов. Это не значит, что мы не библиофилы, о нет. Мы все как один библиофилы. Но прежде всего мы Общество гастрономов. Это наша маленькая тайна, и вы с нами».

«А вот и салат»,— объявил профессор Скворлыгин. Из кухни везли салат на сервировочной тележке. С мадерой. Тот самый, рецепт которого я сдул с «Кулинарии» Всеволода Ивановича. «Салат цикорий в соусе с мадерой! Ваша идея, воплощенная в жизнь!»

Мне завязали глаза. Ударили по плечу половником.

А где Юлия, думал я, ведь ее опять не было. Я опять ее потерял.

Глава 7. Посетитель обедов

Похолодало. У выхода из метро еще продавались грибы. Прошли белые, красные, сыроежки прошли. Шли зеленухи. Власти попугивали радиацией, но торговцев грибами не трогали — это называлось поощрением частного предпринимательства. Разложенные по кучкам на газетах реформаторского направления (иные в киоски не поступали) зеленухи смущали народ своей подозрительной зеленоватостью. Народ переставал улыбаться. Народ охватила угрюмость. Общность ощущений испытывалась в очередях — всем ясно стало: стало как-то

не так. Не так хорошо, как ждали некоторые оптимисты, хотя и не так плохо еще, как если бы хуже некуда. Хуже было куда. И главное — когда. Скоро. Завтра. Послезавтра. В ближайшие дни. Будет зима голодной. Будет зима холодной. Сушите грибы.

Все возмущались талонами. Основной вопрос переходного времени звучал теперь до предела афористично: где отovarить талоны? Негодовали: почему нет сахара, если продлили на октябрь сентябрьские? Почему нет яиц, если обещан десяток на первый резервный? И нет колбасы, и нет, роптали, муки высшего сорта!

И вот совсем уж дурное предзнаменование. В октябре по булочным города прокатилась первая волна хлебного бума.

Люди думали не о том. Надо было думать о праздниках.

В октябре открыли на Петровской набережной мемориальный знак Альфреду Нобелю. Открылся первый валютный магазин в Гостином дворе. Молодой аспирант из Нигерии открыл на Невском, 82 казино с жизнеутверждающим названием «Счастливый выстрел».

В российско-нигерийском казино
сыграть в рулетку, в карты, в домино,
в пятнашки, в жмурки, в прятки — все равно,—

сочинил, проходя мимо. Сам на себя удивился. Хотел дальше придумать — не придумалось. Отроду стихов не писал.

«Ну что,— сказала Екатерина Львовна,— будь умницей. Дверь никому не открывай. Если позвонят, спрашивай, кто».— И ушла в сопровождении своего майора — тот нес чемодан.

Я уже переставал чему-либо удивляться. Екатерина Львовна будто бы уплывала в круиз. На 26 дней. По Средиземному морю.

Несомненно, в жизни Екатерины Львовны произошло что-то существенное, что-то такое, что она пыталась до времени от меня скрыть, словно боялась, что я все испорчу. Перед отъездом избегала разговоров со мной. Мало интересуюсь ее личной жизнью, я находился при убеждении, что Екатерина Львовна отчаливает к майору под Лугу.

Грех жаловаться, она не только оставляла меня за хозяина в своей квартире, но и так себя вела, как если бы была в чем-то передо мной виновата...

Когда запрещаешь себе думать об однажды очаровавшей тебя женщине, чем заполняется голова? Вот именно — всяким. О молодой жене Долмата Фомича я старался забыть. Как бы не так!.. Изгоняя из сердца Юлию, я уже потому не мог позабыть ее, что она в самом деле куда-то запропастилась. И хотя с Долматом Фомичом мы встречались теперь едва ли не ежевечерне — на всевозможных гастрономических мероприятиях,— про Юлию я не расспрашивал. Я просто ел. Ел, как неопит,— страстно, неистово, словно в самом деле хотел заглушить, нет, заесть память о ней!

А ведь я не обжора. Более того, к еде я не требователен. Еда тут вообще не главное. Если бы я оказался в обществе вязальщиков авосек, я с той же безоглядностью предавался бы и этому душевспасительному занятию или бы (для сравнения) морил себя запросто голодом, очутись в кругу профессиональных голодальщиков.

Последнее время я, что называется, плыл по течению. А мог бы и не фигурально — в натуре — по Средиземному морю. Я заметил, что некоторые гастрономы ко мне как-то странно присматриваются. Вниманием, надо сказать, я тогда не был обижен и в общем-то не находил причин не замечать хорошего ко мне отношения.

Как-то профессор Скворлыгин отводит меня в сторону и спрашивает о судьбе лотерейного билета: неужели я его потерял? Я сказал, что презентовал хозяйке квартиры. «Что вы сделали? — ужаснулся профессор Скворлыгин.— Это был ваш билет! Ваш выигрышный билет!» — На том и кончился разговор, а я, как это ни забавно, еще долго не мог сообразить, о каком таком выигрыше

беспокоится профессор, или, точнее, проигрыше — моем! — средиземноморский лайнер с Екатериной Львовной на борту как-то не приходил в голову.

Как член Общества гастрономов я стал пользоваться привилегией. Мне выдали пачку бесплатных талонов на комплексные обеды в Доме писателей. С двенадцати до трех я мог удовлетворять свою физиологическую потребность в еде по индивидуальному плану, то есть не утруждая себя дружеским общением с товарищами по ассоциации. Впрочем, и здесь было с кем пообщаться, в этом небольшом сумрачном зале с таинственным витражом и дубовыми стенами. Здесь питались писатели. Правда, обедали далеко не все; ели лишь состоятельные, а менее состоятельные больше пили, чем ели; водка в те дни становилась дешевле закуски, и шло классовое размежевание. Не знаю, что связывало гастрономов с руководством Дома писателей, но как член Общества я получил талоны с печатью писательского правления, точно такие же, как работники Дома и лишь некоторые особо привилегированные литераторы. Причем, кроме меня, среди расплачивающихся талонами больше не было ни одного гастронома, по крайней мере явного, не тайного и мне, значит, не известного. Позже я узнал, что все мы были распределены по разным престижным заведениям вроде этого, где каждому предоставлялась возможность вне плановых собраний утолять возникающий аппетит в дежурном порядке.

Помню, вначале мне было ужасно неловко съесть дармовой обед (писатели-то в большинстве своем платили наличными), ведь я по природе своей все-таки человек достаточно совестливый (и не писатель), но в том-то и прелесть этого кабака — напомню, сами писатели называли кабак «кабаком», — в том-то и прелесть, что, побывав тут два-три раза, новичок переставал быть чужаком и принимался завсегдатаями уже как в доску свой, тем более если он обнаруживал склонность к употреблению. Долмат Фомич, который весьма ревниво относился к моим посторонним знакомствам и который почему-то недолюбливал, не сказать, презирал современных писателей (во всяком случае, здешних), пожалуй, недооценил мою общительность. Иначе бы он похлопотал о моем перераспределении в другой буфетосодержащий клуб, да хотя бы к тем же архитекторам или композиторам.

Парк Победы. Даже кнопка звонка, родная, фамильная, заменена на новую, не мою. Я звонил и звонил: не хер прятаться, знаю, что дома. Почему-то представил, что дверь открою я сам. Что бы было тогда? Вот открыл и стоит, не узнает, не знает — меня: «Ты кто?» «А ты?» — отвечаю с угрозой — себе-ему. Зашебуршало.

Открывший дверь оказался широкоплечим, верзилистым и чернокожим, родом из Африки. Не ожидал. Не я. И даже не Валера. «Вы кто?» — спросил я вежливо гостя. Он сказал с характерным танзанийским акцентом: «Шилез!» «Это я Жилец», — ответил я мысленно. Но спорить с ним не стал. Побрел восвояси. То есть во дворец Шереметева, чтобы дерябнуть в кабаке 150 «Менделеевки». Я не хотел думать, что сделали они с моей квартирой. Шилез так шилез.

...За соседним столиком говорили о музыке революции. А тогда была **perestrojka**. Не то была, не то уже кончилась. Наверное, кончилась. От этого нерусского слова всех мутило давно, им обожралось все человечество, а мы и подавно.

У нее тоже была своя музыка. **Muzika perestrojki**.

«Уж лучше в Союз композиторов», — сказал я и попытался напеть то, что слышал сейчас; мелодия деформировалась, расплзлась, растворилась в кабацком гуле, исчезла. Я остался ни с чем.

Некто — громко: «Ничего у нас не получится, пока мы по капле не выдавим из себя Достоевского!» Мне показалось, что произнесено это нарочно для меня, чтобы услышал; нет, конечно. Все замолчали.

«Лично я, — и тут говорящий весьма натуралистично потужился, — выдавливаю... выдавливаю... каждый день... по капле...» — и — уронил рюмку, задев локтем.

Что ли впечатлительным стал я, или что-то оно со здоровьем, или сам хвати лишнего, но «капля Достоевского» оказалась последней, переполнившей чашу... чего там?.. терпения — дармовый обед запросился наружу. Я поспешил в уборную. Вот тебе и катарсис, подумал, нагнувшись над унитазом. Смыл.

Стоя перед раковиной, глядел на себя в зеркало; на меня пялилось мое не веселое «я» с малиновым пятном на лбу.

Молодой, почти юный, ангелоподобной внешности литератор с равнодушным видом держал ладони перед гудящей автосушилкой. «Сейчас многие пытаются писать плохо,— обратился он ко мне, моющему лицо.— Писать плохо дьявольски трудно, гораздо труднее, чем хорошо».

Я сказал: «У некоторых получается».

«У немногих. Впрочем, имена на слуху. Но это, видите ли, на уровне стиля. На уровне стиля — да, бывают удачи. Иное дело сюжет...» — «Какой сюжет? Кого же сегодня заботит сюжет?» — послышался утробный голос из-за дверцы кабинки. «То-то и плохо, что никого не заботит,— прибавил громкости мой собеседник.— Или нет, скажу по-другому: оттого, что сюжет сегодня никого не заботит, как раз и не выходит по-настоящему плохо. Можно сколько угодно резвиться на полях бессюжетности, теша себя ребяческой мыслью, что ты уже достиг совершенства косноязычия, но что из того? По-настоящему плохо лишь тогда, когда сюжет, именно сюжет, заведомо плох».— Он мне подмигнул.

«Да, но где же взять плохой сюжет?» — воскликнул обитатель кабинки с такой неподдельной тоской, словно речь шла по крайней мере о пере Жар-птицы какой-нибудь. «Жизнь, сама жизнь диктует сюжеты»,— произнес назидательно сушащий руки.

На сегодняшний день намечалось много хорошего. Во дворце Белосельских-Белозерских — банкет для творческой интеллигенции демократических убеждений. В Таврическом дворце — праздничный бал. На Каменном острове на одной из бывших правительственных дач обещал состояться обед с участием Великого князя Владимира Кирилловича, впервые посетившего Россию. Активисты общества «Возрождение во имя реформ» встречаются в ресторане гостиницы «Европейская». Общество гастрономов собирает своих членов под сводами бывшей Чесменской богадельни, в аудитории № 212. О чем и сообщалось за благовременно.

Я решил не ходить. Не хотелось. Хотелось просто ходить — ходить по городу.

По Сенной блуждали милиционеры. Незаконная торговля в этот день каралась штрафом. Одну лишь бабуся не трогали: для тех, кто думал, что сегодня 7 ноября, она продавала традиционные раскидайчики.

Над Зимним пролетел вертолет...

Я пересек Дворцовую и вышел на Мойку. Плыл катер. В подъезде дома Аракчеева сидела кошка, ее глаза излучали тревогу. Скучал милиционер перед Генеральным консульством Японии. Япония — Страна восходящего солнца. Солнце восходит над Японией, оно похоже на блин. Борцы-гиганты состязаются в беге. Извергается вулкан Фугэн, молчавший двести лет. Сто тридцать домов под лавой и пеплом. Я отошел от стенда.

В комиссионный магазин «Натали» требовалась уборщица. «Натали» был закрыт, как и дом-музей, где скончался раненый Пушкин.

По Конюшенной площади шли демонстранты — колонна с красными флагами и портретами Ильича; впереди — транспарант с надписью «Справедливость». Повернув на бывшую Желябова, или на бывшую бывшую (а теперь настоящую) Большую Конюшенную, демонстранты стали скандировать: «Ле-нин-град! Ле-нин-град!» — призывая прохожих примкнуть к процессии. То были противники «Санкт-Петербурга». Они направлялись к Невскому проспекту.

Я увидел парашютистов. С трехцветными флагами и чем-то к тому же пламенеющим (вроде факела, что ли) они падали вниз, исчезая за крышей величественного ЛЕНВНИИЭПа. Так вот зачем вертолет! Я ускорил шаг и вновь оказался на площади.

Митинг закончился, но праздничная часть еще продолжалась. Над площадью пролетела неспешная «этажерка», за ней развевалась ленточка: «Санкт-Петербург». Три самолета появились со стороны Адмиралтейства — спортивные; пролетев над Александрийским столпом, они оставили за собой ядовито-оранжевый, по-своему, декоративный след. Некий комментатор провозгласил торжественным голосом: «Дорогие санкт-петербуржцы! Мы впервые видим это зрелище. Над Дворцовой площадью самолеты! Ура!» «Урааа!» — ответили рожденные не летать и летать не рожденные.

Между тем самолеты уже возвращались. Теперь были выброшены листовки, ветер относил их за ограждения. Толпа подалась по направлению ветра — в сторону Зимнего, уплотнилась. Некоторые сумели схватить. Я — нет. Обладатели листовок, не скрывая радости, показывали обделенным:

«Красуйся, град Петров,
И стой непоколебимо, как Россия!

А. С. Пушкин»

«Сохраните эти листовки на память об этом дне!» — с необыкновенной торжественностью зазвучало над площадью.

Мне задали импульс, и через несколько минут я очутился около Марсова поля. Не дожидаясь трамвая, побрел в сторону Сенной — к дому. Какие-то люди тусовались на ступеньках Инженерного замка, стоял рядом автобус телеведущательного ведомства. Я вспомнил, что тут был обещан живой Петр I в камзоле, он всех самолично сегодня поздравит.

Из булочной на Садовой высовывалась огромная хлебная очередь. Прыгал, крича, сумасшедший карлик напротив Гостиного и бил по струнам гитары ладонью. К нему привыкли. Собирали подписи. Продавали дешевые гороскопы.

Зачем-то я повернул на Невский. Какая-то все-таки сила меня все время тянула к Дворцовой. Теперь я оказался в потоке желающих послушать концерт. Погода портилась, моросило.

Прокламации за тридцать копеек я не купил, хотя и просили. Не понимаю: почему прокламации надо обязательно продавать? Тут, за аркой, стояли троцкисты. Узок был круг этих революционеров — человек пять, зато за их спинами — Маркс, Ленин, Троцкий и Че Гевара, правда, разноформатные и черно-белые.

Рядом топтались анархисты под угольным знаменем, они тоже держали что-то печатное. Один в черной папаше в порядке дискуссии наскокивал на пенсионера: «Имейте в виду, я профессиональный историк!»

Поклокаtywало небольшое собрание у Александрийской колонны. Те, кто сегодняшней день считал не праздником, но днем скорби, говорили о преступлениях большевиков. Но вот грянула музыка, начинался концерт. Публика, предпочитая развлечение трауру, переместилась поближе к Пьехе и Кобзону — напротив Зимнего дворца десятками прожекторов освещалась эстрада.

Я уходил, когда выступали куплетисты. Пели об актуальном, приплясывая. Один начинал, другой подхватывал. Вроде: «Не хватило курочек...» — «Но нашел окурочек...»

Еще посмотрел наверх, задрал голову. Ангелу в лицо светил прожектор. Стемнело.

В троллейбусе играли в молчанку.

Шарахнула шутиха во дворе. Дворничиха ответила на запуск бранью, но столь нечленораздельной, что можно было принять за приветствие. Я поднялся по лестнице и обнаружил в дверях записку: «Дорогой друг! Где вы? Надеемся, вы не забыли о нашем скромном торжестве. Ждем с нетерпением. Ваши Друзья». — Засунул в карман, скомкав.

«А я думала, ты уже там...»

Обернулся. «Три часа на подоконнике...» — Она отделилась от подоконника, от батареи, спустилась ко мне — легкий плащ и сумка на плече, и чемодан стоит на ступеньке.

«Юлия? Ты откуда?» — «С Мальты». «С чего?» — «С острова Мальта — с чего! Остров Мальта в Средиземном море, не знаешь?»

Увидел бирку «Аэрофлота».

«Ты там... что делала?» «Это ты что тут делаешь?.. Ты!.. Ты зачем ей билет отдал? Я тур в лотерею выиграла! И ты выиграл!.. Оба — по туру!.. У тебя что — нет головы?» «Спокойно!» — мелькнуло у меня в голове, словно в доказательство ее наличия.

Голос Юлии был с хрипотцой, простуженный. «Меня до семнадцатого не ждут... Я досрочно...» — И руки холодные, ледяные. А сама — сама загорелая.

А сам... а сам — головой, головой: сегодня-то будет какое?.. Седьмое!

«Ну ты откроешь когда-нибудь или нет?.. Отпусти... Ведь правда, замерзла...»

Пока, торопясь, открывал французским ключом, снизу соседка тоже открыла. Вышла под нами на лестницу выбросить мусор в бачок и громко сказала кому-то — да был ли там кто? — кому-то несуществующему последнюю новость: «Ульяновск-то переименоваться хочет!.. В Ленинград-на-Волге, блин горелый!» — и дверь хлопнула.

Глава 8. Вдвоем и с другими

Ленинградский комар-мутант, прозванный в народе подвальный, потому что лишь там, в ленинградских вечно залитых водой подвалах, могло уродиться такое чудовище,— этот ночной террорист, обитатель теперь уже всех этажей, от нижнего и до мансарды, хитрый, осторожный, коварный, с каким-то диковинным кишечником, или что там внутри у него? — длинноносый, ненасытный — мелкий, зараза, но злой,— он пил ее кровь, негодяй.

Сумрак лиловый наполнял комнату, тускло светилось окно. Уже давно отгрохотал во дворе мусорщик помойными баками. Трамвай скрежетал, огибая Сенную.

Я проснулся от холода, она стянула с меня плед во сне, но не накрылась им, а сбила в комок, плед был зажат у нее между колен. Она спала ко мне спиной — на боку, съезжившись; зацепила край пледа правой рукой и подтянула к самому подбородку. Эта правая — была теперь *нижняя*. Другая же — левая, в данном случае *верхняя*, — та, согнутая в локте, лежала на ее лице, словно защищала глаза от яркого света. Яркого света не было и не предвиделось.

Я не мог понять, дышит ли она. Понимал, что дышит, потому что нельзя ведь совсем не дышать, но она дышала так неприметно, что я, склонясь над ней, сам невольно затаил дыхание.

Снится ли тебе что-нибудь, красавица, в столь замысловатой позе? И не чувствуешь ли ты, как я тебя рассматриваю?

Шевельнулась. Холодно, да? Я подумал: мурашки, — но они были крупные, слишком крупные для мурашек, и я увидел, что прихотливый узор на лопатках — никакие там не мурашки, а след недавней борьбы все с тем же узорчатым пледом.

У нее почти не было родинок на теле. Были, но редкие. Рука, откиннутая на лицо, весело и бесстыдно открывала подмышечные просторы, там-то и красовалось на склоне выбритой ложбинки сразу созвездие из четырех родинок... Трех! Одна была — вот я и застучал его! — мимикрирующий комар, сволочь какая... Он уже давно вонзил сладострастный нос по самое основание, он осваивал территорию, мною еще не открытую (ну а ты, ты-то неужели не чувствуешь, с нежной кожей своей?..), тулово его потемнело, набухло и едва заметно подергивалось. Наслаждаясь, он потерял бдительность.

Я боялся разбудить ее грубым прикосновением пальцев, а потому медленно поднес к негодяю руку и аккуратно взял его сверху двумя — большим и указательным. Даже не дернулся, даже не попытался вытащить нос. Капелька крови, упав, покатила по коже и, не достигнув груди, быстро иссякла.

«Не щекочись». — Она повернулась на спину, смотрела на меня большими глазами.

«Я убил комара». Сказала: «Ревнивец».

Плед умудрился и здесь отпечататься — и на животе, и на груди. Мелкозернистая елочка, зигзагом.

Она потягивалась. Елочка расплзалась, раздвигалась.

Ладонь моя еще не знала, на какую ей лечь. Выбрала правую. Мягкая кнопка податливо вжалась. Узор пледа читался пальцами. «А ведь кусаются только самки», — мелькнуло в мозгу из какой-то статьи про кровососущих. Но мысль развить не успел. Она обняла за шею меня, притянула.

Ну и вот, говорю: с толку сбитое, с ритма сбитое время — отступило на какую-то постоянную счастья, не выражаемую ни в часах, ни в минутах... *Один, два — и много...* Как у тех туземцев, только еще хуже: были всего-то вместе 2 (два) дня пока, а дням уже потеряли счет.

И *позавчера* так же было давно, как было давно *шесть лет назад*, когда повстречались мы шесть этих лет назад — при не до конца осмысленных обстоятельствах — у художника Б., в мастерской, в шумной и пестрой компании. Позавчера. В другую эпоху.

А вчера? День вчерашний, завершился ли он? Или все еще длится сегодня? Я боялся очнуться, боялся потерять ощущение ошеломляющей безотчетности, беспричинности, нелогичности, невозможности, ощущение веселой нечаянной bestолковости, дури, словно взял да и обманул злую реальность. За что же мне подарок такой? — но не задавай вопросов, молчи и не думай, — не за что, просто так — без мотиваций, без предпосылок, без вопрошаний — как с неба свалилась и теперь ходит по не твоей квартире в твоей длинной застиранной рубашке, переставляет стулья, что-то двигает, заваривает чай. Мало тебе, отвечай?

Нет, вполне достаточно. Потому и не было Мальты. То есть была где-то там, в Средиземном море, и чемодан тоже был, хотя и был не до конца распакован. Просто их не должно было быть, ни Мальты этой нелепой, ни чемодана, потому что Мальта, подумай-ка сам, — это уже перебор, большой перебор; быть должно, что должно быть, — оно и было.

Так же как перебор в смысле веса (и смысла) тащить за границу «Графа Монте-Кристо», причем оба тома. Зачем? Из библиотеки, поди, просвещенного мужа, ну конечно: Киргизское государственное издательство, Фрунзе, 1956, а вот и печать: «Библиотека кабинета политпросвещения, Смольный».

Первое время (часы?) мы почти не разговорили и, уж точно, избегали касаться отвлеченных тем, всяких там рискованных областей, где и шагу нельзя шагнуть, чтобы не наткнуться на причины-следствия и отрезвляющие несоответствия. Мы просто трахались, как сумасшедшие — подолгу и много. И, словно отводящая себе за чем-то пространство — метр за метром, бессовестно самоуверждались в разных концах чужой квартиры.

Запах чужой комнаты сразу же уступил запаху ее духов, воздуху нашей близости.

Мы не выходили из дома. На случай голодной зимы Екатерина Львовна запасалась консервами, атлантической сайрой в масле, китайской тушенкой, майор-отставник успел к тому ж натаскать вермишели, хранилась на полке между дверей в металлических банках.

Екатерина Львовна простит. Майор-отставник поймет.

Должна простить. Должен понять.

В эти дни мы были до крайности неприхотливы.

Звонок. Юлия — за руку: «Это Долмат!» — «С чего ты взяла?» — «Узнаю по звонку. Не открывай. Нас нет». Нас не было. Мы затаились.

Что Долмат, я не верил.

Шаги затухали на лестнице. «А что он здесь позабыл? Тебя ищет?» — «Ну нет. Он знает, где я». — «Где?» — «На Мальте», — неохотно ответила Юлия.

Меня чуть-чуть иногда ведет, но, когда зашкаливает, я тверд: не надо, не усугубляй. Пусть. Жизнь не должна казаться бредом. Жизнь должна казаться жизнью.

«Знаешь, я подумала, она похожа на сон... Как будто снится тебе, а потом забывается...» Я не понял: «Она?» — «Музыка... Твоя музыка... Которую ты не способен выразить».

А еще я сказал: «Да у тебя же бешенство матки, счастье мое». Она сказала: «Ты сам маньяк».

Был ли там действительно Долгат Фомич или кто другой, сама действительность позвонила нам в дверь, и я не мог ее более игнорировать. Мы сами не заметили, как вновь обрели способность выражаться иногда даже вполне пространственными фразами. Хотелось бесед.

Угрызенный совести я не испытывал, но все же некоторый дискомфорт присутствовал. Получается, я любовник жены своего благодетеля. Сразу дыхнуло XIX веком. Будуар, трюмо, шелка...

Было что-то ненастоящее в моем «получается». Нехорошо. Несообразно. «Ты часто изменяешь Долмату?» (Разговор на кухне — за чаем.) «Постоянно». — «И с кем?» — «Ни с кем» (Расфасован рязанской фабрикой № 2. «Грузинский». С большими чайниками.) — «Ни с кем — это, наверное, мысленно, да?» — «Нет». Пьем из стаканов, обжигаемся. (Екатерина Львовна продала чашки и блюда.) «Наверное, в ванной или как?» — я допытывался. «Много будешь знать, скоро состаришься».

Ночью она порывается рассказать мне свою историю.

«Мы жили на Васильевском острове с мужем, на Второй линии, в двухкомнатной квартире. Может быть, ты помнишь Леню Краснова? Он был у Женьки на тридцатилетии, помнишь — тогда?»

Нет, я не помнил. Я вообще плохо помнил, что было на том тридцатилетии. «И я тоже, — сказала Юлия. — Но он был. Я с ним потом и сошлась». «С кем?» — «С Ленией Красновым, я тебе о муже рассказываю. Через год после Женькиного тридцатилетия». — «А», — сказал я, не сильно вникая.

О давнишнем ее муже мне было не очень интересно, просто мне нравилось, как она рассказывала. Мне все, что она делала — что бы она ни делала, — нравилось — как. Как ходила, как ела, как пела (иногда она пела), как листала своего потрепанного Дюма, как смотрела на меня (или не на меня как смотрела), как улыбалась, как хмурилась, как старательно перебинтовывала мне порезанный палец, как одевалась — изящно, как раздевалась — легко, или — как в данный момент — как рассказывала обстоятельно не важно что, накинув, потому что «у вас не топлено», одеяло на плечи, зачем-то обнимая подушку и сидя у меня в ногах, как та голая кошка, не помню, египетская, а я, значит, лежал, изогнув, должно быть, очень неестественно шею, упершись в стену затылком, и все разглядывал ее — естественно и завороженно.

«Не держи голову так, будет второй подбородок». Я повиновался — и сдвинулся.

Время бесед. «Ну так вот. Мы бы все равно разошлись, рано или поздно, я уже тогда это чувствовала. А прожили мы с ним три года».

Чуть было не спросил «с кем?». Сообразил сам, сопоставив.

«Сначала было все хорошо, потом у него крыша поехала, забросил ботанику, решил грести лопатами деньги». Ну да, муж. «У него был приятель в Москве, сейчас он в Германии, а тогда болтался между Москвой и Кельном. Матрешки для иностранцев, шкатулки, ложки деревянные, всякая чушь сувенирная, у него точка была на Арбате, сначала одна, потом две, а потом он придумал картинную галерею открыть, так ее называли... одну из первых... Снял квартиру в центре, обошел художников, они ему картин понадавали, он их там все развесил, стал ловить иностранцев. Привел одних, привел других. Все распродал. Получил кучу денег». — «Муж?» — «Приятель мужа».

Я плохо вникал.

«У мужа все круче было. Сейчас расскажу... Ну а потом ему показалось мало быть... этим... менеджером, решил сам стать художником, а сам никогда даже кисточки в руках не держал...» — О приятеле. Я понимал.

«Нанял студентов из художественного, дал им краски, сам на холсте размечал, что и где изобразить, а они ему красили. Горбачев, Ленин, Кремль, шестеренки, будильники, винтики, гайки, русалки на ветвях, муравьи всякие, бабочки, все что хочешь, цветочки, паучков особенно много было... С других картинок срисовывали. Или просто проектором наводили на холст какой-нибудь слайд — и понеслась! Такой суперкитч невероятный. Ужасно. Я видела. А он еще сам подправлял потом, своей рукой. Нарочно уродовал, залеплял, портил, пачкал, загаживал, я видела эти шедевры... И ставил подпись размашистую. И знаешь, что он сделал? Он умудрился издать каталог всей этой гадости, отправить ее всю целиком в Германию, сам туда съездил, как великий художник наших дней, да еще двух рабов с собой прихватил, которые ему прямо на месте что-то там изображали, устроил выставку и всю мазню продал оптом. Вот так. Ты меня слушаешь?»

Нет. То есть да. Да, слушаю (слушал). Провал оптом. Как раз был пик интереса к нашей стране. Арт-бизнес. В своей первобытной формации. Все тогда так и начиналось — примерно.

«Он и совратил моего Ленечку». Мужа. Ага. Заметив, что я оживился, сочла нужным добавить: «В переносном, конечно, значении».

История с ее Леонидом оказалась, и верно, невероятной. С первых же слов.

Я попросил помедлить с рассказом, нашел в себе силы встать и пошлепал босиком по холодному полу в сторону стола. У нас была не допита мадера из майорских зачек.

По правде говоря, я не ожидал, что во мне что-нибудь екнет сегодня — еще. Но, когда возвращался к Юлии (от стола) с емкостью вождеденного напитка, екнуло, екнуло характерно — ибо умудрился взглянуть на нее, на Юлию (который уже, получается, раз в эту ночь?), новым опять-таки взглядом. И себе удивился приблизительно так: «Йой,— подумал,— йой-йой». — Кошка египетская.

Она поставила стаканофужер на колено, так что он возвышался теперь на уровне ее подбородка. Стаканофужеру по физике надлежало упасть, но не падал, держался. Она продолжала. А я лег, скривив шею, как прежде. И слушал.

Итак — он — бывший ботаник — по наущению своего московского приятеля — решил — стать — скульптором. — Скульптором — sic!

Многоопытный московский приятель взялся через кого-то в Германии организовать там у них и продать (что главное: успешно продать!.. всю, целиком!) большую выставку работ из бронзы. Безумные деньги. Слишком безумные деньги! И лежат под ногами — почти. Он, разумеется, знал, многоопытный московский приятель, механизм безвозвратного вывоза, однако по бумагам возвратный — хоть костей динозавра! — чего бы то ни было! — был бы только объект. Была бы выставка только — любых работ. Из бронзы. И новое имя. Своего человека. И он убедил своего человека — Леню, бывшего ботаника, бывшего Юлиного мужа, — сделаться скульптором.

С фужером на голом колене. (Стаканом.)

А как?

Элементарно. (Отбросив подушку и увлеченно.) 1) Необходима собственно бронза (в то время у нас довольно дешевая). Обыкновенный лом — для литья. Водопроводные краны, сочленения, переходники, их делали тогда из латуни и бронзы. («Я еще, дура, сама с ним ходила, покупала у водопроводчиков на Сенной...» — «Вот как? так ты тоже *сенная*?») 2) Необходим воск — для болванок. 3) Необходимо с помощью папье-маше снять маски не важно с чего, хочешь — с гипсовых пионеров...

Вместо «зачем?» я спросил: «Яблоко хочешь?» — «Да». Захрустев: 4) Арендовать какую-то центрифугу. Этакая печь, страшно дорого стоит — для плавки. Их будто бы в городе две (из доступных)... 5)... 6)...

«А что должно получиться?» — «Что получится, то и должно. И чем аляповатее, тем лучше. Нечто концептуальное. С ярко выраженными дефектами. Как бы литье слабоумного».

Я представил.

«Второе дыхание бронзы»». — Юлия выпила половину.

Тщетно пыталась она Леню вразумить. Он увлекся безумной идеей. Залезал все дальше в долги. Скупал у водопроводчиков бронзу. «И таскал ее домой, представляешь? Продам мою шубу, в апреле, за копейки. Ему нужны были деньги на центрифугу. Он торопился...» — «И ты разрешила?» — «А что я могла поделать? Я же говорю, у него поехала крыша».

Бедная Юлия! «Понимаешь, он всех убеждал, что он скульптор. Гениальный скульптор. В конце концов убедил в этом себя. Он был уверен, что создаст нечто необыкновенное — как только представится возможность».

Но до центрифуги дело не дошло. Леня вышел на некую общественную организацию. Показал заинтересованным членам правления фотографии якобы своих работ и, к сожалению (не к моему), не был своевременно уличен в подлоге.

Ни много ни мало ему заказали большой бронзовый бюст — требовалось увековечить память некоего авторитета. И он согласился увековечить! И получил деньги, крупные деньги — аванс и на расходы!

Потом поехал в Москву за технологическими инструкциями к своему многоопытному приятелю и, не застав его дома, отправился — куда бы я думал? — да на ипподром, где и проиграл все до последней копейки, поставив не на ту лошадь. Чужие деньги.

«Невероятно. Как же ты жила с таким, Юлия?» — «Сама не знаю. Я ведь тоже немножечко авантюристка, но все-таки не до такой степени. Слушай, что дальше». — Ставит на пол фужеростакан, потянулась через меня бросить в пепельницу огрызок, я поймал ее рукой за плечо, попытался обнять (чтобы спасти равновесие), но она легко увернулась, стремительно выпрямившись, — ей закончить хотелось историю.

«И вот приходит. За долгом. Долгат, казначей и еще трое амбалов. То, что Долгат и казначей, я потом узнала. Помню, меня поразило ужасно, что Долгат был с тростью и в тройке, а казначей в задрипанном джемпере с нарукавниками, какие-то такие киношные оба... Ленька, конечно, струсил, оправдываться стал. Казначей с амбалами его на кухню увели, «поговорить». Я стою у окна...»

«Ты красивая, Ю.»

«Я стою у окна, — повторила Юлия, Ю. — Долгат в кресле сидит, на меня смотрит, как ты... внимательно... и спрашивает: «Вы жена Леонида?» Я говорю: «Да». Он: «Я вам сочувствую». Ну что ж, пусть сочувствует. Молчим. Он: «Меня зовут Долгат. (Вот когда.) Ваш муж нас не представил. А как ваше имя?» Говорю: «Юлия». Он: «Вы не бойтесь, Юлия, мы люди интеллигентные». Тут возвращаются все пятеро — казначей, три амбала и мой, вроде живой, но очень расстроенный. Казначей говорит: «Для начала опишем все, что есть», — и смотрит на мебель. А на подоконнике лежала колода карт Ленькина. «Так вы, значит, игрок, милейший? — говорит Долгат, поднимаясь. Подходит к окну, берет колоду и неторопливо тасует. — Предлагаю игру. Вы тащите карту. Если красная масть, я беру на себя весь ваш долг и еще плачу вам от себя половину. Если черная — Юлия будет моей». — «Это как так?» — спрашиваю, а больше и сказать ничего не могу. Обалдела. Казначей: «Опомнитесь, Долгат Фомич, вы с ума сошли, не делайте этого!» И тут Ленечка мой: «Я согласен, — говорит, — играем!» — А мне: «Будь спокойна, я выиграю!» Ну, я вышла из комнаты. Через несколько секунд он следом, белый как молоко: «Прости, я проиграл все. Включая тебя!»»

Юлия замолчала. Драматизм последних слов произвел на меня неожиданно сильное впечатление, даже слишком сильное. Драматизм долгатизма. Я не выдержал и засмеялся. «Ты не веришь?» — спросила Юлия удивленно.

Тело мое лишь вздрагивало в ответ. Сначала я смеялся в подушку, отвернувшись от Юлии, но потом сел рядом с ней, хотел обнять — куда там! — спазмы не позволяли!.. Меня всего скрючило. «Но почему?» — удивлялась Юлия.

Я чуть не рыдал. Давно меня смех так не мучил. Она тоже стала смеяться. Ей стало весело — оттого что я не поверил ей. Это, наверное, действительно

очень смешно: я ей не верю. Мы смеялись, то отворачиваясь друг от друга, то сталкиваясь лбами.

Наконец обнялись, насколько это могут смеющиеся. «Почему?.. почему?..» — все еще не унималась Юлия. «Извини... но я... хорошо знаю... Долмата...» — «Ты?»

Я. Я ласкал ее ухо. Я. Я знаю Долмата. Пробовал зубами мягкую теплую мочку, отнюдь не смешную.

«Ты не знаешь Долмата совсем... Он умеет быть разным». — Серебряная сержка выскользнула из моих губ, мы соприкоснулись носами.

«А ты бы хотела... чтобы я взял и поверил... что ты взяла вот так... и позволила... вот так... себя проиграть... или выиграть?» — «Что же в этом особенного?.. Почти все женщины, которых проигрывали мужья, с легким сердцем шли к победителям...»

Словно мурлыкала — приводила бесспорно достоверные исторические примеры — сбивчиво и торопясь, но все же упорно упорствуя в своем желании высказаться: героинь помянуть поименно вопреки вкрадчиво-наступательным действиям с моей стороны.

В этот раз мы были чересчур болтливы. Вместе и уронились.

«Бюст из бронзы,— спросил я зачем-то,— он чей?.. для кого?» Прошептала: «Терентьева бюст».

Мы прилипли друг к другу, сплелись и больше не занимались бессмысленными разговорами.

Под утро мне приснился сон... Скалистый остров...

Надо открыть. И так, это случилось утром; то, что случается утром, менее всего походит на сон. Надо открыть, Юлия. Звонок. Не открывай. Нет, надо открыть, Юлия. Зачем? Ну как зачем? разве не надо? А ты думаешь, надо? А разве не надо? А ты думаешь, да? Да, Ю. Она спряталась у меня на антресолях. Меня нет. Я отворил дверь, и действительно — он.

Нет, просто если звонят, надо открыть. Вот и вся философия.

«Наконец-то,— промолвил Долмат Фомич, войдя и сняв шляпу.— Слава Богу, нашел.— Он повесил шляпу на ручку двери (перед отъездом Екатерина Львовна продала вешалку).— Я уже испугался за вас».

Я молчал. Не надо за меня пугаться. «Где же вы пропадаете? Почему не посещаете наши обеды? Зачем вас нет вместе с нами?» Молчу. «Плохо, голубчик,— стыдил Долмат Фомич,— мы к вам с открытым сердцем, а вы?.. Вы нас игнорируете... Ведь это так называется... игнорируете!.. После всего, что между нами произошло... («А что, собственно, между нами произошло?») ...так поступаете с нами?.. Ай-яй-яй. Вы же член Общества, Олег Николаевич!»

Мы стояли в прихожей. Он ждал, что я скажу. Ничего не скажу. «Ну ладно, ладно, не обращайтесь внимания... Это я вас, как старший товарищ... Должен ли я как старший товарищ? — засмеялся: мол, должен. И добавил серьезно: — Я ведь вижу ваш рост».

И, подумав, сказал: «Мы ведь все, Олег Николаевич, видим... Какой вы духовной жизнью живете... — Обвел взглядом прихожую. Но почему в этой квартире?»

Станный вопрос. По идее мне следовало извиниться за то, что у нас не убрано. «Нет, я не затем пришел, чтоб вас упрекать. Я к вам по делу, как вы сами, наверное, догадались. Видите ли, временно отсутствует курьер, помните нашего курьера?.. Так вот я за нее. Лично вам — из рук в руки. Никому не доверил. Сам. Сам принес». — Он достал конверт.

«Что это?» — произнеслось мною. «Приглашение. На заседание. И не говорите, что не сможете прийти!.. Мы ждем вас». Я промылчал: «Мммм». — «Никаких «мммм». Придете, вы обязательно придете. Вы нам нужны. А мы нужны вам. Вы многое поняли и поймете еще больше. Как вы все-таки похудели!.. Совсем себя не бережете!.. Вы опять ничего не едите!»

«Ем», — сказал я машинально.

Он положил руку мне на плечо, дружески сжал, я отстранился, я спросил неприветливо, почти зло: «Наверное, кофе хотите?» У нас не было кофе, был чай. Он не хотел. «Нет, не буду вас отвлекать.— Однако прошел в комнату.— А хозяйка-то где? — И, не дожидаясь ответа, Долмат Фомич выдохнул: — Ах, да! Извините».

Что «да»? Что «извините»? Мы оба смотрели на лестницу, на антресоли.

Ну? Чихни, кашляни, шевельнись, урони пепельницу, она лежит на матрасе. «У вас мыши?» — «Нет, это я, Юлия.— И вышла бы, спустилась бы вниз.— «Прости, Долмат, ты сам все видишь. Вот так». И он бы увидел. Вот так. А я бы сказал: «Долмат Фомич, хватит ломать комедию, мы не хотим вас обманывать». И: «Это любовь?» — спросил бы он. «Это жизнь», — я бы ответил.

«Послушайте, жить в этой квартире вам никак нельзя. Вы достойны других жилищных условий.— Долмат Фомич брезгливо оглядывал стены, пол, потолок.— Надеюсь, вы порадуете нас новыми кулинарными изысканиями. Общество ждет от вас изысканий. Мы вас любим и бережем. Будьте уверены, мы поместим ваш опыт в очередной номер газеты».

«А что, — не выдержал я опять, — хоть один номер газеты вышел уже?» — «Нет. Пока еще нет. Но ведь главное — не газета, а идея газеты. Мы все вместе работаем на идею. А вот это аванс».

Он достал еще один конверт, положил на стол, жестом остановил во мне безотчетный порыв осуществить высказывание и снова стал сокрушаться: «Почему я раньше к вам не приходил? О чем я думал? Нет, нет, это никуда не годится. Значит так, милейший, вот ключи от квартиры. У нас неплохая квартира пустует, закреплена за нашим Обществом. Будете там жить и работать. Я сейчас вам адресок напишу... Сразу бы так... Вторая линия, Васильевский остров...»

Я ощутил себя телеграфным столбом. Что это у меня в кулаке? Ключи. А вот и листок из блокнота. «Извините. Позвольте.— Он забрал, положил в третий конверт и вернул мне в конверте.— Мы должны помогать друг другу. До свидания». — Ушел.

«Васильевский остров, Вторая линия, д. 11» и даже номер телефона... За чем-то я стал складывать цифры.

Вышла Юлия или вошла. «Эту я знаю, хорошая, с обстановкой. Весной был ремонт.— Она зевнула, не выспалась.— Мы хотим, то есть они хотят оборудовать ее под офис, под редакцию... Ты дверь не закрыл.— Щелкнула замком, закрыла входную дверь за мужем.— По секрету, Олежка: эта газета никогда не выйдет».

Мысленно я спросил: почему?

«Странно, почему же я сама не вспомнила, у меня ведь тоже есть ключи. Теперь у нас оба комплекта... А там ведь можно жить! Вот здорово!»

Я внимательно глядел на нее. У нее были желтые зрачки. Зрачки, а в них что-то желтое. Это футболка моя желтая, она отражалась в зрачках. Я подумал в желтой футболке, что совсем не знаю ее. Совсем. Я спросил: «Ты кто?» Она ответила: «Юлия».

А теперь скажи, что это не сон. И что не было разговора того, еще на этой, Екатерины Львовны, квартире: о Долмате Фомиче я расспрашивал Юлию, она отвечала, я, пугаясь ответов, просил замолчать — и опять вопрошал.

«Как ты можешь такое сказать о себе?»

Потому что она не о нем, о себе говорила.

По ее-то словам выходило сейчас, что никого у нее почти что и не было. А конкретно: я примерно четвертый—шестой. «Врешь. (Не сходилась. Ничего не сходилась. Я же помню ее у художника Б.) По тебе десятками сохли. У тебя любовников было... Ты...» — «Вот и не так».

Как же не так? Если так.

«Он хороший, он добрый, он благородный...» — Позлить захотела меня?.. Потому у Долмата она Фомича, что лишь он, благородный, один взять такую ее согласился.

«Какую такую?» — «Ну, посмотри на меня, протри глаза, я же уродина». — «Ты???» — «Неужели ты не видишь ничего? Посмотри, какой нос у меня, какой подбородок, сплошная диспропорция, посмотри, как глаза расставлены!..»

Я видел. Что-то было *такое* и с носом ее, и с ее подбородком, и с расположением глаз, и с тем, что она называла сплошной диспропорцией, но ведь это же все-таки шарм, разве не так?! Неординарность. Изюминка.

«Меня словно карикатурист нарисовал, таких не бывает в природе!..» — «Слушай, Ю., а ты идиотка!» — «И к тому же хромаю. Не замечал?»

Не замечал. Я: «Скажи, что еще заикаешься!»

«Во всяком случае, у меня трясется голова, — сказала Юлия очень тихо. — С детства. Синдром навязчивых движений». И верно, голова у нее в самом деле тряслась, но чуть-чуть, совсем незаметно. Если это и синдром, то не ярко выраженный, почти изжитый. Может, в детстве сильнее тряслась. А сейчас она как будто мысленно соглашалась, когда ей что-нибудь говорили, или, напротив, как будто не соглашалась, потому что как будто не слушала, а думала о своем, или как напевала про себя какую-то нехитрую мелодию. И то — когда приглядывался. Я приглядывался. Она не обманывала. Ну и что? Разве у меня самого не трясется?

«Нет. У тебя — нет. А вот руки трясутся. Когда наливаешь».

И с хромотой то же самое — едва заметно. «Зачем ты мне все это сказала, Ю., зачем?» — «Чтобы ты не думал, что я Долмату не пара. Не такой он и старый, ему сорок два. Он просто выглядит старше». — «Я бы дал ему пятьдесят». — «А мне?»

Двадцать четыре.

«Двадцать пять», — сказал я, надбавив.

«Тридцать семь, дорогой». — «Не шути». — «Возраст женщины выдают шея и руки. Посмотри...» — И она показала мне то, что выдавало ее тридцать семь.

Тридцать семь — с половиной!

«Ты ослеплен. (Резюме.) Ну да ладно. Давай поедим».

Ей есть захотелось. Она послала за хлебом меня. Я пошел. Я пошел. Я пошел.

Удрученный, смущенный и ошарашенный, я спустился вниз на известное, но не мне, число этажей, потому что, четное или нечетное, в голове моей оно так до сих пор и не зафиксировалось. И вышел во двор. И оказался на улице, на Садовой. И задышал я ее сырым знакомым воздухом.

А на стене газета висела, и узнал я, что многое произошло, пока был я там, наверху: президент России попросил дополнительных полномочий, Украина решила уничтожить ракеты, а на территории кооператива «Улей» в Зеленогорске неизвестный маньяк зверски убил 130 кроликов, цена каждому кролику 100 рублей. И приглядевшись, обнаружил я, что газета эта несвежая и всяма, а стало быть, и события тоже всяма, и не было свежести в них, новизны, и какая мне разница, если все так, было так или не так и когда, раз не помню я точно, какое сегодня число, и если серьезно не интересуюсь ходом новейшей истории?

А еще я увидел, что живет Сенная, как и жила, пошевеливаясь, поколыхиваясь. И народ в отсутствие трамвая брел толпой по трамвайным путям, обтекая бетонный забор. И проходил я сквозь вязкую барахолку, и принадлежал я медленному людскому потоку, и предлагали мне купить то пистолет Макарова, то сковородку, то валенки, а я целенаправленно шел за хлебом.

А в булочной я узнал, что выпущена купюра 200 рублей и 200 рублей похожи на фантик. А беззубый старик у входа в метро, пьяный-пьяный, кричал: «Продаю женщину за три рубляаа!.. Продаю женщину за три рубляаа!..» — и держал ее за руку, подругу свою, чтоб не упасть, тоже пьяную-пьяную и без зубов, и никто не хотел покупать.

И подумал я о Юлии, поднимаясь по лестнице, что Юлия — это мое сновидение. И что нет ее в самом деле в природе. И понял я, что никто не откроет мне дверь, если я позвоню. И я не звонил, а достал ключи и был печален.

Но открылась дверь без меня и без всяких «кто там?», и стояла Юлия в моей на две пуговицы застегнутой рубашке, молодая, красивая — с подбородком своим, глазами и носом.

Профессор Скворлыгин: «Какой же вы все-таки молодец! Порадовали, порадовали нас, голубчик. Ваш рецепт очарователен! Надо же, миноги!.. запеченные в слоеном тесте!.. Безукоризненный вкус!»

«А литературный пример? — воскликнул Долмат Фомич. — «Граф Монте-Кристо»!.. А?! Вот эрудиция!»

«Мастер литературной подачи, — согласился профессор. — Признанный мастер».

«Положа руку на сердце, я очень боялся, что вы придете к нам с рецептом, как бы это выразиться поделикатнее... мясного блюда».

Зоя Константиновна: «Фу, фу, мясо!..» (Ее передернуло.)

Долмат Фомич: «Нет, это рыбное! Он принес рыбное!»

Кулинар Мукомолов: «Рыба — не мясо. И даже не птица!»

Профессор Скворлыгин: «К тому же миноги — не совсем рыба. Громче скажу: совсем не рыба! Всего лишь рыбообразные. Примитивные позвоночные, представители древнейшего класса...»

Кулинар Абашидзе: «У них есть кости?» — «Нет. Только хрящ. Я бы мог прочитать целую лекцию о миногах». — «Тем более я потрясен! — не переставал восхищаться Долмат Фомич. — Что же это такое, объясните мне? Врожденный такт? Интуиция? Я ведь ему не подсказывал, он сам!»

Кулинар Александр Михайлович Резник: «Если бы Олег Николаевич представил рецепт строго вегетарианского блюда, я имею в виду, по высшей категории строгости — сыроемятное что-нибудь или хотя бы с допуском яиц и молока, я бы, знаете, насторожился. Но тут соблюдена непосредственность перехода, этакий жест преемственности!.. По-моему, очень изящно. Господа! — И еще громче: — Господа! Внимание! Я поздравляю Долмата Фомича от лица всего нашего Общества, вы мне предоставляете такое право, не так ли?»

Голоса: «Конечно, конечно!.. С превеликим удовольствием!..»

А. М. Резник: «Долмат Фомич! Поздравляем вас! Вы настоящий наставник!..»

Зоя Константиновна: «Спасибо, Долмат».

Долмат Фомич: «Ну что вы, друзья... я тронут... только я ни при чем... Его поздравляйте».

Со мной был особый разговор — меня обнимали. «Итак, дорогой Олег Николаевич, вы уже сами почувствовали, кто мы и с кем вы на самом деле. На самом деле вы — с нами!» Сказав это, профессор Скворлыгин обнял меня с удвоенной силой и страстно поцеловал в губы. Профессор Скворлыгин пах морковкой и огурцом. Ему надлежало сказать главное.

«Сердце вам подсказало единственно правильный путь. Вы приблизились к раскрытию тайны. Так знайте, мы не просто Общество Кулинаров, мы Общество Вегетарианцев!»

Наверное, это покажется странным, но янисколько не удивился. Я уже ничему не удивлялся.

Торжественное молчание длилось недолго. «Мы готовы ответить на все вопросы вновь посвященного». Были ли у меня вопросы?

«Вы говорите «вегетарианцы»... Пускай... Но как же тогда... помните?..»

Молчание. Все глядят на меня. «И потом тогда, в Союзе писателей?..»

Отвечал профессор Скворлыгин: «Это вынужденно. Чтобы не выделяться из общей среды. Из общей среды кулинаров. А шире — из общей среды библиофилов. Наконец, всех смертных, из их общей среды. Я ответил на ваш вопрос?»

«Мы едим мясо, не изменяя нашим вегетарианским убеждениям, — добавила Зоя Константиновна. — Едим без всякого удовольствия, с отвращением». «Что же вас заставляет скрывать свои убеждения?» — спросил я. «Устав и Традиция», — был мне ответ.

«Видите,— Долмат Фомич показал на присутствующих,— круг избранных все уже и уже».

Мукомолов загибал пальцы: «Пифагор, Сенека, Сократ, Шелли, Томсон, Мильтон, Шопенгауэр, Ричард Вагнер в последние годы жизни... они все были вегетарианцами».

«Мы никого не едим»,— сказал А. М. Резник.

Профессор Скворлыгин: «А где вы были 7 ноября, 25 октября по старому стилю?»

Я не совсем понял вопрос. Какого года где был? Этого года? А где? Нигде. Шатался по городу. Потом с Юлией — дома. Ни один мускул на моем лице не выдал волнения.

«Мы вас искали, хотели, чтоб вы пришли, у нас был праздничный ужин». И что же они отмечали?

«25 октября 1901 года, это по старому, а по новому стилю 7 ноября, Вегетарианское общество обрело свой устав — первое в Петербурге. Этот день мы традиционно отмечаем скромной, но праздничной трапезой».

«Ах, Олег Николаевич,— сказал Долмат Фомич,— не я ли вам говорил, если б вы чаще посещали наши обеды, мы бы с вами еще дальше продвинулись!»

Кто-то из вегетарианцев предложил исполнить гимн. Зоя Константиновна села за фортепьяно. Мне дали текст, я единственный, кто не знал слов.

Музыка А. К. Чертковой. Слова И. И. Горбунова-Посадова. Для пения с аккомпанементом.

Пели:

Счастлив тот, кто любит все живое,
Жизни всей трепещущий поток,
Для кого в природе все родное!
Человек, и птица, и цветок.

Счастлив тот, кто для червя и розы
Равную для всех хранит любовь,
Кто ничем не вызвал в мире слезы
И ничью не пролил в мире кровь.

Счастлив тот, кто с юных дней прекрасных
На защите слабого стоял
И гонимых, жалких и безгласных
Всей душой и грудью защищал.

Полон мир страданиями людскими,
Полон мир страданиями зверей.
Счастлив тот, чье сердце перед ними
Билось лишь любовью горячей.

У меня нет слуха, нет голоса. Я лишь открывал рот, изображая пение. Остальные пели воодушевленно.

Потом меня чем-то кормили. Так я стал вегетарианцем.

Глава 9. Страница номер шесть

Мне приснился Долмат. Мы плыли на корабле, он был капитаном. Юлия на верхней палубе качалась в гамаке. Она была в черных очках. Она сказала мне: «Иди».

И я вошел в каюту к Долмату. Я решительно хотел объясниться. «Долмат, надо поставить точку над *i*,— сказал я.— Я не хочу больше обманывать вас. Я виноват перед вами, но...» «Никаких «но»,— прервал меня Долмат, он вращал хрустальный дынеобразный глобус, похожий на мяч для регби,— вы ни в чем не виноваты, мой друг. Напротив, Олег, это я виноват перед вами. Я».

Я смотрел на хрустальный глобус, и глобус хрустальный, не похожий на земной шар, не будучи шаром, сбивал меня с мысли. «Помните,— продолжил Долмат, снимая резиновую полупрозрачную перчатку, и по мере того, как он медленно оттягивал палец за пальцем, сон по неизъяснимой неземной логике превращался в кошмар,— помните, вы дали мне книгу с печатью массажного ка-

бинета? Так знайте, я возвратил ее вам с фальшивым титульным листом. Я подменил, это копия, вы не заметили, ксерокс. А настоящий титул (чувствую: крик подступает к горлу)... а настоящий титул мною похищен!»

Я открыл глаза. Я не кричал лишь потому, что не хватало воздуха. Ужас, охвативший меня, не находил объяснения. (Однажды я увидел во сне обыкновенного кролика, он выскочил из комнаты отца и помчался на лестницу, кролик и все — и это был сущий кошмар.)

Я встал, включил свет. Я нашел злополучную книгу. «Я никого не ем». Я — никого. Я открыл. Титульный лист был поддельный. Была ксерокопия.

В эту ночь больше спать не ложился. Юлия.

А пока она сама еще не проснулась и пока никаких экстравагантных идей ни в ее, спящую, ни в мою, бодрствующую, не пришло головы, я сидел на просторной евростандартной кухне и, томимый бессонницей, листал «Кулинарию».

Слово «евростандарт» лишь входило в обиход. Навесные потолки, изразцовый камин с мраморной продольной плитой, суперзеркало большим оригинальным осколком... Круглый стол в комнате *для гостей* был на редкость стеклянным и напоминал оптический прибор изрядных размеров, такая внутренность телескопа. Больше всего меня забавляли кресла на колесиках: не вставая, можно было перемещаться из комнаты в комнату.

Но сюда, в просторную кухню с эффектом природных материалов, я пришел пешком, чтобы не разбудить Юлию. Сидел и листал. Обложка сталинской «Кулинарии» под светло-коричневый дуб удачно отвечала поверхности евростандартной, с деревянной окантовкой столешницы.

Изучал терентьевские пометы.

Вот он картофельным крокетам, запеченным с салатом, поставил на полях три с плюсом (3+).

В заметке «Борщ на овощном отваре» подчеркнул число калорий — 204.

Или вот: «*Несмотря на в., ем сало*». «Что такое в.? вес?.. вера?.. Не вегетарианство же, наверное? (или как раз вегетарианство? Тогда забавно.)

Внимание! Пудинг рисовый (паровой). На полях запись: «*Можно соус из черн. смородины. Вкусно и сытно. Подоплек одобрил*». О чем это?.. Меня как водой окатило. Сладкий фруктовый соус заменить соусом из черной смородины разрешил не кто иной, как доктор Подоплек, невропатолог!.. Подоплек был знаком с Терентьевым? Это новость.

«*Овощная неделя. Кожа чиста. Подоплек: +*». Как я понимаю, Подоплек остался доволен?.. Подоплек, как я понимаю, пользовал Терентьева?.. Ну а как же, конечно: «*Подоплек рекомендует*». «*Рекомендовано Подоплеком*».

А вот прямо-таки дневниковая запись: «*25.07. Взвесился: +1,5 кг. Поздравления наших*». С чем поздравления? С тем, что поправился на полтора килограмма?

Чем дальше я листал «Кулинарию», тем таинственнее представлялась мне фигура Всеволода Ивановича Терентьева.

Особенно меня привлекла страница 6. Можно сказать, начало книги.

На обратной стороне листа (с. 5) помещалось воззвание «От издательства» с призывом посылать отзывы в Госторгиздат. Собственно, первый раздел «Кулинарии», озаглавленный «Основы рационального питания», начинался лишь на 7-й странице. Страница же 6-я — между «От издательства» и «Основами» — оставалась девственно-чистой.

Однако не совсем девственно. Тем она меня и заинтересовала, что кто-то когда-то покусился на ее чистоту. Я не сомневался кто: Всеволод Иванович Терентьев, это его почерк (насколько можно судить по следам карандаша, тщательно обработанным ластиком). Лупы у меня не было, и я в помощь глазам приволок из спальни настольную лампу, кажется, разбудив Юлию.

Осветив книгу до рези в глазах, я всматривался в следы стертого текста. Судя по фактуре повреждений бумаги, страница была исписана вся — сверху донизу. Сначала я подумал, что это рецепт чего-нибудь вегетарианского — или не-

сколько даже рецептов, потому что текст явно делился на главки, — но, разобрав слова «человеколюбие» и «интеллигентность», понял, что ошибаюсь.

Нет, не рецепт. Не рецепты.

Худо-бедно, заголовки частей поддавались прочтению. Первые два: *ЯСНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ, АНАТОМИЯ ПРЕДРАССУДКА*. С третьим пришлось повозиться: *НАШЕ КРЕДО*. «Кредо», что характерно, а вовсе не «блюдо», как мне показалось вначале!

Прочитались и два последних: *МЫ ЖДЕМ ПОНИМАНИЯ* и *ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ*.

Статья, вероятно. Чья-то. Терентьев переписал зачем-то. Но почему же в «Кулинарию»? Основательно уничтоженный текст прочтению не подлежал. Правда, ближе к концу рука стиравшего, должно быть, устала, здесь кое-что угадывалось. Букву за буквой я все-таки восстановил четыре строки.

Выписывал: «...Но мы ценим жертвенность как одержимость... Мы ценим жертвенность как страсть... как высшее проявление преданности идее...»

Далее, как я ни бился над этим загадочным текстом, смог восстановить лишь последние три слова: «...вдохни полной грудью!» — И все.

Чтобы стереть все это, нужно потратить не две минуты — занятие трудоемкое. Я представил Всеволода Ивановича за работой: как он педантично орудует ластиком, время от времени смахивая мизинцем мелкие катышки на газету (а то и не мизинцем, а специальной кисточкой — почему бы и нет?). Уж если уничтожать, я бы эту страницу вырвал к ядреной фене, все равно не функциональная. Никто бы и не заметил. Ну кого интересует какое-то «От издательства» на обороте листа?.. Он же, Терентьев, поступил не так, и то, как поступил он, свидетельствовало об уважительном отношении к книге.

Вошла Юлия, и я поймал себя на том, что рассуждаю в духе своих коллег-библиофилов из Общества вегетарианцев. В самом деле: справедливо ли такую пространную запись относить к жанру маргиналий? По-моему, нет. Наверное, мысль моя так бы и развивалась в схоластическом направлении, но Юлия появилась на кухне, и была она завернута в простыню, потому что имела обыкновенные спать без всего, а не жарко.

Я спросил ее: «Ты знала Терентьева?» — «Видела пару раз». — «Подожди. Ты же мне говорила, что вы познакомились, когда он умер... вернее, не познакомились, а...» «Бэ! — передразнила Юлия. — Ты сам-то слышишь себя? Как я могла с ним познакомиться? Я видела его на фотографиях. Зачем тебе Терентьев?» — «Интересно, отчего он умер?» — «Несчастный случай». — «Вот как? И что же с ним случилось?» — «Понятия не имею. Никогда не интересовалась Терентьевым».

Взяла хурму. Хрум-хрум. (На столе на тарелке хурма лежала.) «А почему ты не спишь?» — спросил я Юлию, представляя, как вяжет ей рот. «А ты?» — «Да вот, изучаю».

Посмотрела на терентьевскую шестую страницу и, не проявив к ней ни малейшего интереса, сказала: «Знаешь, я подумала, что будет правильно, если я вернусь. — И добавила: — Ненадолго». — «На Мальту?» — «Наоборот, с Мальты. К Долмату». — «Чего это вдруг? Он тебя даже не разыскивает. Он, по-моему, просто забыл про тебя».

Я сам поразился простоте мысли, так внезапно меня осенившей. Взял и забыл — отчего б не забыть? Во всяком случае, это многое бы объяснило. И примирило бы меня с действительностью. Хоть как-нибудь. «Как же меня можно забыть? — Юлия была уязвлена. — Тем более что я его, — тут она сочла нужным напомнить, — жена все-таки».

«Хорошо. Ты хочешь во всем сознаться? Хочешь сказать ему всю правду?» — «А ты считаешь, не надо?» — «Нет, Юлия, надо, давно пора, только давай вместе». — «Ты не понимаешь. Я должна сама. С глазу на глаз. Мы ведь все-таки муж и жена», — опять заметила Юлия. «Да, я помню. (Еще бы.) Но, по-моему, это мужской разговор. По-моему, я сам должен объясниться первым».

Благородство, когда порывами, его можно ощутить физически даже: этак в груди набегаёт волной.

«Все! — отрезала Юлия. — Не спорь. Я знаю, как надо. — Однако спросила: — А ты готов?» «Готов», — ответил я, не задумываясь к чему именно. «В твоей жизни будут большие перемены, учти», — предупредила Юлия. — «И в твоей, дорогая», — сказал я учтиво (т. е. учтя). «Сейчас речь о тебе». — «Как же я без тебя? Тебе ведь труднее». — «Не думаю», — сказала Юлия. — Мне очень легко. Но надо все делать по-человечески». — «Правильно», — сказал я. — Не волнуйся, все будет хорошо. Ну придумаем что-нибудь с комнатой, снимем где-нибудь...» — «Да при чем тут комната? Чем тебе не нравится эта квартира? Нас ведь никто не выгоняет». — «Нет, подожди, так нельзя, я и сам не хочу...» — «Почему?» — удивилась Юлия. «Просто невозможно пользоваться определенными благами после всего, что случилось...» — «Ну конечно! Из Общества тоже уйдешь?» — «Естественно». — «Почему, почему ты все время общественное путаешь с личным?» — «Стой, ты меня сбиваешь своей логикой...» — «А ты ответь, ответь!» — «Но я не имею к Обществу отношения!» — «Почему?» — «Я не вегетарианец!» — «А кто ты?»

Кто я? Что за вопрос? Если я не вегетарианец, то как будет наоборот?.. Хищник?

Она бы поставила меня в тупик своим *кто ты*, если бы губы у нее не пахли хурмой и во рту б не вязало и если бы (не буду описывать мизансцену) — ответ явился сам собой, но вслух все-таки я не произнес (из скромности): «Плотоядный».

Правда, подумал.

И был, подумав, не прав.

Я никого не ем. Не ел и не буду, не буду.

...В эту ночь выпал снег, мокрый, противный, маловразумительный. К утру (а половина шестого — это уже утро почти) все растаяло. Удержать Юлию я не мог; ей хотелось побыстрее объясниться с Долматом. Зачем такая спешка, спрашиваю? А просто так. Просто хотелось. Сегодня. Сейчас.

Мы вышли на Большой проспект, было довольно темно, светильники на проводах горели один через два (экономия света), и, насколько взгляд различал перспективу, машин не было ни одной. Еще минут двадцать мы посвятили, собственно, их же убийству (минут), медленному, жестокому и ужасно бессмысленному, потому что ведь жизнь, она коротка — это во-первых, а во-вторых, в ждущем режиме на холодке всего-то и можно разве что приплясывать то на одной ноге, то на другой, то на двух сразу. У Юлии покраснел кончик носа. Я сказал: «Сама виновата». «Нормалек», — ответила Юлия, стуча зубами; она волновалась, я видел. Я поймал, наконец, какое-то заблудшее такси, не будучи уверенным, что поступаю правильно. Я уже было пристроился рядом с ней на заднем сиденье: вдруг передумает, — но нет, она оставалась верна своему решению: иди я домой, и жди я звонка. Вероятно, до десяти они смогут наговориться, — ну не жизнь ведь им свою вспоминать? — она позвонит сразу как только, и я в зависимости от обстоятельств... а что «в зависимости от обстоятельств»? Что-нибудь. Как-нибудь поступлю. Приеду дообъясняться?.. Приеду и дообъяснюсь.

Возвращаясь домой, репетировал речь. В прихожей пол подметал, что на меня не похоже; стол раздвинул, из круглого сделал овальным; рисовал человечков на полях старой газеты (с 20 ноября снижены поставки муки хлебозаводам); катался в кресле на колесиках по блестящему полу; приготовил яичницу из одного яйца; ел за кроссвордом; приготовил еще, ел еще и решал еще (*как жить? и роман Достоевского из пяти букв?*); исследовал заменитель оконного шпингалета, отвечающий евростандарту; на диване лежал, на спине; вспоминал название шрифта; «сын отца профессора бьет отца сына профессора, сам профес-

сор в драке не участвует, кто кого бьет?» — никто никого — нет, кто-то кого-то; кубатуру комнаты и площадь окон прикидывал; искал от данной квартиры ключи (сам положил на подоконник).

Юлия так и не позвонила, ни в десять, ни в двенадцать, ни в два, ни в четыре. Я ждал, не находил себе места. Проверял, правильно ли положена трубка. Едва не спятил.

Почему ты не звонишь? Ну почему? Ждать ненавижу. Или что-то случилось?

И опять. Мне опять стала мерещиться музыка. Прихотливое та-та барабана, нет, не болеро, конечно, во всяком случае, не Равеля — мое: та-та барабана, и тоже спиралеподобное, очень красивое, этаким просто изыск, но никогда не смогу даже пальцем отбить... Я умыл лицо, и мелодия мгновенно забылась.

От нечего делать я перечитывал терентьевские записи.

«Шестой день бескислотной диеты. Готов». К чему он готов? Знал он, что ли?

Если профессор женщина, тогда все получается: ее брат родной бьет мужа родного. Смешная загадка. И вдруг я постиг тайну Терентьева: знал!

Словно голос мне был. Вдруг — догадался. Знал! (Мурашки по коже.) Догадки такого рода у одних сумасшедших бывают, сам понимаю. Но ведь сходится все... Одно к одному... Так вот вы какие!..

«*Просят не курить. Ем фрукты*». Отвел взгляд от книги. Некоторое время смотрел в окно бессмысленно. Тут и заметил ключи, лежавшие на подоконнике, — нашлись.

Схватил, помчался.

«Где Юлия?»

Луночаров взмахнул расческой. «Принес что-нибудь вегетарианское? (На ты.) Но где же текст?»

«Никакие вы не вегетарианцы!..» — закричал я. «А кто?» — спросил Долмат холодно, отвернувшись от зеркала. «Я скажу кто!.. я скажу кто!..» — И все-таки у меня язык не поворачивался произнести это слово.

«Ну? Ну давай же, давай говори... Мне надо уходить. Я слушаю». «Юлия! — закричал я на всю квартиру. — Я здесь, Юлия!»

«Нет Юлии, не кричи!» — Я не поверил: «Юлия!» — «Поглядите-ка, что он делает, — произнес Долмат удивленно, обращаясь к невидимой аудитории, и, закономерно не получив ответа, вновь обратился ко мне: — Не считаешь ли ты Олег, что моя единственная супруга в опасности?»

«Да, считаю!» — «Ей кто-то угрожает?» — «Да, угрожает!» — «И кто же ей угрожает, позвольте спросить?» — «Вы!» — «Мы? Что мы можем сделать с нашей женой неудопримлемое?»

Меня бесил его саркастический тон. Я закричал: «Схамать!»

«Как?» «Схамать! — закричал я еще громче. — Схамать!» — «Фи!.. Какой вульгаризм!.. Разве мы похожи на Синюю Бороду?.. Если бы ты, Олег, регулярно посещал наши собрания, тебе бы не пришло в го...»

Но я его не дослушал, я распахнул дверь в спальню — там не было никого. Я ворвался в библиотеку — около окна стоял Скворлыгин, перед ним холст на подрамнике. Скворлыгин, увидев меня, смутился. «Вот... живописую маленько... Хобби, понимаете ли... Так, балуюсь... Долмат Фомич попросил...» Он писал портрет, надо полагать, Зои Константиновны, вернее, пытался срисовать с фотографии, прикрепленной к подрамнику. Мне некогда было разглядывать. «Где Юлия?» — спросил я Скворлыгина.

«Олег-то наш разбуянился, — сказал вошедший вслед за мной Долмат. — Похож я на Синюю Бороду?» «Такой день сегодня... светлый... — пробормотал профессор, вытирая руки о фартук. — Двести лет...» — И запнулся.

«Или ты считаешь,— вопрошал Долмат укоризненно, сверля меня стальным взглядом,— мы тебя тоже “схамать” хотим? Скажи откровенно. Не стесняйся».

«Такой день сегодня... а вы ссоритесь...»

«В другой бы день и при других обстоятельствах,— важно изрекал Долмат Фомич,— на моем месте потребовали бы сатисфакции. Слушай, Олег! — Он указал пальцем на художественное подобие Зои Константиновны.— Перед лицом этой святой женщины я тебе клянусь, ты заблуждаешься!»

«Зачем вы подменили титульный лист в моей книге?»

Лицо его еще сохраняло пафосное выражение, но зрачки забегали. «Ладно. Поговорим еще. Мне пора. Я — в филармонию. Надеюсь, встретимся. Объясни ему,— обратился к Скворлыгину,— расставь акценты». — Он вышел.

«Какие ж тут акценты? — промолвил, вздыхая, Скворлыгин.— Вам просто надо выспаться... и все тут. Вот сюда... пожалуйста... на диванчик...»

На меня в самом деле напала сонливость какая-то; и ноги отяжелели. Я и не заметил, как очутился в горизонтальном положении.

«Спать, спать... так утомилась...»

Укладываясь, я сумел достать из кармана листок, сложенный вчетверо. «Объясните, может, вы знаете... — Я читал, с трудом разбирая свой почерк.— ...Мы ценим жертвенность как страсть... как высшее проявление преданности идее... как безотчетный порыв...»

«Как предельное выражение полноты бытия, понятой любящим сердцем,— подхватил по памяти Скворлыгин, дружелюбно похохатывая,— потому что только любовь — а не злоба, не ненависть,— только любовь вдохновляет чуткого антропофага, и только на любовь, на голос любви отвечает он возбуждением аппетита...» — Он подкладывал мне подушку под голову.— Один острячок сочинил... Из наших... Всего лишь памфлет... Не думайте... Спите, спите, бай-бай...»

«Он считает, мы Общество антропофагов». — «Но мы вегетарианцы. «Противоречие, для него неразрешимое». — «Большинство бежит антимоний. И он не исключение». — «Не кажется ли вам, господа, что мы в нем ошиблись? Прошу высказаться всех». — «Нет, мне не кажется». — «Нет». — «Да, мы допустили ошибку».

«Нет». — «Скорее да, чем нет».

«Да». — «Да». — «Нет».

«Долмат, ты сказал “нет”?» — «Да, я сказал “нет”».

«Если “нет” говорит Долмат, я не посмею сказать “да”. Нет. Разумеется, нет».

«Нет».

«То есть он отблагодарил тебя по достоинству. Да, Долмат?»

«Нет. Вопрос некорректен. Нет. Воспитательный роман, свободный от психологических мотивировок, и не надо переоценивать или недооценивать значение перипетий».

«“Схамать”!.. Он искренне убежден, что ты способен схамать собственную супругу. Как будто мы живем в Африке...»

«Что ж. При столь стремительном духовном росте неизбежны пароксизмы сомнения».

«И все-таки он многое угадывал верно. Его интуиция поразительна». — «Он опережал сроки. Это неоспоримо». — «Слишком стремителен был разбег». — «И вот результат: бунт, бессмысленный и беспощадный». — «Будем снисходительны. Во многом вы виноваты сами». — «Мы сами навязали ему этот бешеный темп». — «Но он вел с нами двойную игру».

«Была ли это игра?» — «Он не играл». — «Нет, не играл». — «Иная игра стоит жизни».

«Он убежден, что мы съели Всеволода Ивановича Терентьева».

«Не съели, а “схамали”».

«Представляю, какие мерзостные картины рисуются его воображению». — «Надеюсь, он не считает Всеволода Ивановича Терентьева примитивной жертвой нашей жестокости?» — «Боюсь, что считает». — «Значит, он ничего не понял». — «Он понял больше, чем от него требовалось». — «Но не все. Он боится быть съеденным».

«Фобия».

«Посмотрите, его лицо одухотворено».

«Быть съеденным — слишком простой путь к самореализации». — «Однако в нем есть изюминка». — «Не надо об этом, он может услышать».

«Я повторяю вопрос. Итак, еще раз: была ли ошибка?»

«Нет».

«Нет».

«Нет».

«Нет».

«Нет».

«Нет».

Я очнулся на диване, обтянутом шелком, в белой ротонде шереметевского дворца. Была ночь. На круглом столике стоял бронзовый подсвечник. Пламя дрожало. Я сел.

«Олег! — Профессор Скворлыгин отделился от кресла. — Наконец-то!..»

Я озирался, Скворлыгин сказал: «Не обращай внимания, уже поздно, мы не должны жечь электричество, иначе нас обнаружат, а это недопустимо, ночью дом принадлежит нам и только нам. Все уже здесь и ждут тебя».

«Вы о ком?» — комком выворотился вопрос негромко. «О нас. О нас и о наших, Олег. Только никаких “вы”. Этой ночью мы все на “ты”. Попей». — Он поднес к моим губам стакан с красным вином. Я сделал глоток и отвел его руку.

«Олег! Мне поручили сказать тебе несколько слов. Между тобой и Обществом не должно быть никаких недомолвок». Я молчал. «Ты проницателен. Ты видишь то, что дано увидеть не каждому. Ты решил, мы Общество антропофагов? Я не буду тебя разубеждать, Олег, хотя мог бы без труда опровергнуть твоё небесспорное открытие множеством неоспоримых доводов. Но я не сделаю этого. Напротив, я со всей ответственностью подтверждаю свое уважение к твоему правдоискательству, Олег, и говорю тебе прямо: ты недалек от истины, ты на правильном пути. Мы антропофаги. Но не в том значении слова, которым любят щеголять профаны. Послушай меня, Олег: есть антропофаги и антропофаги. Так вот, мы не те. Понимаешь, не те!.. Мы те, которые мы. Ты поймешь, у тебя светлый, критический ум. Мы антропофаги, связанные некоторой декларацией, о которой я не намерен сейчас распространяться, но ты должен знать, в какой степени мы антропофаги. Так вот, мы антропофаги более чем вегетарианцы, и еще более чем кулинары... Не удивляйся, Олег, и уж тем более — более чем библиофилы. Всеволод Иванович Терентьев мог бы стать таким же антропофагом, как и мы все, если бы жизненная стезя его и путь к самопознанию не пересеклись окончательно в предыдущем пункте: он навсегда останется для нас вегетарианцем».

Скворлыгин умолк, недвижим; казалось, он погрузился в воспоминания и забыл обо мне, я не шевелился, прошла минута, другая, где-то открыли дверь, сквозняк потянул пламя свечи, Скворлыгин заговорил снова: «Олег, мне не дано знать, как могла сложиться твоя судьба. Я не говорю о сочетаниях звезд и тому подобном, я говорю о другом: порой внешнее, казалось бы, незначительное событие, на первый взгляд совершенно пустое, определяет выбор пути человека, даже если выбирают за него другие. Ты спросишь, какое событие? Не спрашивай, не знаю. Но я постараюсь ответить тебе, почему ты наш. Хотя это не просто. Но я постараюсь. Олег, ты ценитель изящной словесности, у тебя вкус. Твой аппетит образцов. Ты не агрессивен. Жертвенность от природы присуща

тебе. Прости, я говорю сумбурно. Плохо, плохо, забудь!.. Забудь все, что я только что сказал. Я сказал неудачно... Но... Олег... Про тебя говорят: в нем есть изюминка. И это так. Мне трудно объяснить, Олег... Изюминка... Музыка. Она живет в тебе... ты слышишь ее и не можешь воспроизвести... Как это? Слышать божественную музыку и не уметь выразить ее ни движением руки, ни свистом, ни пением, ни отстукиванием по столу указательным пальцем, как это, не иметь слуха, Олег? Ты ведь сейчас ее слышишь, ответь, ты слышишь ее?!»

«Нет», — ответил я и соврал, потому что где-то на краю сознания робко и неуверенно заиграл гобой. «Нет? — недоверчиво повторил Скворлыгин. — А по-моему, да».

«Где Юлия?» — спросил я. «Жива-здорова. Просто она должна отгулять свой отпуск по-человечески. Долмат отправил ее на Средиземное море, почти насильно, и я думаю, он прав». «Зачем?» — спросил я, не уловив логики.

«Вот твои ботинки, надень (действительно, я был без ботинок). — Понимаешь, Олег, я не хочу вмешиваться в ваши отношения с Юлией, ты просто должен знать, что здесь нет ни малейшего повода для волнений. А вот что касается Зои Константиновны... Боюсь, Зою Константиновну ты уже не увидишь...» — «???»

«Нет, нет, я знаю, о чем ты подумал... Но я ничего не сказал... Ты с нами, ты наш, да, но ведь это не значит, совсем не значит, что мы будем... тебя... принуждать... к...» — Он причмокнул.

Надевал не без труда, пальцы мои не слушались. Левый, правый...

«Олег, сознаюсь, ты спутал нам все карты... И хорошо. Пускай!.. Я сказал тебе, что ты недалеко от истины... Именно: недалеко!.. Потому что это еще не истина, друг мой, а лишь приближение... Как бы тебе объяснить... Сейчас объясню... Слышал ли ты когда-нибудь об ангидрите?.. Это безводный гипс. Я хоть и специалист по костям, но что-то смыслю в таких вещах... Идем, идем. Пора».

Он помог мне встать, взял свечу и повел меня по Дому петербургских писателей. Наш путь был замысловат. Вместо того чтобы спуститься по парадной лестнице, мы вошли в Белый зал, я еще никогда не бывал здесь ночью. Ночью Белый зал не Белый, а Черный. Черный рояль чернеет на черной сцене. Кресла: мягкая чернота подлокотников.

Скворлыгин шел впереди, свечу он держал перед собой, я смотрел ему в спину, извилистый контур скворлыгинской фигуры обозначался тусклым свечением.

Вспомнилась детская страшилка.

На секунду я поверил, что в креслах люди сидят. В Черном зале — черные люди.

Или белые люди. В Черном зале. Черно-белые люди.

Должно быть, флейта. Издалека.

Цеховые разборки, партийные проработки, литературные вечера с декламацией...

Не было никого и быть не могло.

Флейта, флейта, жалобная, задыхающаяся мелодия. Я хотел крикнуть Скворлыгину: «Слышу!» — но сдержал себя, и звуки иссякли, прошли.

Остановившись подле сцены, он вглядывался в тамошнюю темноту, словно предполагал увидеть призрак за черным роялем (верно, что-то Скворлыгину тоже почудилось). «Пойми, Олег, — почти шепотом произнес профессор Скворлыгин (и мне показалось, что у него дергается плечо), — пойми, старое русло Невы лежало не здесь, не там, где сейчас, имей в виду, Нева — одна из самых молодых рек Европы».

Теперь мы шли по узкой кишке, огибающей костюмерную. «Вдоль Шпалерной улицы расположены обширные известковые участки. Происхождение их, по-видимому, относится к ледниковому периоду... Ты слышишь меня?»

Я слышал. Огонек свечи отразился на стеклянной вывеске: «Библиотека». Мы вышли на другую лестницу. Спускались. Висели фотопортреты лауреатов Государственной премии. У одного был выколот глаз.

Я вздрогнул. Из темноты проявилась в белом костюме персона вахтера. Никакого светильника у него не было, и не было ясно, зачем он здесь притаился. Сковорлыгин остановился. «Идите, идите, — сказал вахтер. — Я следом за вами».

По служебному коридору мимо кабинета замдиректора Дома, мимо иностранной комиссии и прочих комнат мы продвигались в глубь Дворца Шереметева. Путь этот неизбежно упирался в бильярдную. Там, в торце коридора, стоял Долмат со свечой. Он ждал нас. «Все уже в сборе, — без лишних приветствий сообщил Долмат. — Ты все рассказал?» «Почти», — ответил Сковорлыгин, пропуская меня в бильярдную.

Он спросил: «Нет новостей?» «Так, пустяки, — сказал Долмат, — Лех Валенса позвонил Горбачеву. Завтра будет в газетах». — «А как насчет “Фрунзенского”?» — «Союз ассоциаций предлагает продать универмаг англичанам. Весь целиком. Я только что из Филармонии». «Ну?» — напрягся Сковорлыгин. «Великолепно. Кантата «Кающийся Давид». Шедеврально! Первое исполнение в Петербурге. Молодой человек, наверное, не знает, что сегодня умер Моцарт».

«Двести лет назад, — сказал мне Сковорлыгин. — Великая дата».

«Я полезу первым, — промолвил Долмат и ловко нырнул под бильярд. — Посвети» «Осторожно с огнем! Дом не сожгите!» — Это вахтер появился в дверях.

Профессор Сковорлыгин, присев на корточки, светил Долмату. Я не верил глазам. Там люк! Люк под бильярдом! С квадратной крышкой!..

Долмат исчезал в отверстии.

«Колодец, — сказал мне вахтер. — Идеальная маскировка».

«В карстовых слоях нередко образуются воздушные полости, — обратив ко мне лицо, произнес негромко Сковорлыгин (он по-прежнему сидел на корточках). — Нечто подобное есть на улице Фурманова, дом 9. Теперь ты, Олег. Твоя очередь».

Я медлил. «Ползи, не бойся, — подбадривал вахтер, — там ступеньки».

Я наклонился, присел. Снизу повеяло холодом.

Пещера оказалась не очень глубокой и довольно сырой. Бежал ручеек, журча. Вдоль стены по правую руку тянулся деревянный настил, уже прогнивший от сырости. Долмат дал мне свечу, сам он теперь держал карбидный фонарь, такой же точно фонарь появился у спустившегося за мной Сковорлыгина.

Нечто сосулькообразное полупрозрачной бахромой висело над нами.

Я мгновенно перестал ориентироваться. После третьего или четвертого поворота подземный ход расширялся. Люди стояли вдоль стен. Одни держали старинные канделябры с зажженными свечами — у кого-то свечи успели потухнуть (воздушная тяга); другие держали светильники наподобие керосиновых ламп.

С потолка свисала большая сосулька. На свету хрустальная поверхность ее играла веселыми огоньками.

«Сталактит!» — догадался я и услышал Сковорлыгина: «Он!»

Нас ждали. Некоторых я узнал сразу: вот невропатолог Подоплек, он приветствовал меня кивком головы, вот депутат Скоторезов.

Долмат оглянулся: «Красиво?»

Сталактит впечатлял.

«Сказать, что мы Общество антропофагов, — сказал Долмат, — значит, ничего не сказать. Раз в году, в эту благословенную ночь, мы глядим на него затаив дыханье. Увидеть, всмотреться — вот вся наша цель». «Господа, позвольте я стану здесь». — Это подоспел вахтер.

«Объясняю,— тихо произнес профессор Скворлыгин.— Когда из воды удаляется углекислый газ, углекислый кальций, насыщающий воду, непременно выпадает в осадок. Гляди: утолщение. Ниже — это за годы Советской власти. А вот там,— он вытянул руку вперед и наверх,— там эпоха Екатерины».

Я почувствовал на себе чужие взгляды. «А ведь он слышит музыку сейчас»,— кто-то сказал.

Наверное, слышал. Да, я слышал музыку. Кажется, гобой. Гобой плакал. Кажется, плакал.

Да, плакал гобой.

И так они глядели на меня, словно тоже хотели услышать, что дано было услышать почему-то лишь мне: как плачет гобой.

Я отступил в тень.

«Господа, пора начинать,— сказал вахтер.— Я созерцаю».

Больше никто не проронил ни слова.

Юлия, подумал я, ты где, Юлия, кто ты, что ты, зачем ты, куда? Юлия, все будет хорошо, Юлия, я никому не дам тебя в обиду, Юлия... Юлия, подумал я, Юлия, подумал я, Юлия, подумал я, Юлия.

Я обвел взглядом их отрешенные лица.

Я посмотрел на кристалл.

Я понял все.



В тесноте отступающих лет...

ИЗ КНИГИ «НЕВИДИМЫЕ»

* * *

Если вдруг уйдешь — вспомни и вернись.
Над сосновым хутором головою вниз
пролетает недобрый дед с бородой седой,
и приходит зима глубокая, как запой.
Кружка в доме всего одна, а стакана — два.
Словно мокрый хворост, лежат на полу слова,
дожидаясь свиданья с бодрствующим огнем.
Кочергу железную пополам согнем,
чтобы нечем было угли разбить в печи.
Посмотри на пламя и молча его сличи
с языком змеиным, с любовью по гроб, с любой
вертихвосткой юной, довольной самой собой,
на ресницах тушь, аметисты горят в ушах —
а в подполье мышь, а в прихожей кошачий шаг,
и настольной лампы спиральный скользит накал
по сырому снегу, по окнам, по облакам...

* * *

Как я завидую великим!
Я так завидую великим,
как полупьяный кот ученый
завидует ночному льву.
Ах Пушкин, ах обманщик ловкий!
Не поддаются дрессировке
коты. Вот мой, допустим, черный
и бестолковый. Я зову —

а он мяучит на балконе,
где осень, как мертвец на троне,
глядит сквозь кружево сухое
кленовых листьев. Ах, беда —
Архип охрип, Емеля мелет,
гордячка плакать не умеет,
и в неизбежном легком хоре
светил мой голос никогда

не просияет. Бог с тобою!
На алое и голубое,

на желтый луч и дождик бедный
расщеплена и жизнь, и та,
что к вечеру художник трудный —
ткач восьминогий, неприятный,—
означит сетью незаметной
в углу сентябрьского холста.

* * *

...меж тем вокруг невидимое таинство
огромной осени. В такие вечера
товарищ мой юродствует, скитается
прозрачным парком, улочкой кривой,
и мозжечок проколот мукой адовой.
Мятежный дух, где прежний голос твой?
Молчи, не веруй, только не заглядывай
в глаза прохожим в вымокших плащах.
Слетает дождь в чернеющие лужицы.
Мир говорливый съезжился, зачах,
охваченный своею долей ужаса.
Побродишь — и вернись. Садись за стол
с улыбкой виноватою ли, робкою.
Закуривай. Я поделюсь с тобой.
Потешься, друг, захватанною стопкою
земного зелья. Через час-другой
я сам ее допью, сквозь сон следя
за окнами, за линзами трехкратными,
где капли долгожданного дождя
расходятся кругами и квадратами.

* * *

Вот картина жизни утлой: поутру с посудой мутной пилит кроткий индивид
к гастроному у больницы, где младая продавщица потной мелочью гремит.
В проволочной пентаграмме двор с беседкой, с тополями, три семерки из горла,
ломтик плавленого сыра, полотно войны и мира, просияла и прошла...

Глубока земли утроба. Что толпиться возле гроба, на подушках ордена.
Продвигается к закату век, охотится на брата брат, настали времена
криводушны, вороваты — и проходят отчего-то, чья же, господи, вина?
Как сказал Цветков когда-то, нет двуногому работы, только смерть или война.

Ах, картина жизни праздной: долгий город безобразный, облик родины всерьез!
Не узнала, не забыла, билась в судороге, любила, выгоняла на мороз —
ну куда ты на ночь глядя? Что с тобою? Бога ради! Налегке так налегке,
только шарф, чтоб не продуло. Ах, отчизна, дура душой,
с детской скрипачкой в руке...

Тьма сырая смотрит нагло. Так куда ж нам плыть?
Куда глаза глядят, туда, где луч
ртутный воздуха не чаёт, тонким снегом отвечает,
где кривой скрипичный ключ
звякнет в скважине замочной, чтобы музыкой заочной...
брось. Меж ночью и цепной
жизнью, что светлеет, сияясь выжить,
прочен и извилист шов проходит черепной.

* * *

Тайком прокравшись в лунный сад
 (там, верно, сторож — ну и ладно!),
 священник с физиком сидят
 под небом осени прохладной.
 Корнями тихо шевеля
 вслед уходящим поколениям,
 ликует влажная земля,
 и пахнет яблоком и тленьем.
 Повесив нос, наморщив лоб,
 молчит во тьме и смотрит криво
 немолодой печальный поп,
 свое прихлебывая пиво.
 А физик чешет волоса
 и ласково твердит: не будем!
 Жизнь есть не более чем са-
 мозарождающийся студень.
 Проникновенна и мертва,
 луна кругла, а не двурога,
 попомни, поп, мои слова,
 не сокрушайся, ради бога!
 А бог, кряхтя, вдали ружжо
 рядит селитрою толченой
 и приговаривает: ужо
 тебе, старательный ученый!

* * *

Проповедует баловень власти,
 грустно усом седым шевеля,
 что рождается смертный для счастья,
 будто птица — парения для.
 Беломорский вития, о чем ты
 беспокоишься, плачешь о ком,
 в длани старческой, словно почетный
 знак, сжимая стакан с мышьяком?
 И пока прокаженный в пустыне
 приближаться к себе не велит,
 и твердит свои речи простые,
 и далекого Бога хулит,—
 знаем мы — зря бунтующий житель
 так ярится на участь свою.
 Отчитает его Вседержитель
 и здоровье вернет, и семью.
 Все пройдет, все пойдет, как по нотам,
 будет сентиментален конец,
 прослезится Всесильный, вернет он
 и верблюдов ему, и овец.
 Что ж печальны Адамовы внуки?
 Или мало им дома тоски,
 где бросается горлица в руки
 и сухие стропила крепки?
 Или мало дневного улова
 и невольных вечерних забот?
 Но листающий книгу Иова
 словно жидкое олово пьет.

* * *

Ах жизнь — бессонница, непарный шелкопряд...
О чем, товарищ мой, цыгане говорят?

И даром, что костер, а ночь все холодней,
коней ворованных, стреноженных коней

родное ржание, гитары хриплый ток,
да искры рвутся вверх... Закутано в платок,

дитя глядит в огонь, не зная, отчего
во мгле древесное бушует вещество

и молчаливые пылают мотыльки —
и мы неграмотны, и мы недалеко...

* * *

В ожидании весны старожилу суждены
сны о конопляных рощах, о полях, где зреет мак,
о мерцании в умах и о том, что время проще,

чем считается, — оно не чугун, а полотно,
проминается, и длится, и сияет, все простив,
будто рыжий негатив на туринской плащанице.

Пустотелая игла, словно зимний куст, гола,
таракан под половицей черной лапой шевелит,
или сердце не болит? или прошлого боится?

Светит месяц над рекой. Пощади и успокой.
То найдет коса на камень, то заглянешь в сон — а там
волк облезлый по пятам рвется темными прыжками.

* * *

Я запомнил свою роль, а была она
так ясна и затвержена, так
благолепна. Дымок от ладана,
в кошельке пятерка, в руке пятак —

только света хриплого или алого
я не видел, орехов не грыз сырых,
ибо детских жалоб моих достало бы
на двоих, а то и на четверых.

Звякнул день о доньшко вдовьей лептою.
Отмотав свой срок, зеленым вином
опоен, в полудреме черствеющий хлеб пою,
метеор, ковыль на ветру дрянном.

Славно тени бродят при свете месяца.
Что-то щедрое Сущий мне говорит.
И в раскрытом небе неслышно светятся
золотые яблоки Гесперид.

* * *

...там листопад шумит, а облако молчит,
там яблоня растет, меняя цвет и облик,
и ближе к осени, когда топор стучит,
не лицедействуя, плодит себе подобных —

вот здесь и оборвать, апостолу Петру
вернуть ключи, вскочить, сойти с трамвая,
застыть юродивым на голубом ветру,
в карманном зеркальце себя не узнавая,

а можно и начать — снег первый, словно гжель,
летит, забывший собственное имя,
витийствует метель, и срубленная ель
украшена плодами восковыми...

Баллада

Под утро, когда пешехода влечет
к обиде и смертной тоске,
явился и мне карамазовский черт
с бутылкою спирта в руке.
Пускай я не против амуровых стрел,
но этого гнал бы врага,
когда бы так жалко дурак не смотрел,
под шляпою пряча рога.
К тому же и выпивка... Черт, говорю,
с тобой, омерзительный дух.
Мы примем стаканчик и встретим зарю,
а там и рассветный петух
зальется победною трелью — и ты,
монахам внушающий страх,
как крыса позорная, юркнешь в кусты,
исчезнешь в межзвездных полях.

За окнами слышалось пенье дождя —
потоки младенческих слез.
Вернулся он с кухоньки, спирт разведя,
и даже стаканы принес.
Я дал ему сыру, и дал помидор,
и с легким стеснением в груди —
давай, говорю, мой ночной прокурор,
пластинку свою заводи.
И с места в карьер негодяй у стола,
сто грамм осушивши со мной,
промолвил: «Душа твоя так же тепла,
как этот напиток дурной.
Должно быть, технический, черт подери,
нечистый, как, впрочем, и я.
И ты, сочинитель, гори не гори —
ужасен итог бытия!»

Смолчал я, и налили мы по второй,
храни нас весильный Юпитер!
И выпил мой богопротивный герой,
и губы змеиные вытер.
«Смирись навсегда, горделивый поэт,—

смеялась хвостатая пьянь. —
Бессмертья блаженного в общем-то нет,
а есть — только сущая дрянь.
Когда соловей распевает свой гимн
зарю, это чушь или ложь.
А правда одна: ты родился нагим,
таким же и в землю уйдешь.
Засим не поможет тебе ни Минюст,
ни влажный российский язык,
ни важного Гегеля бронзовый бюст,
ни тонны прочитанных книг».

Но я отвечал ему: «Братец, шалишь!»,—
себя осеняя крестом.
«Смотри, например, как летучая мышь
парит над осенним мостом.
Как белая лошадь арабских кровей
гарцует над трупом холодным.
Как ловко влечет стрекозу муравей
на радость личинкам голодным.
Допустим, пророк презираем и наг,
но в силу написанных строк
останусь навек я в иных временах,
а значит, я тоже пророк!»
И так от души показал я ему,
что бедный козел и нахал
исчез, испарился в дождливом дыму —
и даже бутылки не взял.

* * *

Вот гуляю один в чистом поле я,
с целью сердце глаголами жечь,
и гнездится в груди меланхолия,
а по-нашему — черная желчь.

Жизнь постылая, что ты мне выдала?
Ведь не просто я пел-ковылал-
хлопотал, мастерил себе идола,
резал, красил, на гвоздик цеплял.

Здравствуй, бомж венценосный, со взором го-
рящим, легкий, как шар голубой!
Знаешь нашего главного врага?
Не слыхал? Ну и Брюсов с тобой.

Снежно, влажно на улицах жалкого
городка, и свобода сладка,
удивляйся, взвивайся, помалкивай,
покупай сигареты с лотка —

но, какого ни высветишь гения
в тесноте отступающих лет,
в переломленном нет просветления
и в истлевшем сомнения нет.



Т р и р а с с к а з а

МОЙ БРАТ

Мне казалось, что я хорошо знаю своего старшего брата Валеру, пока не произошла эта ужасная история. Трагически завершилась она совсем недавно, всего три года назад.

А когда началась? Может быть, в девяносто пятом, когда я, директор собственного и процветающего в те годы издательства, соблазнился на уговоры туристического агентства купить на Канарских островах в одном из клубов ежегодную неделю на двоих. По глупости решил, что смогу каждый год летать на Канары и писать среди пальм в тиши и тепле под шум волн свои рассказы и романы. Я тогда представлял себе эти острова тропическими, сплошь покрытыми непроходимыми рощами кокосовых пальм, банановых и манговых деревьев. Виделись мне там песчаные пляжи по всему побережью.

Действительность, как всегда, оказалась иной. Канарские острова были вулканического происхождения и представляли собой каменистую пустыню с редкими, чахлыми кустиками, похожими на верблюжьи колючки, и пыльными лопушистыми кактусами, густо разбросанными по острову небольшими колониями. На острове Тенерифе, где был мой клуб, только в горах на полпути к кратеру вулкана Тейде были лесистые заросли тонких кривых деревьев да невысоких канарских сосен. Правда, на территории клуба вокруг чистого бассейна было зелено: огромные фикусы, пальмы, бананы, другие неизвестные мне южные деревца с крупными цветами всех оттенков. Неподалеку от клуба, видно, недавно посаженная молодая пальмовая роща. По всей ее площади были протянуты резиновые шланги с маленькими дырочками у стволов, откуда постоянно сочилась вода. Иначе пальмы не могли расти. Влаги совсем не было на этой сухой, вулканической поверхности. Черные, обугленные скалы то ровной отвесной стеной спускались к воде, то в беспорядке громоздились на берегу, торчали из океана. Волны играли среди черных камней, таких острых, что по ним трудно было войти в воду, не порезав ноги. Только в некоторых местах были бухточки с мелким черным песком, вернее вулканической золой, которую постоянно полоскали мутные, грязно-черные волны. Были и настоящие пляжи с золотистым песком, но его привезли из Африки, из Сахары. Ближайший такой пляж от моего клуба Саниндейл Вилладж находился за четырнадцать километров. Рейсовых автобусов не было, и до пляжа нужно было добираться либо на такси, либо брать машину напрокат. Но у нас с Таней, моей женой, за неделю не нашлось ни одного дня, чтобы полежать на пляже. Все время мы провели в экскурсиях по острову, осмотрели все достопримечательности, побывали на всех знаменитых развлекательных мероприятиях.

На следующий год Таня категорически отказалась лететь на Канары. Что там делать? Все увидели, везде побывали. Лететь далеко, семь часов, дорого. Если хочешь писать, говорила она мне, полетели в Ялту, в Дом творчества. Однако черт тянул меня на Канары. Это обо мне писал Некрасов: «Мужик, что бык.

Втемяшитесь в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь. Упирается, а на своем стоит!» Но одному ехать не хотелось. Апартаменты в клубе были на двоих. И тут мне под руку подвернулся брат Валера.

Был он на два года старше. И по складу характера, и внешностью Валера отличался от меня. Был основателен, нетороплив, постоянен в своих пристрастиях. Не любил мотаться по свету, как я. У нас в деревне говорили, что он пошел в отца, а я в деда с материнской стороны, такой же непоседа. Внешне он был мужественен, лицом сухощав, смугл, с прямым носом, с красивыми темными бровями. Я рано начал лысеть, а у него по-прежнему были темные густые волосы. В юности я однажды слышал разговор деревенских женщин о нас, братьях. Они говорили, что Валера интересней, чем я, лицом, красота у него какая-то благородная. Меня слова эти, честно говоря, неприятно задели, но брату я не завидовал, слишком мы были разными. Если меня полжизни носило по стране, пока я не осел в Москве, то Валера всю жизнь проработал на химическом заводе в нашем районном городке Уварове старшим аппаратчиком. Работал бы там и сейчас, если бы завод не остановили реформаторы, а всех рабочих не отпустили в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. Женился он сразу после армии на легкомысленной и ветреной девчонке, которая любила веселую жизнь, застоля, гулянки, мало думала о доме, о семье. Сын родился у них довольно быстро. Потом появилась дочь. Лет пятнадцать Валера терпел беспечную жизнь жены, пока не узнал о ее романе со знакомым шофером. Они разошлись.

Женщинам Валера нравился, поэтому после развода он не был долго один. Почти в каждый свой приезд из Москвы в родные края я заставал брата с новой женой. В те дни, когда я подыскивал среди друзей себе попутчика на Канары, Валера приехал в Москву развеяться после разрыва с очередной женой. Все эти разводы он воспринимал с иронией, посмеивался над собой, особенно не переживал.

Валера ни разу не был за границей, и мне пришла в голову шальная мысль: предложить ему слетать со мной на Канары. Он согласился.

В аэропорту острова Тенерифе я взял машину напрокат, и мы покатали в клуб. Я чувствовал, что Валере приятно сидеть в новенькой машине, мчаться по прекрасной дороге по побережью. Он улыбался, глядел на спокойный солнечный океан, на скалистый берег, и я стал смотреть вокруг его глазами, глазами свежего человека, для которого все ново. До Канарских островов мы с Таней побывали во многих странах, пересекли всю Америку на машине от океана до океана, были в Мексике, всю Европу исколесили. Видели более экзотические места, потому-то, думаю, Тенерифе и не произвел на нас особого впечатления. А Валера нигде не был. Когда я представил себя на его месте, то вдруг даже пыльные заросли кактусов вдоль дороги на склонах холмов показались мне дивными, правильный серо-коричневый конус вулкана Тейде вдаль с зацепившимся за вершину серым облачком увиделся таинственным и прекрасным, а небольшие поселки рыбаков, прилепившиеся к скалам на берегу, очень романтическими.

— Представляешь, когда-то здесь стояли пиратские корабли! — Брат взглянул на меня блестящими глазами, указывая на бухту, мимо которой мы проезжали.

Он показался мне в тот миг похожим на подростка, и я не удержался, засмеялся, кивнув:

— Ну да, — и добавил с улыбкой ему в тон, — чего только эти берега не повидали!

Ослепительно белые на солнце угловатые домики клуба; чистенькие дорожки, вдоль которых в черной земле, похожей на угольный шлак, росли необыкновенные тропические растения и цветы; белые каменные заборы, сплошь увитые цветущими растениями; наши тоже белые внутри апартаменты — восхитили его. Он заглянул в холодильник, пооткрывал дверцы многочисленных

шкафчиков, удивляясь тому, что даже посуда есть, потом включил телевизор, потрогал, покачал рукой матрас на застеленной белым покрывалом широченной кровати.

— Как чистенько, как бело все! — проговорил он и воскликнул, глядя в окно: — Смотри, океан видно! Какой он необыкновенно голубой на фоне белых домов!

Я вспомнил, как Таня фыркнула, войдя впервые в апартаменты и увидев, что это всего-навсего комната метров пятнадцать, заставленная мебелью.

— Ну и апартаменты! Я думала тут черт знает что, а это обычный гостиничный номер...

Валера вышел на балкон, большой, чистый, с шезлонгами и круглым пластмассовым столом.

— На море, на море! — запел брат. — Море скучает без нас... Пошли поплаваем! — повернулся он ко мне.

— Я не хочу, чтобы ты в первый же день инвалидом стал. Вещи разберем и поплаваем в бассейне.

— Какой бассейн! Океан рядом. Я не сумасшедший!

— Если ты тут, — указал я в окно, — полезешь в воду, тебя именно за сумасшедшего и примут. Только сумасшедший по таким камням полезет купаться. Пляж подальше. Мы туда еще успеем...

Мы разобрали сумки, повесили вещи в шкаф и прямо в плавках, с полотенцами через плечо пошли в бассейн, где всегда плескались, плавали несколько человек. Голубая прозрачная вода, белые пластмассовые лежаки и шезлонги на берегу под пальмами и широкими банановыми листьями, ресторанчик возле воды, креветки с прохладным чудесным пивом, тут же бильярдные столы — все приводило брата в восторг.

— Живут же люди! — покачивал он головой, отрываясь от кружки с пивом.

— Не живут, а отдыхают, — поправлял я с видом бывалого человека. — Живут они где-нибудь в скучной Европе.

В этот же день мы съездили на пляж, потом побывали в аквапарке Октопус, где, как дети, с визгом летали на спинах по мокрому пластмассовому желобу с высоких горок в бассейн, прыгали с вышек. Вечером долго сидели в ресторанчике около бассейна, слушали, как тягуче и томно перекликаются цикады, смотрели, как черно возвышается на полнеба среди ярких южных звезд вулкан Тейде, на склонах которого мигали, переливались огоньками многочисленные поселки местных жителей, играли в бильярд. В бассейне, подальше от нас, забавлялась, резвилась юная парочка, слышались легкий плеск воды, смех, счастливое повизгивание. Освещенная фонарями изумрудная вода тихонько плескалась, поблескивала. Я чувствовал непонятную сладкую грусть, легкий хмель от вина, хотелось, чтобы эта ночь тянулась бесконечно. Мне почему-то казалось, что то же самое испытывает Валера. Я радовался, что приехал сюда с ним.

Утром я повез его показывать остров: вулкан с потоками застывшей лавы, с огромными валунами, с безжизненным выгоревшим полем до самого горизонта без единой травинки, без единого кустика, напоминающим лунный пейзаж; знаменитый парк попугаев, весь утопающий в зелени, с прекрасным дельфинарием. Потом погуляли по улицам столицы острова Санта-Крус-де-Тенерифе. Обедали в рыбацьем поселке Лос Абригос, в рыбном ресторане. Я заказал самые, на мой взгляд, экзотические блюда: лангуст, осьминога, устриц. Он попробовал на вкус порезанные щупальца осьминога и заключил:

— Наш рак лучше... — Потом с отвращением указал на распахнутые перламутровые раковины устриц. — И ты эту гадость будешь есть?

— И ты будешь!

— Я не утка.

В детстве мы собирали в речке ракушки и кормили уток.

— Деликатес! — засмеялся я.

— У нас в речке этот деликатес пожирнее будет... Хотя б сварили, а то живьем...

Он, ехидно ухмыляясь, смотрел, как я выковыриваю ножом из раковины живое мясо устрицы и закусываю им водку. Наконец соблазнился, попробовал.

— А под водочку ничего идет! — И засмеялся.— А я боялся, что дома скоро нечего будет есть, зарплату не дают. Вернусь, этим деликатесом питаться буду. У нас им все речки забиты...

Вечером свозил я брата в Экзит-Палас в городе Плайа де лас Америкас на национальные испанские танцы фламенко. С каким восхищением и восторгом смотрел брат на сцену, где, как огонь, полыхала танцовщица. Он забыл о вине, еде, которой был заставлен стол перед нами, не сводил глаз со смуглой испанки с гладко зачесанными назад жгуче-черными волосами с высоким бантом на затылке. Как гибко, изысканно изгибалась она свой тонкий стан в быстром танце под звучную испанскую музыку, как невесомо и грациозно вскидывала руки, играла пальцами, будоража сердце ритмичным стуком кастаньет! Как, приостанавливаясь, легко и звучно прищелкивала, стучала каблуками и вдруг игриво и изящно отбрасывала ногой широкое длинное платье с многочисленными оборками, вздымала его вверх, показывая на миг белые нижние юбки!

— Как хороша, как она хороша! — восхищенно шептал брат, не сводя глаз со сцены. Он весь подался вперед, словно взлететь был готов и оказаться рядом с прекрасной испанкой. Пройтись вокруг нее, подняв руки и напряжив грудь, щелкая каблуками и кастаньетами. Мне показалось, что он представляет себя ее партнером в танце. Это он кружил по сцене, вытянувшись, как стрела, подбоченясь одной рукой, а другую полукругом держа над гордой головой, прищелкивая, притопывая быстро-быстро и не сводя с нее глаз. Брат не прикасался к еде во время танцев. Ел, пил только тогда, когда танцоры отдыхали, а на сцене работали иллюзионисты или пел высокий длиннотылый негр.

После концерта мы снова сидели около бассейна в нашем ресторанчике. Брат был грустен, необычно молчалив, много пил.

— Устал, домой потянуло? — спросил я.— Ностальгия?

— Кто там меня ждет? — грустно отмахнулся брат и вздохнул: — У меня все стоит перед глазами танец ее рук, пальцев, взмах ноги, подбрасывающей платье, а в ушах — звук кастаньет, каблучков! Как она хороша!

— Ты все о танцовщице думаешь? — удивился я.— Хороша Маша, да не наша!

Накануне вылета в Москву мы поехали в знаменитый замок Сан-Мигель посмотреть на средневековый рыцарский турнир. У входа было уже многолюдно. Над толпой возвышались два всадника в рыцарских доспехах, в круглых блестящих шлемах с закрытыми забралами, в длинных голубых плащ-накидках. Кони покрыты такого же цвета легкими попонами. Брат вдруг заторопился к ним, глаза его почему-то возбужденно загорелись. Быстро пробрался к всадникам и, не обращая внимания на рыцарей, стал любовно поглаживать круп коня, потом подошел к его морде, снял длинную косицу гривы с глаза, похлопал ладонью по белой звездочке на лбу. Конь дружелюбно и приветливо качнул головой, словно встретил старого знакомого.

— Отличный коняга! Вот бы на нем проскакать сейчас!

Я вспомнил, что брат три с половиной года служил под Москвой в кавалерийском полку, который, как я думаю, никакой военной силы не представлял, только снимался в исторических фильмах. В молодости Валера гордился тем, что участвовал в киносъемках. Не пропускал ни одного сеанса с «его фильмом» в уваровских кинотеатрах, чуть не силой тащил меня посмотреть «еще разочек». Когда на экране появлялась скачущая конница, возбужденно дергал меня за рукав, кричал:

— Смотри, смотри, вон я, вдали! Видишь?.. Сейчас упаду, упаду!

Узнать брата в летевшей лаве всадников, а тем более на заднем плане, было невозможно. Тарахтели пулеметы, вздымалась земля от взрывов. Всадники один за другим летели на землю, кувыркались через голову, падали в пыль кони.

— Видел, видел? — спрашивал Валера.

— Да, да, — подтверждал я, чтоб не обидеть его.

— Закончишь свой ВГИК, непременно напиши сценарий исторического фильма. Я такие трюки на коне могу показать, любой казак позавидует! — хвастался он. — Как-никак три с лишним года в седле провел...

Каждому входившему в замок зрителю выдавали бумажную корону, передник и широкую полоску ткани с прорезью для головы. Всё это предлагали сразу надеть на себя. Внутри замок представлял длинный стадион, разбитый на секции, со скамьями, поднимающимися вверх. Перед скамейками — длинные грубые деревянные столы, на которых уже стояли высокие бутылки с красным и белым испанским вином, кружки и неизменные кока-кола и фанты. Проход между столом и нижней скамьей широкий. По нему потом будут на тележках развозить еду. Посреди стадиона арена, засыпанная песком и отделенная от зрителей деревянным барьером. С одного торца — кирпичная стена, на которой висели щиты, мечи, копья, плети и цепи, и широкий проем с темно-зеленым занавесом, откуда будут выскакивать всадники. На другом торце на высоте второго этажа была королевская ложа с открытым белым занавесом. В ложе все сверкало золотом. Оба трона с высокими резными спинками пока пусты. Стол перед ними накрыт бордовой скатертью, на ней бутылки, тарелки. Рассаживали нас по секциям по цвету передников. Нам достался темно-синий цвет. Я знал по прошлому посещению замка с Таней, что все рыцари тоже будут в разных по цвету плащах. Наша секция должна будет болеть за темно-синего рыцаря. Мы с Валерой заняли места во втором ряду.

Зрители еще шли, а некоторые секции уже начали что-то кричать, свистеть, что-то дружно скандировать, выкрикивать, орать песни. Ими снизу от барьера дирижировал какой-то человек. Стало шумно.

— Наливай! — крикнул я брату и взял бутылку. — Три часа такой ор стоять будет!

Рянула музыка, и из проема в стене показался первый всадник на белом коне. Брат отставил кружку с вином, весь вытянулся навстречу коню, который, танцую стройными ногами, величаво выгнув голову с белой гривой, бочком поплыл по песку в сторону королевской ложи. Рыцарь в шлеме, в доспехах, в черной накидке сидел, как влитой, словно он был с конем единым целым. Раздались аплодисменты: в ложе показались король с королевой. Оба в коронах, в малиновых мантиях, расшитых золотом. Поклонились зрителям, уселись на тронах. В это время рыцарь на белом коне подплыл к ним и низко склонил голову в шлеме.

Рыцари в разного цвета накидках и платьях под доспехами один за другим выезжали на арену, неторопливо, важно двигались по всему залу к ложе, приветствовали короля с королевой и поворачивали коней каждый к своей секции поклониться болельщикам, которые встречали рыцарей аплодисментами и дружным криком. Мы с братом, подогретые вином, тоже не жалели глоток. Наш рыцарь оказался коренастым, крепким, ловким испанцем, лобастым, с короткими темными волосами и большими залысинами. Лицо, темное, круглое, светилось легкой иронией, уверенностью. Черные глаза жестко и нагло блестели при свете. Он поднял вверх меч, приветствуя нас.

— Турнир начинается! — объявили на нескольких языках, в том числе и на русском.

— Смотри-ка! — радостно крикнул мне на ухо брат. — И на нашем!

— Здесь полно русских! — отозвался я.

Вначале рыцари каждый в отдельности показывали нам свое мастерство наездников: на скаку срубали мечами подвешенные кольца, метали копьё в большой деревянный брусок с мишенью. Нас в это время угощали мамалыгой в деревянных чашках, потом выдали каждому по целой жареной курице. Мы ели, пили, кричали. Восторженно орали после удачных трюков, оглушительно освящывали промахи. Рыцари нам подыгрывали, притворно злились, грозили чужим болельщикам кулаками, когда их освящывали. В них в ответ кидали обглоданные куриные кости. Захмелевший Валера тоже свистел, ругался, кричал «Сапожники!», когда что-то не удавалось у рыцарей. Я хохотал над ним. Наш рыцарь был особенно удал, ловок, зол. После одного удачного трюка король угостил его вином. Выпив, он вдруг остаток вина выплеснул в лицо одному из рыцарей, который в тот момент оказался рядом с ним.

И тут произошло то, чего я никак не мог ожидать. Если бы мог подумать об этом, я бы непременно удержал брата и не произошла бы эта ужасная история.

Рыцари стали по очереди выполнять следующий трюк. Они должны были на полном скаку, держа копьё в руке, попасть острием в колечко, подвешенное над ареной на ленточке, нанизать его на копьё и сорвать. Наш темно-синий рыцарь, до этого отлично выполнявший все трюки: метко бросал копьё в мишень, поднимал ленточку с земли, — на этот раз промахнулся, не попал в кольцо, проскакал мимо. Зал взорвался свистом. Рыцарь сделал огорченное лицо и понуро вернулся, остановился возле нашей секции, глянул на нас, своих болельщиков, с надеждой, как бы ища у нас поддержки. Но мы тоже свистели, недовольные им, кое-кто из первого ряда плеснул в его сторону вином из кружки, кто-то сверху кинул куриную кость. Тогда рыцарь зло блеснул жесткими глазами, сделал вид, что рассердился на нас, спрыгнул с коня, подвел его к барьеру, протянул в нашу сторону поводья и что-то обиженно крикнул. Мол, попробуйте сами, а потом свистите. И в этот миг Валера вскочил на скамью, потом на стол, прыгнул через проход на спинку нижней скамьи, на чужой стол, на барьер, выхватил из рук рыцаря поводья, сильно толкнул его в грудь так, что тот от неожиданности рухнул навзничь на песок. Брат вскочил на коня, вздыбил его. Конь прыжком рванулся к стене с оружием. Все это произошло в один миг. Зал онемел на секунду, потом ахнул, взорвался диким ревом восторга. Я похолодел от ужаса, протрезвел сразу, прилип к скамейке, не зная, что делать. А брат подскакал к стене, сорвал копьё, развернулся и полетел к кольцу, держа копьё в поднятой вверх правой руке. Рыцарь вскочил на ноги и бросился ему навстречу, попытался схватить коня под уздцы. Но Валера промчался мимо, нанизал кольцо на копьё, подскакал к королевской ложе, взмахнул снизу вверх копьём. Кольцо с ленточкой сорвалось с него и полетело в ложу. Король поймал его на лету и поднял над головой, показывая зрителям. Зал ревел от восторга. А к брату уже бежало несколько человек в униформе. Валера снова развернул коня, дернул поводья и полетел назад, держа копьё над головой. Он взмахнул им, швырнул в мишень, попал. У противоположной стены на брата налетели сразу несколько спешившихся рыцарей, стащили его с коня. Валера упал в песок, но как-то сумел вывернуться из их рук, вскочил, побежал к барьеру в мою сторону. Однако его снова сбили в песок и потащили к стене, к проему. Я кинулся ему на помощь. Но дежуривший около нашей секции охранник в униформе бросился на меня сзади, обхватил руками и сильно придавил к деревянному барьеру так, что я не мог шевельнуться. Я с тоской смотрел, как рыцари чуть ли не волоком утаскивают брата с арены. Зал ревел, многие зрители стоя размахивали своими передниками, крутили их над головами. Охранник, видя, что я не дергаюсь, не сопротивляюсь, ослабил натиск, взял меня за локоть и повел к моему ряду, что-то говоря. Потом указал рукой на мое место. Я послушно пробрался по ряду к своему столу, сел и стал глядеть на занавес, на проем в стене, куда утащили брата, надеясь, что он вскоре появится. Я не слышал страшный рев зала,

с тоской думал, что брат влетел минимум на полгода за хулиганство. За счастье приму, если его только оштрафуют. Пусть на кругленькую сумму, пусть! Лишь бы выпустили. Не отпустят, как я его буду искать, ведь я ни слова по-испански не знаю. Влипли, ну влипли!

Зал успокаивался потихоньку, представление продолжалось. Но мне было не до рыцарского турнира, не до еды, не до питья. Я все поглядывал на проем. Охранник стоял возле моего ряда и, как только я подозрительно шевелился, тут же поворачивал ко мне свое строгое лицо.

Брат появился не оттуда, откуда я его ждал. Он спустился сверху, быстро прошел мимо охранника и, широко улыбаясь своей наивной сияющей улыбкой, улыбкой подростка, хорошо и удачно пошутившего среди взрослых, стал пробираться ко мне.

На сердце у меня отлегло немного: отпустили, хоть искать не придется.

— Ты с ума сошел! — встретил я его сердито.

— Сошел, сошел, — быстро ответил он и улыбнулся соседям, которые смотрели на него с восхищением и восторгом. — Наливай! — И сам взялся за бутылку, разлил остатки вина в кружки. Потом поднял пустую бутылку, показал охраннику и пощелкал по ней пальцем.

Тот спокойно кивнул, подозвал официантку и что-то сказал ей, указывая глазами в нашу сторону.

— Ну ты и наглец! — покачал я головой. Сердиться на него расхотелось.

— Как будто ты не знал! — хохотнул он.

К нему потянулись чокнуться соседи, и он радостно подставлял им свою кружку.

— Рассказывай, штрафанули? — спросил я, когда мы выпили.

— Хуже, — взялся он за курицу. — Работать предложили...

— Брось!

— Без балды. — Он рвал курицу зубами.

— Ну да, — усмехнулся я недоверчиво.

— Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я согласился. Завтра выхожу на работу, — спокойно сказал брат и взял новую полную бутылку вина из рук официантки. — Вот так!

— И что ты будешь делать? — Я все еще не верил ему.

— Жрать курицу, пить вино задаром на этом месте... Еще по кружечке? — спросил он у меня, указывая глазами на бутылку. — Впрочем, тебе рулить. Смори, не перебери!

— Полкружечки можно... — пододвинул я к нему свою кружку и съехидничал: — И вся работа?

— Нет, когда тот придурак, — кивнул он в сторону нашего рыцаря, который на арене рубился мечом так, что искры летели, — предложит попробовать вместо него, я, как и сейчас, должен вскочить в седло и сорвать кольцо. Только и делов... Ты же видел, как народу моя проделка понравилась. За эти пять минут обещают пятьдесят долларов и бесплатное жилье, не считая курицы и вина, — щелкнул он пальцем по бутылке.

— Ты же ни одного испанского слова раньше не слышал, — начал я верить в правдоподобность его слов.

— Если надо, выучу, это чепуха... — беспечно ответил он и засмеялся. — Самое интересное вот что: меня обязали матом кричать, когда я буду скакать с копьём, для убедительности. Говорят, что здесь полно русских... Поработаю немного, а там, глядишь, в Уварове завод пустят, вернусь в аппаратчики. Все равно дома сейчас делать нечего...

Мне пришлось одному лететь в Москву. Дня через три он позвонил, сказал, что хозяин рыцарского турнира снял ему однокомнатную квартиру неподалеку от замка Сан-Мигель. Она лучше моих апартаментов в клубе. Начал изучать испанский язык: не такой уж он сложный. Оставил мне свой

телефон. Недели через две я ему позвонил, чтобы узнать, как дела, все ли в порядке.

— Прекрасно! — ответил он. — Познакомился-подружился с одним русским парнем, переводчиком... На работе порядок. Тренируюсь с рыцарями... Кое-что свое предложил хозяину. Ему понравилось.

— А с испанкой еще не познакомился? — пошутил я.

— И это есть! — засмеялся он, но тему не поддержал.

Я успокоился, решил, что брат не пропадет. Если будет сложно, позвонит, вышлю денег на билет. Не проблема. И, честно говоря, я забыл о нем, закрутился. В издательстве начались сложности. Не до него. Перезванивались мы, наверно, не чаще одного раза в месяц. Разговор шел примерно так: «Привет». — «Привет». — «Как дела?» — «Нормально». — «Ну, и слава Богу!» Мы и раньше никогда не вдавались в личные дела друг друга.

Прошло полгода. Вдруг звонок из Тенерифе ко мне на работу. Говорит мужчина. Представляется: Виктор Нефедов, друг Валеры.

— Что случилось? — испуганно спросил я, догадавшись, что это тот переводчик, о котором не раз упоминал брат.

— Срочно вылетай сюда.

— Что с Валерой? — кричу я в трубку.

— Жив он, не волнуйся. Но нужно его забрать отсюда...

— Что с ним случилось? Где он?!

— В больнице... Его ударили ножом... Не волнуйся, не опасно, он в сознании. Врачи говорят, что через неделю выпишут. Поэтому срочно вылетай сюда!

— Он что, сам передвигаться не может?

— Может, может, — успокоил меня Виктор. — Но его нужно срочно отсюда вывезти!

— А сам он не может вылететь? Посади его в самолет, я встречу. Если деньги нужны, я вышлю.

— Деньги у него есть...

— В чем же дело? — не понимал я. — Канары — не Тамбов. Визу в Испанию дней десять оформлять надо. Растолкуй, зачем я там нужен? Почему ему самому нельзя прилететь?

— Сам он не полетит. Это точно!.. Почему?.. Долго рассказывать! Если хочешь, чтобы твой брат был жив, немедленно прилетай! Пусть через десять дней, но прилетай. Записывай мой телефон. Купишь билет — звони!

Я записал его телефон и помчался в испанское посольство...

Виктор встретил меня в аэропорту Тенерифе на своей машине. Он оказался высоким, худощавым, энергичным на вид парнем лет тридцати пяти.

— Валера в больнице? — сразу спросил я.

— Выписали вчера. Дома. Кстати, имей в виду, он не знает, что я тебе звонил, не знает, что ты прилетел.

По дороге Виктор рассказал мне, что Валера познакомился с одной танцовщицей, увлекся ею.

— Как у них получилось, — говорил Виктор, — не знаю, не понимаю... Я два года живу здесь, испанским, как русским, владею, и за два года ни одного даже легкого романчика не было. Так, на бегу, встретились — разбежались!.. А он без языка совсем — и вдруг такая взаимная страсть! Она раньше встречалась с артистом одним, он в замке рыцаря по вечерам играет...

— Коренастый такой, коротко стриженный, с залысинами! — перебил я. Ловкий, лобастый рыцарь с ироничным лицом и жестокими, наглыми глазами явственно предстал передо мной.

— А ты откуда его знаешь? — удивился переводчик.

— Видел. А дальше?

— Она, конечно, побоку своего рыцаря. Валера тоже как в омут головой. Фелипе, этот рыцарь незадачливый, — рвать и метать, всеми силами тянуть ее к себе. Она, видно, голову совсем потеряла, ни в какую. Тот гро-

зять — зарежу, то ей, то ему!.. Ох, что было однажды на арене в замке! Они чуть друг друга прилюдно мечами не порубили. Он Валере подбородок рассек, а тот Фелипе мечом по лысине шаракнул. Кровищи у обоих — страсть! Еле растащили...

— Почему мечами? — удивился я. — Валера другую роль играл. Он должен был всего лишь копьём кольцо снимать!

— Ну да, кольцо... Он уже через месяц стал полноценную роль рыцаря играть. Такое выдывал... Кончилось тем, что их не стали на арену выпускать в один вечер, боялись — порубят друг друга. А две недели назад Фелипе встретил их вечером у Экзит-Паласа после концерта и пырнул ножом Валеру. Как говорят свидетели, Фелипе хотел убить танцовщицу. Сначала он будто бы что-то говорил ей резко, потом бросился на нее с ножом. Валера успел, оттолкнул. Они схватились. Машины там кругом, развернуться негде, ну и Фелипе ножом ему в живот. Валера согнулся от боли, а тот ему нож в спину воткнул и в суматохе скрылся.

Я содрогнулся, представив скрючившегося брата с прижатыми к животу руками и с ножом в спине.

— Поймали того?

— В том-то и дело, что нет... Я тебе не сразу позвонил. Надеялся, что Фелипе поймают, а во-вторых, думал, что сам уговорю Валеру уехать с острова хотя бы на месяцишко, ждал, когда оклемается. Честно говоря, ему повезло — нож не задел у него ни одного важного органа. Я три дня уговаривал Валеру улететь — слушать не хочет... Надеюсь, ты уговоришь. Иначе Фелипе все равно подстержет их, зарежет. Это как дважды два!

— Может быть, Фелипе давно уж удрал с острова? — с надеждой спросил я.

— Полиция тоже так думает... Я убежден — здесь он! Отсидивается где-нибудь у знакомых. Как уляжется шум, выползет и зарежет. Потом удерет на каком-нибудь рыбацком суденышке... Надо уговорить Валеру, непременно уговорить...

— А как же танцовщица? Что с ней будет?

— Без Валеры он ее не тронет. Узнает, что тот улетел, и помирятся... Такая жизнь!

Виктор остановил машину около подъезда белого пятиэтажного дома с выступавшими большими балконами, с которых свисали цветы, особенно яркие на белом. Поднялись на второй этаж. Открыла нам дверь смуглая женщина в небесно-голубом платье и со жгуче-черными волосами, падавшими на ее голые плечи. Меня поразила ее необыкновенная красота, особенно живые черные глаза, и я подумал, что мы ошиблись дверью. Но женщина тихо, не размыкая губ, улыбнулась Виктору, как старому знакомому, и посмотрела на меня вопросительно и удивленно, и вдруг лицо ее озарилось широкой улыбкой, блеском ослепительно белых зубов, отчего стало еще краше, очаровательней, и мне показалось, что где-то я видел ее. Она что-то быстро спросила у Виктора. Тот кивнул, и она вдруг обняла меня, прильнула к груди на миг гибким, тонким телом.

— Она узнала тебя, — ответил Виктор на мой вопросительный взгляд.

Женщина отстранилась от меня, крикнула что-то в глубь квартиры по-испански и рукой пригласила нас войти. Из комнаты донеслись мягкие шаги, и появился брат в широкой белой майке. Резко бросились в глаза его худоба, необычная смуглость лица. Жалость, нежность сдавили меня, и я быстро шагнул к нему, намереваясь обнять. Но он выставил ладони навстречу, быстро говоря:

— Осторожней, осторожней! — и сам тихонько обнял меня. Я ощутил сквозь майку бинты, туго стянувшие его грудь. — Как ты здесь оказался?

— Отдохнуть приехал.

— Один? Без Тани? А как ты меня нашел? Почему не звонил?

— Звонил, и не раз, но у тебя глухо, как в танке... Виктору позвонил, он сказал, что ты в больнице. Спасибо ему, встретил меня, привез...— Я говорил нарочно ворчливо и грубовато, чтобы скрыть охватившие меня сентиментальные чувства.

— А как ты телефон Виктора узнал? — недоверчиво смотрел на меня брат, отстранившись.

— Ты же сам дал, еще полгода назад.

— Не помню, не помню... Ну ладно...— Он взглянул на женщину, улыбнулся какой-то незнакомой мне особенно нежной улыбкой и спросил у меня: — Не узнаешь?.. Знакомься... Адела! Моя Кармен! Помнишь Экзит-Палас? Там амур подстрелил меня своей стрелой...

Я не удержался, засмеялся необычным словам аппаратчика уваровского химзавода и вспомнил, увидел на сцене Экзит-Паласа гибкую, тонкую, гордую женщину с грациозно вскинутыми вверх руками, игру ее пальцев, взмах ноги, откидывающей широкое платье, слышал стук кастаньет, прищелкивание каблучков. Валера что-то сказал Аделе по-испански. Она, сияя улыбкой, ответила, быстро произнося слова. Брат перевел мне:

— Она говорит, что сразу узнала тебя по фотографии на твоей книге.

Адела еще что-то сказала и показала рукой на кресла.

— Предлагает сесть. Спрашивает, почему мы стоим... Сейчас она нам вина принесет, бутерброды, а обедать пойдем в ресторан.

— Ты, я смотрю, по-испански всюю шпыхаешь! — похвалил я его. — Я поражен!

— Да нет, так, немного на бытовом уровне. Больше догадываюсь, чем понимаю. Впрочем, испанский не такой уж сложный язык. Когда все время слышишь, быстро понимать начинаешь, а у меня все дни свободны. Работа вечерняя... Учи да учи!

Виктор Нефедов не поехал с нами в ресторан. Мы сели в машину Валеры, новенький «рено-меган». Брат похвастался, что купил ее всего месяц назад. Ни меня, ни Аделу за руль не пустил. Сам сел.

В ресторане Валера с Аделой долго неторопливо читали вслух меню, тихонько переговаривались. И такая сдержанная нежность сквозила в их голосах, что, казалось, они произносили не названия блюд, а говорили друг другу слова любви. На меня они совершенно не обращали внимания, будто бы меня не было. А я невольно любовался ими: так они были хороши! Я не узнавал брата: он резко изменился всего за семь месяцев. В его движениях, осанке, походке появились необыкновенное достоинство, уверенность, что-то аристократически тонкое, благородное, изысканно-неуловимое, не выразимое словом. Вряд ли бы кто признал в нем крестьянского сына. Да и лицом он изменился: загорел под постоянным канарским солнцем, посмуглел, стал суше. Мне вдруг почему-то стало неловко наблюдать за ними, я почувствовал смущение, какой-то стыд, будто невольно подслушал чужую интимную беседу, и отвернулся, стал смотреть вокруг. Ресторан был на набережной, на высоком берегу. Мы сидели на открытой площадке. Слева раскинулся сад из кактусов, разных и по сорту, и по возрасту. Некоторые росли на толстых четырехгранных ножках с раскидистой густой кроной из таких же, как ствол, четырехгранных веток, а другие были похожи на факел, где в центре над острыми, как длинные лезвия кинжалов, густыми листьями полыхали белым пламенем высокие цветы. Чуть дальше высоко тянулись вверх длинные пальмы, серые гладкие и морщинистые стволы которых походили на кожу слона. Внизу был пляж с многочисленными зонтами, с серыми камышовыми крышами, синело море, по которому туда-сюда сновали катера и лодки, оставляя позади себя длинные белые следы. Большой катер тянул за собой на тросе парашют с ярким разноцветным куполом, под которым висел, летел над водой человек.

— Не пробовал ни разу? — спросил Валера, заметив, что я смотрю на парашют.

— Нет...

— А я летал... Здорово...

Вечером мы с Валерой сидели в Экзит-Паласе за столом, неторопливо пили красное вино, смотрели, как Адела на сцене пылает в любовной страсти, и разговаривали.

— Я не писатель, — говорил Валера, — я не могу высказать словами, что я чувствовал, как жил эти семь месяцев, точнее, шесть... Я не сразу с Аделой познакомился... Сказать, что я был счастлив, что я счастлив сейчас, — значит, ничего не сказать. Счастье, наверно, слишком слабое слово, чтобы выразить то, что я чувствую постоянно. С утра до ночи я испытываю одну только радость, с утра до ночи душа моя поет одну песню, одно слово: Адела, Адела, Адела! На разные голоса, на разный мотив, но одно слово: Адела! Эта песня, эта радость заглушают все мои чувства. Я забыл, что такое грусть, печаль, скука. Адела всегда со мной, даже если ее нет рядом. Иногда мне кажется, что я сошел с ума... Ну и пусть, пусть! — говорю я себе... Не помню, кажется, я где-то читал, то ли говорил кто, что любовная страсть — это временное умопомешательство, временное... Но у меня нет большего желания, как жить до конца с этим умопомешательством, чтобы, не дай Бог, я не выздоровел... Раньше со мной никогда подобного не было, я подозревать не мог, что такое бывает. Рассказал бы кто, не поверил... Ты понимаешь меня? Было ли у тебя что-нибудь подобное?

Я кивнул, вспомнив жену, и тихо сказал:

— Было, с Таней...

— Сколько вы уже вместе?

— Скоро пригласим тебя с Аделой на серебряную свадьбу.

— Почему ты ее сюда не взял? — спросил он о Тане.

— Валера, я ведь за тобой приехал...

— Как это?

— Приехал уговаривать, чтоб ты покинул Канары... хотя бы на время...

— Значит, тебе Виктор позвонил...

— Он твой настоящий друг.

— Ну что ж, давай уговаривай, — изменил тон Валера.

— Язык не поворачивается... Впрочем, вы могли бы вместе месячишко пожить в России.

— Где? В Уварове? В моей холостяцкой комнатухе в облупленном семейном общежитии? Ты говоришь, у тебя воображение хорошее: так вот, представь Аделу, — указал он на сцену, — в моем общежитии!

Я засмеялся.

— Прекрасное видение!.. — Потом сказал другим тоном: — Можно в Москве пожить, свозить ее в Питер... Деньги, как я понял, у тебя есть...

— Адела мечтает побывать в России, и я непременно свожу ее туда либо летом, либо осенью, когда будет погода хорошая. А сейчас март, в Москве грязь, слякоть, холод, то снег, то дождь, не мне тебе рассказывать... Какие впечатления оставит у нее Россия?.. Я этого не хочу!

— Но пока Фелипе не поймали, покоя вам не будет. Он не отстанет от вас...

— Ну да, испугался я Фильки, весь дрожу!.. Я его вот этими руками придушу, если он еще раз встретится нам на пути!

...Через день я улетаю. Поплавал в океане, погрелся на песке. Валера с Аделой уговаривали меня еще денька два отдохнуть, но непростые дела в издательстве звали в Москву. В аэропорту я со снисходительной улыбкой замечал их нежные взгляды, которыми они обменивались, прикосновения, блеск ее черных глаз. Каждый раз, когда Адела взглядывала на меня, я почему-то чувствовал смущение, неловкость, словно подсматривал за ними. Мне радостно было видеть их любовь, их счастье — до умиления, до некоторой зависти, и в

то же время беспокойство, тревога за них не покидали меня. Улетал я с грустью, улетал, не зная, что всего через месяц мне придется вновь появиться на этой земле.

Вызвал меня снова Виктор Нефедов. На этот раз говорил он со мной как со старым знакомым, коротко и без обиняков:

— Вылетай, Валера в тюрьме!

— Убил Фелипе!! — обожгло меня.

— Да...

— А Адела? — выдохнул я.

— Ее больше нет...

Не сразу мне разрешили встретиться с братом в тюрьме. Помог консул.

Когда Валеру привели в комнату для свиданий, я не узнал его. Почернел, осунулся, сгорбился, глаза впали, щеки в серой щетине. Куда делись гордая осанка, достоинство? Сплошная тоска, скорбь. Он припал ко мне, худой, легкий, и прошептал:

— Я не сберег ее, не сберег... не защитил... — Спина его задрожала под моими руками.

Я уже знал, как все произошло. Фелипе подстерег их среди бела дня возле ресторана. Когда Валера открыл дверь машины перед Аделой и она наклонилась, чтобы сесть, Фелипе налетел на них неожиданно и ударил ее ножом в левый бок, прямо в сердце. Валера кинулся на него, схватил за горло, сбил с ног. Фелипе пытался воткнуть нож в спину брата, но в предсмертных конвульсиях сумел только порвать сорочку да порезать кожу в нескольких местах. К ним подскочили люди, стали разнимать. Никак не могли оторвать Валеру от Фелипе.

Я обнимал, гладил брата ладонью по спине и приговаривал машинально:

— Ты защитил ее, ты отомстил, ты убил его, ты поступил, как мужчина, ты защитил ее...

Что я еще мог сказать, чем утешить его?

Когда мы прощались, я сказал ему:

— Я горжусь тобой, брат!

Суд оправдал его, посчитал, что Валера, защищаясь, не превысил предела самообороны. Однако вида на жительство в Испании его лишили, отправили в Россию...

С тех пор прошло три года. Химзавод в Уварове так и не пустили. Но Валеру больше это не заботит: ему недавно стукнуло пятьдесят лет, и он оформил пенсию, так как всю жизнь работал на вредном производстве. Живет он все лето в деревне, с мамой. Каждое утро и вечер ходит на рыбалку, сидит часами с удочкой на берегу. Когда бываю в Масловке, я тоже хожу с ним на речку. Сидим мы молча, не разговариваем. Я смотрю на брата, на этого начинающего сутулиться деревенского мужика, с седеющими редющими волосами, в старой, засаленной телогрейке, в старых резиновых сапогах — на утренней зорьке прохладно на берегу, — смотрю и думаю: «Неужели этот человек на далеких Канарских островах на коне, в рыцарских доспехах, с мечом и щитом в руках сражался в замке на турнирах под восторженные крики зрителей? Неужели в этой груди кипели средневековые испанские страсти? Неужели эти заскорузлые теперь мужицкие руки обнимали, ласкали небесной красоты женщину? Разве этому кто-нибудь поверит? А верит ли он сам, помнит ли Аделу?» И я решил поговорить об этом, спросил сначала о чем-то постороннем, чтобы завести разговор, но он грубовато прервал меня:

— Тише, рыбу распугаешь!

А после того, как минут через десять он вытащил удочку из воды с голым крючком и обратился ко мне не глядя, нежно: «Адела, подай червячка!» — и смутился, сам потянулся к консервной банке с червями, после этого я больше никогда не пытался заговорить с ним о Канарах.

АЛЕН ДЕЛОН

В Тамбове в то лето было жарко, солнечно, безветренно. Городские тополя тихонько роняли пух. Он толстым воздушным слоем лежал повсюду: на тротуарах, на газонах, во дворах. Пушинки летали по воздуху, набивались в волосы, лезли в нос, залетали в открытые окна педагогического института, где я тогда учился. Я никогда прежде не видел столько пуха, и мне было весело гулять по улицам.

Помнится, в ту свою первую экзаменационную сессию в институте я был особенно счастлив. Сбылась моя многолетняя мечта: я студент. Сидеть в аудитории, слушать лекции казалось мне необыкновенным счастьем. Само слово «аудитория» для меня, деревенского парня, звучало возвышенно, как-то не по-земному. Я чувствовал себя приобщенным к чему-то высшему, что сделает мою жизнь в будущем такой, о которой я мечтал в Масловке долгими деревенскими вечерами. Совсем близкое, казалось бы, время, проведенное мной в колонии, в армии, быстро забылось, казалось нереальным, сном или вычитанным в книге. Не было этого со мной. Не было судов, не было слез матери, не было зек в душевных камерах, не было тоски и отчаяния, не было мыслей о пропавшей жизни. В Тамбове мне все нравилось, все вызывало любовь и восхищение — и мягкий от жары тротуар, весь истыканный женскими каблучками, и высокая пыльно-серая железная решетка забора вокруг здания института, и пыльные листья кустов сирени во дворе, и массивные желтые колонны с потрескавшейся штукатуркой у входа в институт, и чугунная лестница на второй этаж, и поскрипывающие при каждом шаге темно-коричневые клепки паркета в широком коридоре. Все дни сессии я был в приподнятом настроении, в постоянном радостном возбуждении, много шутил. И стихи, которые я тогда писал, получались глуповато-восторженными. Я читал их Люсе Безиной, студентке третьего курса. Раньше мы с ней учились в одной школе, родом она из соседней деревни, но была старше меня и в те дни готовилась к свадьбе со своим одноклассником. Так что читал я ей стихи бескорыстно, по-дружески. Люся слушала, посмеивалась, глядя на мое сияющее лицо с блестящими глазами. Вероятно, она понимала мое состояние, понимала, что к третьему курсу оно переменится: лекции станут скучны, тополиный пух начнет раздражать, а пыль будет просто пылью. В те дни я еще сторонился своих однокурсниц. Ребят на первом курсе филологического факультета не было: поступили в том году сто четыре девчонки и один я.

Как говорится в народе: горе не требует общения, но ты не можешь радоваться, если тебе не с кем поделиться. А в том моем настроении я не мог долго находиться один и частенько забегал к Люсе. Квартировала она у дворничихи тети Маши, которая жила в подвале пединститута в двух тесных комнатах с четырнадцатилетней дочерью Викой. Обе комнаты были заставлены старой темной мебелью так, что в них ходить можно было только боком. В первой, проходной, возле окна в углу за столом была узкая тахта, на которой ночью спала Люся. Маленькое окно под самым потолком было зарешечено снаружи, и виден был край тротуара и далекое чуть голубоватое небо. Окошко мне всегда напоминало тюремное окно, и я старался не смотреть на него, чтобы не разрушать свое восторженное, счастливое состояние неприятными воспоминаниями. Тетя Маша, маленькая, всегда чем-то озабоченная женщина, как только я появлялся, сразу ставила чайник на газовую плиту, а если была чем-то занята, говорила дочери:

— Вика, поставь чайник, угости человека!

— Ты тете Маше нравишься,— говорила мне не раз Люся.

— Она мне тоже нравится. Хорошая женщина, спокойная, добрая,— отвечал я легко, не задумываясь, и тут же забывал о тете Маше. Она никогда не принимала участия в наших разговорах, не пила с нами чай, ни разу не сидела с нами за столом. Говорили мы о лекциях, об учебниках, о литературе, о стихах. Обо всем, что тете Маше было чуждо, далеко и неинтересно.

Зато ее дочь Вика частенько пила с нами чай, слушала нас, как я видел, с большим интересом. И это мне нравилось. Бывало, при ней я становился особенно говорлив, остроумен, как мне казалось тогда, сыпал шутками, поддевал Вику. Она, по-детски рдея щеками, смеялась, а Люся улыбалась, смотрела на меня, как на невинно расшалившегося младшего брата.

— Какой красавицей вырастет Вика! — сказал я однажды Люсе.

— Она и теперь хороша...

— Ну да... — согласился я и вдруг вспомнил, как в первый раз увидел ее.

Тогда я впервые забежал к Люсе, и Вика выглянула на миг из своей комнаты, чтобы посмотреть, кто пришел. На улице было жарко, а в подвальных комнатах свежо, и, как мне показалось, этой свежестью пахнуло от девчонки, от всей ее по-детски угловатой фигуры в зеленом сарафане, от светлых, почти белых, волос, от зеленых глаз, блеснувших мне навстречу. Она появилась в проеме двери, словно зеленый кузнечик из-за листа, и тут же бесшумно исчезла, обдав меня прохладой. Она исчезла, а прохлада осталась.

— Кто это? Что за кузнечик? — спросил я тогда.

— Хозяйкина дочь...

Я сразу забыл о ней, начал говорить о своих первых впечатлениях от лекций, от учебы. Я уже говорил, что восторг распирает меня. Потом читал Люсе свои новые стихи, рассказал, что в последние дни не дает мне покоя один сюжет, который в стихах мне не осилить, хочется писать прозу. Помнится, в этот же день я похвастался, что наша районная газета напечатала мой небольшой очерк о мастере сахарного завода. О Вике я ни разу не вспомнил, но ощущение свежести, прохлады, какой-то удивительно чистой прелести, помню, не покидало меня. И ее не было слышно во время всего нашего разговора. Чем она занималась? Читала книгу или слушала нас? Не знаю. Дверь в ее комнату все время была открыта.

Да, Вика, несмотря на свои четырнадцать лет, была удивительно хороша. И всегда мне напоминала пугливого кузнечика, хотя, как потом я разглядел за частыми чаепитиями, она была не столь угловата, как мне сперва показалось. Руки, плечи, колени у нее начали трогательно округляться, становились женственными. Поставив чайник на плиту, она, гибко и как-то грациозно изогнув стан, села за стол на тахту. У нас у каждого вскоре появилось свое постоянное место за столом. У Люси с Викторией на тахте, у меня на табуретке напротив. Вика слушала нас, изредка отхлебывала чай из тонкой чашечки и, я обратил внимание, тихо опустив чашку на стол, часто взглядывала на меня. Вначале робко, потом все смелее. Все чаще стала вступать в разговор с нами, смеяться, шутить. Кажется, за столом она никогда не выпускала из руки чайную ложку, постоянно играла ею своими по-детски хрупкими, тонкими пальцами с длинными ногтями, поблескивающими перламутром. Особенно трогательно было смотреть на ее крашенные ногти. «Играет во взрослую женщину!» — с усмешкой думал я. Мне, прошедшему, как я считал тогда, и Крым, и Рим, и тюрьму, и армию, она казалась ребенком. Так я к ней и относился.

Однажды я, как обычно, после лекций заглянул к Люсе. Вика поставила чайник на плиту, я принес торт. За столом мы заговорили о французском фильме «Черный тюльпан», поставленном по роману Александра Дюма, в котором главную роль играл мужественный, энергичный красавец, любимец женщин Ален Делон. Он еще был мало знаком русским зрителям, и о нем говорили в провинции как о свежем человеке на экране. Фильм в Тамбове шел первые дни. Люся его уже посмотрела, а я пока не видел, но собирался сходить в кинотеатр. Поговорив о Делоне, мы перевели разговор на привычные темы. Помнится, я был особенно болтлив в тот день, шутил с Викторией. Она, как равная, отвечала на мои шутки, хохотала задорно. Помню, была она тогда необыкновенно красива, очаровательна своим наивным кокетством. Я, видимо, распустил перья сильнее обычного, так что Люся, смеясь, сказала мне:

— Ну ты сегодня и разошелся, подделониваешься страсть как!

— Это Вика виновата,— отвечал я игриво.— Это она меня раззадорила!

И продолжал балагурить, заигрывать с девчонкой, относясь к ней в душе, как к пятилетнему ребенку. В конце концов, уходя, я внешне серьезным тоном сказал, считая, что Вика понимает, что я шучу:

— Значит, так! Два часа тебе на сборы, я захожу за тобой, и мы идем на Ален Делона!

В тот вечер я посмотрел «Черный тюльпан», конечно, один.

На другой день Люся встретила меня в коридоре института между лекциями и спросила удивленно:

— Ты почему обидел Вику?

— Когда?

— Вчера. Назначил свидание и не пришел!

Я вспомнил вчерашние шутки, свое приглашение и сначала подумал, что Люся решила подколоть меня. Но она смотрела серьезно, ждала ответа.

— Ты что? Какое свидание с ребенком? Я шутил... У меня и мысли не было идти с ней в кино...— чувствуя непонятную тревогу, стал оправдываться я.

— Видел бы ты, как она собиралась, как ждала тебя, не спускала глаз с часов! — с горечью и жалостью в голосе сказала Люся.

— Не может быть,— прошептал я ошеломленный.

— Когда я ей сказала, что ты пошутил, она даже не белой стала, а серой какой-то, онемела, ушла к себе и всю ночь проплакала!

— Не может быть,— повторил я еще тише.

— Ты разве не догадывался, что она влюблена в тебя? Иди извинись, она все простит сразу... будет счастлива...

— Я не готов...— покачал я головой. Я был поражен, потрясен, оглушен. Истуканом стоял посреди коридора, не слыша громкого звонка, приглашающего на очередную лекцию.

— Ну и дурак! — с огорчением кинула мне Люся и ушла в аудиторию.

Ночью я не спал, думал. Противоположные чувства сменялись в моей душе: от гнусной мальчишеской гордости, что меня полюбила такая прелестная девчонка, льет слезы из-за меня, не спит ночами, до нестерпимой жалости к Вике, до сильнейшей печали, даже тоски, до жгучего стыда. Я не готов был принять любовь. Я понимал, что она потребует от меня жертв, изменений планов, всего строя намеченной жизни. Просто поиграть в любовь, покружить голову юной девчонке я не мог, не хотел. В мыслях этого не было.

Больше к Люсе я не ходил.

Чего я испугался? Самого себя? Высоты первой любви? Неизбежных страданий? Чем закончились бы наши отношения? Скорым разочарованием взрослеющей влюбленной девчонки? А может быть, долгим счастьем? Кто скажет, кто знает?

Вскоре закончилась экзаменационная сессия, я вернулся в деревню. А когда через год снова приехал в Тамбов, в институт, узнал, что тетя Маша получила квартиру где-то на окраине города.

Никто не догадывался, как мне грустно и стыдно становилось все пять лет учебы, когда взгляд мой падал на вход в подвал, где жила когда-то влюбленная в меня девчонка, любви которой я оказался не достоин.

СКОРО СВИДИМСЯ

Эту весть принесла соседка. Она вошла в избу, когда старики Кирюшины обедали. Вошла и сказала, как обухом оглоушила:

— Маруся Грачева померла!

Старик замер, медленно положил ложку на стол и повернул свою седую голову с редкими волосами к двери, где стояла соседка, такая же старуха, в длинном широком непонятного цвета от старости платье и в таком же засти-

ранном платке. Морщинистое лицо старика, словно покрытое инеем от недельной щетины, выражало недоумение, недоверие, скрытую тревогу и боль, как от неожиданного удара. Увидев, что и соседка, и его старуха смотрят на него: одна с любопытством, другая тревожно, будто опасаясь, как бы он чего не выкинул неожиданного, — старик молча отвернулся к тарелке, взял ложку и зачерпнул щи. Но проглотить никак не мог, словно кто глотку заткнул. Он долго гонял щи во рту, хоть назад выливай, мучился, слушая, как жена выдавила из себя, спросила:

— Када?

Старик понял, что она сдерживает радость, и подумал про себя со злостью, раздражением и какой-то ненавистью: «Дура! Дура!»

— Нонча, в Уварове, в больнице. Лизка, дочь, туда ее брала...

— Хоронить тут будут, ай там, в Уварове, место найдут?

Старик медленно цедил щи и думал, что жена нарочно спрашивает это, чтобы отравить ему душу: вот дура! До смерти не поумнеет!

— Тута, конечно! К мужу положат... А там кому она нужна? Она сама это детям наказывала. Тута и отпевать будут... Ты пойдешь?

— Погляжу... как ноги ходить будут. На тот конец не ближний свет...

— Я тада зайду за тобой.

— Ладно...

После обеда старик молча взял кепку и вышел на улицу. Там было душновато после вчерашнего дождя, палило солнце. Лужа возле избы уже высохла. Трава, омытая дождем, ярко зеленела. С конца огорода из ветел на берегу речки доносился шум грачей. Тревожно трещала сорока в саду, обеспокоенная чем-то. В темном небе застыли редкие чистые облака, и тени от них были разбросаны темными пятнами на бугре по полю с выколашивающейся рожью. Но старик не замечал ни облаков, ни яблонь в саду с яркой после дождя листвой и с матовыми зелеными яблоками, не слышал ни грачей, ни сороки, ни ровного гула пчел, брел по меже, сторбившись, заложив руки за спину. Не услышал он и голоса соседки, которая в том же самом платье неопределенного цвета полола тяпкой лук на своем огороде в пяти шагах от него.

— Парит как, — сказала она, разгибаясь и опираясь обеими руками на черенок тяпки. — Опять дождь польет... Погляди, как сор за ночь вылез, всю землю усеял...

Но старик даже не взглянул на нее, прошел мимо. Он был сейчас далеко, в тридцатом году, видел себя молодым, двадцатилетним, видел Марусю зимой на посиделках у Морозихи, раскрасневшуюся от игры, с блестящими глазами. Видел ее весной на лугу среди подруг, быструю, юркую, и вдруг слышал ее смех, тот таинственный восхитительный смех, каким смеются девочки только весенней лунной ночью, слышал так явственно, что сердце захолонуло, и старик оглянулся на соседку: не услышала ли она? Но старуха, согнувшись, ритмично, как машина, тяпала землю.

Старик пошел дальше, не замечая, что тихо постанывает в такт шагам. И снова он увидел тот страшный, горький день, увидел молчаливую толпу масловских мужиков и баб возле избы Поляковых. Даже мальчишки не бегали, стояли у телеги с узлами. Увидел возле крыльца сурового полномоченного из уезда, молодого, коренастого, с широким и злым лицом. Он покрикивал, торопил сборы. Рядом с ним хмурый Ванька Субочев, председатель недавно созданного колхоза. Увидел себя, дрожащего от нетерпения и страха перед решительным шагом, увидел, как кинулся к крыльцу, когда из сеней появился хозяин избы, теперь бывший, Максим Поляков, как всегда, решительный, энергичный, не сломленный, но сильно мрачный. За ним жена его с мокрым от слез лицом, а следом испуганная Маруся с такими же, как у матери, блестящими мокрыми щеками. Когда он бросился к ним, уполно-

моченный грубо схватил его за рукав, остановил, оттолкнул от крыльца, крикнул:

— Куда? Освободи проход!

На телегу первой полезла мать, но замешкалась, руки дрожали. Максим помог ей, посадил, быстро втолкнул на узлы. Сам задом вспрыгнул на телегу, уселся на грядущку, свесив ноги в сапогах. И в этот миг старик, в то время двадцатилетний парень, подлетел у всех на глазах к Марусе, дрожа, схватил ее за руку, заговорил, захлебываясь:

— Маруся, выходи за меня замуж! Тебя оставят, не отправят... Выходи! — Он с отчаянием глядел в ее заплаканные глаза.

— Это правда? — с надеждой выдохнула, взглянула на уполномоченного мать.

— Семейных детей мы не раскулачиваем, не положено... С них свой спрос, — буркнул уполномоченный. — Решайте поскорей!

И мать, и Маруся повернулись к отцу. Вся деревня ждала ответа.

— Максим Петрович, — кинулся он тогда к отцу, — отдайте Марусю...

— Неча! — быстро и строго бросил Поляков и глянул на дочь. — Пропадешь ты с ним, у них вся порода непутевая! И в Казакстане люди живут. И там счастье свое обретаем... Влезай! — ухватил он дочь за руку, резко вздернул на телегу. — Трогай! — крикнул красноармейцу, сидевшему впереди с вожжами в руке. — Неча слезы пущать, пригодятся в Казакстане...

Старик спустился к реке, спугнув лягушку, которая с шумом блякнула в воду, мгновенно вынырнула на поверхность метрах в двух от берега и застыла, широко расставив задние лапки. Неторопливо поползли, расширяясь, круги по озерку. Старик сел на высокий пенек от ветлы, на котором он часенько сиживал с удочкой. Он смотрел на тихую воду, на распластанную, словно мертвую, лягушку и вспоминал дальше. Отец его тогда сильно отругал за этот позор перед всей деревней. Мол, жениться захотел — найдем невесту. И нашел. Но жених уперся, не хотел идти свататься, твердил: Маруся вернется!

— Оттуда не возвращаются! — сердился отец. — Вон Черкасовых да Бердиновых увезли в двадцать первом за Антонова, и где они? Девять лет ни от кого ни слуху ни духу. А семьи какие большие были! За столько лет кто-нибудь да объявился бы. Нету! Это только говорится — в Казакстан! До первого оврага довезут, там и закопают. Давно гниют косточки твоей Маруси...

Сдался он, женился зимой, а летом Маруся объявилась, пришла пешком, стала жить у брата. Узнав об этом, он вскочил на коня, даже не оседлав его, поскакал к ней, влетел в избу. Она пол мыла, увидела его, выпрямилась с тряпкой в руке. Грязная вода полилась на пол, делая лужу.

— Нет, Вася, — качала она головой в ответ на его слова, смотрела ему в глаза, говорила с тоской: — Не буду я рушить твою семью... Слыхала я, жена твоя беременна, живи! А я буду папаню с маманей ждать... Уходи, не мучай!

А вечером разъяренный отец вытащил его в катух, чтоб люди не видели, схватил вожжи и давай охаживать по спине, лечить от дури.

Немного погодя вернулась ее мать, а сам Максим Поляков сгинул в казахских степях навсегда. Через год Маруся вышла замуж за масловского парня и сразу же завербовалась вместе с ним строить Москву. Там у них родилась дочь.

А потом война. Старик воевал, не знал, что Маруся с дочерью вернулись в Масловку, узнал только в сорок пятом, когда пришел с фронта. От мужа ее всю войну не было вестей, ни писем, ни похоронки, ни извещения, что пропал без вести. А он по-прежнему не мог спокойно видеть Марусю ни в поле, ни на току. Вспомнилось, как решился однажды, улучил момент, когда Маруся одна была возле веялки за синеватым ворохом ржи, подошел к ней, заговорил жарко под стук веялки, вытирая мокрый от пота и пыльный лоб:

— Маруся, я не могу жить без тебя! Я брошу все, перейду к тебе сегодня же, только шепни... только улыбнись, Маруся!

Она не глядела на него, подгребала рожь деревянной лопатой с медово отполированным ее руками черенком под бесконечную бегущую ленту транспортера, слушала, потом вздохнула:

— А если муж вернется? Куда ему идти?.. И как мы среди людей будем жить? Глаза не полопаются?

Его жена снова забеременела, а тут слух прошел, что Марусе письмо пришло от мужа из госпиталя: ранен он тяжело! Ближе к осени появился ее муж, хромой, худой, черный, с язвой. В Москву они не поехали, остались в Масловке. Но прожил муж Маруси недолго, лет десять, умер от язвы, успев за эти годы родить еще четверых детей. Да и жена старика не терялась, к сыну-первенцу трех девок прибавила.

Когда умер муж Маруси, старик был бригадиром. Положено было ему по избам ходить, людей на работу звать. Живо вспомнилось, как месяца через два после смерти ее мужа зашел к Марусе в избу ранним утром. Она была одна, дети еще спали. Он, не помня себя, упал вдруг на колени перед ней, обхватил ее ноги, зашептал:

— Маруся, прими меня, прими! Я сейчас же останусь!

Она не оттолкнула, не вырвалась, стояла, перебирала руками волосы на его голове и говорила:

— Седой ты весь, Вася, а все, как мальчик... В зеркало посмотри да на меня глянь... Щеки мои впали, серые, один нос на лице остался...

— Гляжу я на тебя, каждый день гляжу! И ночами ты из глаз моих не уходишь... — шептал он, прижимаясь к ее животу.

— А детей мы куда денем? У меня пятеро да у тебя четверо... В кучу соберем?.. Эх, если бы ты, Вася, не спрашивал тогда ни меня, ни отца, схватил бы меня коршуном — да в толпу... Эх! Или потом, када прискакал, без слов кинул бы на коня, и хоть в омут... А теперь чего уж... жизнь прожита... Мертвых с погоста не носят... Встань, а то дети проснутся...

— Ты чего это без удочки сидишь? — услышал старик сзади голос мужика, маленького, но крепкого, с сухим загорелым лицом, по-уличному звали его Буржуй. Он был с удочкой.

— Сижу, отдыхаю... Тишина... — неопределенно ответил старик.

— Ну да, тишина. Грачи орут, как сволочи!

— Схожу и я за удочкой, — поднялся, горбатясь, старик.

— Ты слышал, Марусяка померла?

— Что поделаешь? — Он старался говорить равнодушно. — Старикам положено уходить. Ее время пришло...

— Что-то у тебя глаза слезиться стали? — глядел на него Буржуй.

— Поживешь с мое, и у тебя слезиться начнут. — Держась за ветки, старик выбрался наверх, чувствуя страшную тоску в груди. Ноги у него дрожали, и в желудке покалывало, ныло.

Хоронить Марусю и на поминки старик не пошел. Он никогда не ходил на частые теперь похороны, а тут явится! Люди сразу задумаются, поймут, почему приполз, обсуждать начнут. Ни к чему! Но в основном он не пошел из-за того, что не хотел видеть Марусю в гробу, мертвой, чтоб она всегда была перед ним живая.

Старуха, жена его, собираясь на похороны, спросила с нескрываемой ехидцей в голосе:

— Пойдешь, что ль, попрощаться... с любовью?

— Ступай! — рявкнул он. — А то щас палкой по горбу!

Оставшись один, достал с полки початую бутылку водки, налил в стакан, подержал его в руке, думая: до встречи, Маруся! Скоро свидимся! Выпил и долго сидел, вспоминал, как совсем недавно встретил он Марусю на кладбище. Там,

как всегда на Пасху, было многолюдно, празднично. Все приехали семьями, с крашеными яйцами, с конфетами, с водкой, чтоб помянуть близких. И он, и Маруся были с детьми, успевшими поседеть, полысеть, с внуками. Место на кладбище у Грачевых и Кирюшиных было рядом, оградки могил соприкасались. Когда их дети и внуки помянули родных, по традиции покатали на их могилах яйца и разбрелись по кладбищу, ушли к могилам друзей и дальних родственников, они остались с Марусей вдвоем. Старик сказал ей тихо, указывая на край ограды возле холмика могилы ее мужа:

— Ты, должно быть, вот тут ляжешь!

— Тута, больше негде...

— А я здесь,— указал старик на место рядом, только по другую сторону оградки,— возле папани... Выходит, мы хоть тут будем лежать рядышком... неразлучны...

— Ох, дед, ты опять за свое, опять вспомнил? — засмеялась она, и в смехе ее почудились ему нотки, которые он слышал той лунной весенней ночью больше шестидесяти лет назад.

— Я не забывал никогда! — ответил он слишком серьезно и добавил с тоской: — Пропала жизнь!

— Чой-та пропала? Дети вон, смотри, какие у нас хорошие... Вырастили... Внуков повидали, понянчили... А ты говоришь, пропала...

Сказала и заплакала вдруг горько, неостановимо, так, что ему пришлось успокаивать ее, прижимая к своей груди и поглаживая по худой, сутулой спине.



Владимир КАЧАН

Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка...

СВОБОДНОЕ СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ*

Райтер-Задорнов

Настоящая фамилия Михаила Задорнова — Райтер... Ну-ну, расслабьтесь, господа сионисты и, наоборот, антисемиты: это всего лишь шутка, имеющая, однако, реальную жизненную почву.

Однажды на съемках одной ТВ-передачи о книгах, которая осуществлялась почему-то в ресторане, к Задорнову подошла хозяйка этого заведения, крутая дама лет сорока — шестидесяти, улыбнулась, сверкая всем золотом своих зубов, и попросила автограф. У Михаила ничего не было с собой, кроме визитной карточки, отпечатанной с одной стороны на английском языке. На этой стороне он и расписался.

— А что тут написано? — спросила крутая дама, желая хоть ненадолго продлить знакомство с кумиром своих телегрез.

— А-а, тут по-английски, — рассеянно глядя по сторонам, сказал Михаил.

— А что по-английски? — кокетливо брякнула золотой (опять же) цепью дама.

— Ну... Задорнов, райтер...

Дама оцепенела.

— Как Райтер? — потрясенно прошептала она.

— Вот так. Райтер. Писатель, значит.

— Я понимаю, что писатель. Кто ж не знает, что вы писатель. Но простите... ваша настоящая фамилия — Райтер? — Тут она совсем перешла на шепот, вероятно, чувствуя себя сейчас резидентом, напавшим случайно на важную государственную тайну. Она округлившимися глазами таращилась на Задорнова, а затем, быстро оглянувшись, напряженно и тревожно спросила:

— Вы еврей?..

— Да нет же, — терпеливо объяснял тот, — «райтер» по-английски — писатель. Вот тут так и написано: «Zadornov. Writer».

Но дама, распираемая изнутри сенсацией, понимать не желала. «Шо, я не понимаю? — сияло на ее счастливом лице. — Мы ж свои люди. Задорнов — это для конспирации, а Райтер — это настоящее».

— Так вы не еврей? — уточнила она с лукавством, означавшим, что, мол, меня вы можете не стесняться, говорите, что вы эскимос, я поверю.

Задорнов уже начинал злиться, и она это увидела.

— А выглядите вы все равно хорошо, — сказала она и отошла.

Михаил только руками развел. «Никогда наша страна не оскудеет идиотами», — вспомнили мы тогда фразу Александра Иванова, ведущего телепередачи

* Окончание. Начало см. «Октябрь» № 4 с. г.

«Вокруг смеха», с которой началась задорновская слава. Наши идиоты и их идиотства — питательная среда для всех писателей-сатириков, и Задорнов тут не исключение. Но он умеет все эти идиотства подмечать и выявлять так, как мало кто умеет, поэтому его слава заслужена и персонифицирована: его интонации, его сарказм ни с чем не спутаешь. Как никто он умеет сделать из политика болвана (впрочем, и наоборот тоже); и совсем не случайно его слава достигла апогея именно в тот момент, когда наша знаменитая перестройка достигла, в свою очередь, абсурда. Он этот абсурд угадал чуть раньше, чем тот фактически состоялся. Это, кстати, у него часто бывает. «Прогноз» Задорнова часто сбывается, и это даже несколько страшновато. А в пик абсурда перестройки он увенчал его, как елку верхушкой, своим поздравлением с Новым годом всего постсоветского народа. В полночь. Вместо президента. По телевизору и радио, под бой кремлевских курантов.

— Страна дошла, — шутил он тогда, — сатирик вместо президента.

Однако не дошла. Все доходит и доходит... При чем веками. И это — неисчерпаемый источник вдохновения нашего героя.

Вообще президентам от него достается сильно: и старым, и новым, и, моему, даже будущим; причем тогда, когда это вроде как нельзя и, уж во всяком случае, опасно.

Это потом редко кто не пинал М. С. Горбачева, не понимая, что служит живой иллюстрацией к басне Крылова о поверженном льве и об осле, который с наслаждением вчерашнего раба его лягает. Однако, пока он был не повержен, пародисты и сатирики язвили и пародировали только по своим кухням, а Задорнов уже делал это на огромных концертных площадках, о чем, наверное, жалеет сейчас, ибо Михаил Сергеевич выглядит сегодня рафинированным интеллигентом по сравнению с некоторыми действующими императорами политики и экономики. Ну что же, над ними он смеется сейчас, и опять, как правило, начинает это первым, а все остальные собраты по цеху уже потом легко скользят по проторенной им, Задорновым, лыжне. В нем есть и отвага, и злость.

Мне известны все раздражения и недовольства по его поводу со стороны некоторых патриотов «чистого» искусства и литературы. Я слышал от них, что он, мол, работает на потребу публике, что временами опускается до пошлости и т. д. и т. п. У меня только одно возражение: эта «публика» составляет сейчас 99% населения, и надо это признать, успокоиться и перестать кичиться тем, что ты наслаждаешься музыкой Шнитке и перечитываешь ночами Шопенгауэра. И для этих 99% кто-то должен что-то делать. Правда, тут есть нюанс...

Если уж ты заставил слушать себя всю эту публику всеми средствами, имеющимися в твоём распоряжении, даже животным хохотом над сомнительными шутками, дальше ты не имеешь права не делать хотя бы попыток лечения их вкуса и нравственности; не имеешь права продолжать кормить их *только* тем эстрадным попкорном, к которому они уже привыкли и глотают не разжевывая.

Так вот, Задорнов эти попытки делает. В каждом его концерте есть два-три момента, когда он всех подводит к зеркалу и заставляет посмотреть на себя если не с отвращением, то с испугом. Можно винить все и всех вокруг, но это путь тупиковый. Надо учиться спрашивать с себя. И он эту простую, но крайне важную мысль старается постоянно внушить залу, который с изумительным даже для русского человека мазохизмом ржет над тем, что он глуп, жаден, необразован и бессовестен. Что вы думаете, Задорнов не знает, где он заигрывает с залом? Знает, уверяю вас, он ведь дома Толстого читает, а не Маринину, но он большой хитрец и хорошо понимает, что с этой публикой разговаривать на санскрите бессмысленно; им надо по-русски и так, чтобы они хоть что-нибудь поняли.

Кроме того... Внимание! Сейчас я открою вам одну страшную тайну, но это будет строго между нами: Задорнов сентиментален. Только тайной склон-

ностью к сентименту можно объяснить ту самую встречу с одноклассниками, которую он организовал. А весь его цинизм — это не только отрезвляющий душ для лоха, но и горькая, проверенная опытом убежденность в том, что патриотический пафос наших руководителей, бесконечные вскрики о том, что надо в очередной раз спасти Россию,— блеф и прикрытие. Задорнов знает, что спасать надо себя, каждому, персонально; он знает и не понаслышке, что всякая большая политика — это как раз и есть настоящий, беспредельный цинизм; а его личный цинизм заключается в единственном правиле, которым он руководствуется и которое его никогда не подводило. Что бы ни произошло вокруг, Задорнов ищет ответ на простой вопрос: где бабки? У кого и в чем денежный интерес, кто в результате хапнет: войны ли это в Чечне или Югославии, финансовый ли кризис или смена правительства — Задорнов задает себе вопрос: «Кому выгодно? кто хапнет?» — и, как правило, находит на него ответ. При этом мало кому известно, что у Задорнова есть простые и совсем невеселые рассказы о нашей жизни, не содержащие ни одной эстрадной репризы, и что они до сих пор мирно лежат в ящике его письменного стола. Читает со сцены он совсем другое, популярность зарабатывает совсем другим и побавляется, что вдруг кто-то обнаружит его добрым и нежным. Если это кто-то из близких и заметит, он смущается и быстро меняет тон или переводит разговор в совершенно другое русло. Нежность и цинизм, лирика и холодная жесткость, сонет и фельетон, красный перец с тортом, Онегин и Ленский в *одном* лице — вот двуликий портрет Задорнова.

Его телевизионный образ и лирическая суть однажды комично столкнулись на Пасху несколько лет тому назад. «Пойдем на Крестный ход», — однажды предложил он, и мы пошли. Семьями. Пошли к храму в центре, на улице Неждановой. Когда подошли, у него тут же родилась первая фраза юмористического рассказа: «На Крестный ход собралась вся тусовка». И действительно, кого там только не было, кто только не почтил своим присутствием воскрешение Спасителя! Народу было — тьма!

Религия в тот год входила в моду. Наши новые предприниматели стали регулярно посещать церкви. Не только в праздники, но и в будни. С охапками самых толстых и дорогих свечей они металась от иконы к иконе и перекрикивались между собой, как на базаре, внося в почтительную и интимную тишину храма чужое и непривычное. Черные кожаные куртки и спортивные штаны были для них почти униформой.

— Эй, Руслан, Руслан! — кричала из-под алтаря одна кожаная куртка другой. — Где *ему-то* поставить?

— Чего поставить? — громко отвечал Руслан, подтягивая спортивные штаны у иконы Божьей Матери.

— Да, свечи, ё... твою мать. Извините. — Последнее — то ли иконе, то ли людям вокруг.

— Щас узнаем! Командир, — это уже проходящему мимо человеку в рясе, — командир, где, это самое, ну, поставить?

— Кому? — кротко улыбается священник.

— Ну кому-кому. Самому!

— Спасителю? — догадывается тот.

— Во-во, ему!

Священник показывает, и они водружают куда надо свои толстые свечи, гася и выбрасывая маленькие, которые им мешают, и даже их свечи кажутся какими-то наглыми и беспардонными. Продает же церковь свечи и за три рубля, и за пятьдесят рублей, хотя перед Богом все равны. Но кожаная братва об этом равенстве не знает, они думают, что если Ему поставить самые дорогие свечи, то Он это оценит и простит то, что им там надо простить. Хотя они не прощения

просят, они просят другое — успеха в своих делах, относясь к Богу, как к таможене, с которой всегда можно договориться.

Да, посетить церковь тогда стало так же жизненно важно, как демонстрацию новой зимней коллекции Валентина Юдашкина, а еще лучше — посетить *престижную* церковь, в которой появляются первые лица страны вместе с патриархом. Надо было не святиться в церкви, а светиться, засвечиваться, чтобы тебя там все видели время от времени. И похоже, что всю эту фантазмагорию, всю эту пародию на самое себя наша сегодняшняя церковь заслужила, да и мы, конечно, вместе с ней. Поэтому и мелкое событие перед не самым, но все-таки вполне престижным храмом на улице Неждановой обрело черты пародийности, тем более что центральной фигурой этого события был Михаил Задорнов.

Итак, мы стоим в центре действительно тусовки. И Юдашкин, с которым наш герой знаком, — тут же. А рядом стоят, видимо, несколько его моделей в длинных платьях «от купюр» (эту полную изыщества оговорку я придумал специально для вас). Вся прилегающая к церкви территория забита «мерседесами», «ауди», «вольво» и прочими средствами передвижения наших бизнесменов. Сами они, разумеется, тоже тут. И телохранители их, а как же! У всех сотовые телефоны, кое-кто по ним разговаривает: праздник праздником, но и дела не стоят: пропустишь пару звонков сегодня — завтра пропустишь пару миллионов, уйдут в другие руки. Поэтому жизнь кипит!

А Крестный ход между тем начался. В шествии вокруг церкви, со свечами в руках узнаваемые лица известных актеров, политических обозревателей центрального ТВ и даже членов Государственной Думы. Они приветливо здороваются со всеми, кого узнают в толпе, как и на любом светском приеме. И только льющийся сверху перезвон колоколов напоминает о том, чей все-таки сегодня день.

Возле нашей группы топчется уже довольно долго пожилой нищий, совсем пьяный. Задорнов достает бумажник и вынимает оттуда пятьдесят тысяч — самая крупная купюра в то время. Быстро сует ее нищему и говорит: «На. Ну все. Иди, иди». Без брезгливости, а я бы даже сказал, с этакой суровой жалостью Салтыкова-Щедрина нашего времени. Нищий не уходит, держит бумажку обеими руками, догадываясь, что это много, и еще не веря своему счастью. «Ну иди, давай, иди, — опять повторяет Миша. — Больше нету. Иди». Да какой там — больше! Нищий глядит на купюру и различает на ней цифры. Ясно, что никто и никогда ему столько не подавал, и он, потрясенный, начинает медленно поднимать глаза от банкноты к лицу подавшего, чтобы посмотреть, что за благодетель такой отыскался и тут... узнает. Задорнова в это время по телевизору — столько, что если он, телевизор, у нищего есть, то не узнать сейчас сатирика, даже будучи пьяным в хлам, невозможно. А телевизор у нищего, выходит, был. И он вдруг падает на колени перед Михаилом, крича на всю площадь: «Спаситель ты мой! Артист знаменитый!» И его крик, его слова неудобны и почти оскорбительны, хотя он хотел как лучше, это были самые высокие слова, которые он знал. Но обозвать писателя ничтожным именем «артист» — неправильно и неудачно, это во-первых. А во-вторых, кричать в апогее Пасхи слово «спаситель» и адресовать его не виновнику торжества — это уж и вовсе не прилично. Но нищий не унимается. «Какое счастье, — кричит, — что такой человек... заметил меня... помог! Да я своим детям по гроб буду рассказывать!» и т. д., и т. д.

Задорнов совсем смущен и к тому же видит мою реакцию на все это дело, а какая у меня еще может быть реакция, я, понятное дело, хохочу, закрыв лицо руками. А нищий тем временем ловит руку Задорнова с целью поцеловать. Миша отдергивает руку, краснеет и злится. Вот тут его цинизма не хватает, чтобы довести всю ситуацию до привычного ему абсурда. Если бы он спокойно дал нищему поцеловать свою руку, а затем осенил его крестным знаменем, образова-

лась бы вообще законченная картина «Явление Задорнова народу» и вполне логично финальным штрихом завершила бы всю эту карикатурную бесовщину. Вот уж воистину ни одно доброе дело не остается безнаказанным...

Однако его порыв сделать очередное маленькое добро, а затем явное смущение, даже с временной потерей чувства юмора, от изъяснения такой страстной благодарности — это скрытая от телевизионных камер и, может быть, даже лучшая часть его натуры. Лучшая, потому что стыд или порыв к добру — качества, которые сам Спаситель, надо думать, не осудил бы. А уж ничтожное расстояние между высоким и смешным у нашего паранормального населения Он, вероятно, уже давно заметил. У нас больше всех денег на открытии Храма Христа Спасителя собрал, говорят, один наглый, но остроумный нищий, который повесил на грудь табличку: «Жертвуйте на восстановление... бассейна “Москва”».

Но вернемся ненадолго в Ригу.

Парк, о котором я вам рассказывал, парк, казавшийся в детстве целым миром, можно обойти за пятнадцать минут. После Москвы все кажется таким маленьким. И Рига такая декоративно-маленькая... Но по-прежнему красивая. «Skaista». Скайста — напишу-ка я русскими буквами... Юрмала — тоже «скайста». Там была (да и есть) правительственная дача в Лиелупе, где мы часто играли в настольный теннис. Дача Я. Э. Калнберзиня. Она, конечно, была потом отобрана для нужд латышских демократов. Ян Эдуардович был председателем Президиума Верховного Совета Латвии и отцом Мишиной жены Велты. Дача полагалась ему по рангу, но только пока работает и еще некоторое время, пока на пенсии. Вопиющая честность старого большевика не позволяла ему совершить хотя бы попытку сделать эту дачу своим владением. И сегодня с точки зрения равных ему правительственных чиновников он бы считался простым архаичным дураком, рудиментом проклятого коммунистического режима. Тем не менее честность и нежелание делать себе хорошо за счет государства выгодно отличали Яна Эдуардовича от его сегодняшних коллег.

В этом вроде как-то даже стыдно признаваться сегодня, но большинство тех, о ком тут рассказано, — люди с идеалами. В цене у них были вовсе не деньги, а ум, талант и — прямо неудобно — сердечность... Ну а еще, конечно, чувство юмора. Да и как иначе, если учителем наших персонажей была вовсе не жизнь, а лучшие образцы литературы.

Вот, например, Леонид Филатов переезжает на новую квартиру. Основной и самой тяжелой проблемой переезда оказываются книги и книжные полки. Но когда я прихожу к нему, полки уже установлены и книги — на местах. Они занимают всю прихожую — от пола до потолка, и так высоко, что без стремянки не доберешься. Филатов, встретив меня в прихожей, с законной гордостью библиофила показывает на полки и говорит: «Видишь, вот сколько собрал. — Потом, помолчав, добавляет: — Гордость идиота... Кому это теперь надо, кто это все прочтет?..»

И все же — кому надо, тот и прочтет! Сейчас многие из тех, «кому надо», кто не потерял охоту читать, — за бортом нашей сегодняшней жизни, боевой и кипучей, однако, кто знает, может, и не они, а именно эта наша кипучая жизнь окажется когда-нибудь за бортом.

А сейчас что, сейчас нормально... В рынок пошли... А с идеалами на рынке вообще делать нечего! Для идеалистов нормальные рыночные отношения (кинуть, подставить и т. д.) невозможны! Они рыночные отношения не признают, им, видите ли, человеческие подавай!

И смотрит такой идеалист на чужие «походы в рынок» с грустью и усмешкой, оценивая их совершенно неправильно: не с практической, а, как бы это точнее выразиться, с художественной точки зрения. Потому, вероятно, что некото-

рые такие «походы» и наглы, и наивны одновременно и представляют для читавшего человека интересную и удивительную художественную ценность.

Вот, например, на остановке троллейбуса — рекламный щит. На нем: «Beck's — официальный спонсор Нового года!» Но ведь так же можно объявить себя спонсором первого снега или наступления весны! Ты что, Beck's, серьезно думаешь, что Новый год без тебя не начнется или весна не наступит, если ты ее не спонсируешь? Это читающий идеалист так подумает. А нормальный человек будет благодарен фирме за то, что Новый год с ее помощью все-таки состоялся, запомнит это и купит ее пиво.

А вот мелкий рыночник торгует на Пушкинской площади двухтомником Чаадаева. Недорого, кстати... Ну, образованный идеалист какой-нибудь наскребет денег, купит и пойдет себе... читать. А для прочих — реклама. Их надо привлечь как-то. Поэтому рядом с двухтомником — табличка. На ней продавец отруки написал: «Книги Чаадаева — лучшего друга Пушкина». («Ну лучшего ли?») — это еще вопрос, думает «больно умный» интеллигент, но он уже купил и ушел, а остальные, может, слышали про Пушкина и купят из уважения к нему. Вон и памятник рядом.) И наконец для тех, кто еще сомневается, последнее: «Из жизни гусар и женщин». Ну как тут не посмотреть с «художественной» точки зрения?! А если еще представить себе лицо купившегося на эту рекламу человека, который пришел домой и стал читать Чаадаева в надежде отыскать там что-нибудь «из жизни гусар и женщин»... И как он будет это читать! И какое разочарование его ждет! И какую лютую злость он испытает к надувшему его торговцу. Да что вы! Это уж совсем очаровательно! Это может быть отдельным художественным (опять-таки) произведением!

Общая же картина нашего рынка такова (она тоже не придумана, а увидена): старик-нищий роется в мусорном баке в надежде найти там что-нибудь полезное для себя. И когда находит, складывает все в яркую красную сумку с надписью «Winston»...

А вот если сам «интеллигент» делает попытку войти в рынок вместе с другими, это выглядит так по-детски, что даже трогательно.

«Никто из нас не Карамзин. А был ли он, а было ль это — пруды и девушки вблизи и благосклонные поэты?» — так заканчивается стихотворение Г. Шпаликова, которое я вспоминаю, посетив Петербург. В очередной раз ритуальный обряд — поездка в Павловск, Царское Село, лицей...

Там, в Павловске, каждое лето на берегу пруда играл тихий такой квартет еврейских музыкантов. Очки, смычки, пюпитры с нотами, черные смокинги, Брамс, Шопен, Моцарт, Вивальди... Самое легкомысленное, что они тут играли, — Штраус.

И в этот приезд я снова их увидел. Те же лица, но отчего-то в красных уланских или гусарских, не знаю, костюмах. Высокие, воинственные кивера топорщились над печальными еврейскими носами, над очкастыми физиономиями. Кто их обрядил так по пути в рынок?... Это выглядело глупо и почти страшно, как выглядел бы, допустим, Шамиль Басаев в балетной пачке. Тот же состав: трое скрипачей и один виолончелист. Только играют теперь «Хэлло, Долли» и что-то из репертуара «Битлз». Даже не Хренникова из фильма «Гусарская баллада», что еще хоть как-нибудь оправдывало бы их наряд, а именно репертуар поп-группы; они и впрямь сейчас группа, только почему в киверах, почему на скрипках и виолончели? Вся эклектичная смесь, видимо, для считанных иностранцев, которые здесь прогуливаются и, может быть, кинут в кивер пару долларов, если повезет... Грустно, девушки... Да и впрямь, были ли пруды, девушки и поэты — будто и не было вовсе, так... почудилось. Так что попытки ходить в наш рынок на академических ножках классики пока действительно наивны и нелепы.

Скорее это получается у других, кого идеалы, так мягко скажем, не обременяют. У наших соседей по даче была коза по имени Роза. Наши соседи — весьма состоятельные люди, и, что самое главное, они горой за демократию: первыми вывесили над своей дачей в августе 1991 года трехцветный флаг и ринулись на своих джипах в Москву защищать ее, демократию то есть. Им было что защищать, наверное, а кроме того, тогда все верили в силу реформ. Но я о другом. Я о козе Розе. Они ее пасли, очень ласково с ней обращались, называли Розочкой и по всему считали ее чуть ли не членом семьи. А Роза, в свою очередь, любила их, вела себя, как очень умная собака, понимала команды, интонации и, кажется, начинала даже понимать человеческую речь. Не забывала она и выполнять свои основные функции, то есть поить всю семью молоком. Все, короче, были друг другом довольны. В то самое лето, лето обретения нами с вами свободы, мы приехали на дачу позднее обычного, устроились, распаковались и первой, кого увидели, была наша соседка, худая, ласковая дама в кофте не по размеру, с желтыми зубами и в старомодных очках. Именно она чаще всего пасла козу, и часто на нашем участке, потому что нашу траву Роза предпочитала всем прочим. А что, жалко, что ли? Мы к Розе тоже привыкли. Но тут мы что-то козу не узнаем. Да и называет ее соседка другим именем.

— А где же Роза? — спрашиваем.

И соседка радостно так говорит и при этом нежно гладит вторую козу:

— А Розочку мы съели. И ее, и козленочка ее.

Таким тоном люди обычно сообщают о рождении ребенка, с оттенком гордости за сообщаемый рост и вес. Вот, мол, как у нас в семье все ладно, разумно и правильно. Розочка молоко давать перестала, но мы ее употребили с пользой. Ушла из жизни она не даром. Видите, как все у нас хорошо. И следующую козу все гладит, гладит ласково...

Или другая такая же ласковая дама, обсуждавшая с подругой, давать ли ей маме в долг деньги под проценты, и если да, то под какие. Какие идеалы, Бог с вами! Они с ними давно разобрались. Вот они-то как раз с легкостью и без всякого напряжения вошли в рынок, это оказалось их стихией. Что же касается моих друзей, то им просто повезло, что, несмотря на зыбкую, нетвердую, нематериалистическую почву, на которой они выросли, они стали теми, кем стали. Впрочем, сила их характера тоже сыграла свою роль. Но поэтическая основа и даже романтизм с идеализмом — все осталось при них. Каждый шел своей дорогой, у всех своя судьба, но, что бы они сегодня ни делали, что бы ни говорили миру — кто рассказом, кто стихами, кто музыкой, — ясно, что корни сказанного или спетого — из одного дерева, которое росло тогда то ли в Ашхабаде, то ли в Риге, то ли в маленьком палисаднике перед Шукинским училищем. Легкомысленный ветерок нашей юности шелестел листьями этого дерева. Тогда... Давно... Но гляньте, оно и теперь стоит. Деревья живут дольше людей...

Ну, а теперь — вновь на ту дачу, где мы с Задорновым часто проводили летние каникулы. Дача была как дача, к слову сказать, обычный дом с верандой; из охраны — один милиционер, ослабевший от скуки и спокойной жизни, и жило там много народу (у Яна Эдуардовича четыре дочери), кое-кто с семьями, так что на всех комнат едва хватало. Рядом с газпромовским коттеджем — просто собачья конура, а не дача. А несколько в стороне — столовая, с отдельным входом. И вот в ней как-то раз один из зятьев Яна Эдуардовича, Гриша, принимал цыган. Это были не простые цыгане, забредшие табором на правительственную дачу погадать, это был не кто иной, как Николай Сличенко с женой Томилой и дочерью, а также Рада и Коля Волшаниновы тоже с дочерью и гитарой. Надо сказать, что Гриша был большой меломан и коллекционер приехавших в Ригу знаменитостей. Почти все рано или поздно попадали к Грише в гости, а уж там их записывали на магнитофон и просили писать дружеские автографы, из которых бы-

ло ясно, что Гриша для них не просто случайный знакомый, а близкий человек. На Гришину магнитофонную ленту и я попал когда-то. Авансом. Гриша рассчитывал, наверное, что и я стану когда-нибудь знаменит, а эксклюзивные, так сказать, записи этого исполнителя у него уже есть. Причем записи, доказывающие теплые, тесные, дружеские отношения, где исполнитель поет не только их с Филатовым первые произведения, но и, будучи не совсем трезвым, матерные частушки, которые в то время собирал. Думаю, что у Гриши есть даже те песни, которые я забыл напрочь. Визит Сличенко и Волшаниновых в столицу Латвии просто-таки не мог пройти мимо Гриши, и правительственная столовая в тот памятный день стала местом уникального цыганского застолья. Впрочем, для самого Сличенко эта правительственная столовая в какой-то Латвии была пустяком. Леонид Ильич Брежнев и его дочь питали особую слабость к цыганскому пению, особенно в неформальной обстановке, и им, разумеется, трудно было отказать, когда они об этом просили. Поэтому для Сличенко это был обычный обед в обычных гостях. Для Волшаниновых — тоже. Для всех же прочих — событие. Гриша гордо поглядывал вокруг: не кто-нибудь, а он нашел, пробился, пригласил и привез Сличенко с Волшаниновыми; и не когда-нибудь, а, что называется, в зените славы. Жена Николая Томила сидела рядом с мужем и томила всех своей красотой (каламбур сам напрашивался, вы же понимаете).

И вот все на месте, обед начался. Стандартная обеденная программа состояла из водки с бальзамом, закусок, первого, второго, чая или кофе и сладкого. Пошла водка с бальзамом и многочисленные закуски, и до центральной части обед не дошел, потому что после третьей, кажется, рюмки Сличенко спросил: а есть ли тут гитара? В вопросе содержалась доля необходимого протокольного кокетства, ибо даже козе было ясно, что пригласить этого человека и не запастись гитарой, так, на всякий случай, мог разве что самый глупый в мире козел, коим Гриша, безусловно, не был. Он нашел в городе самую раритетную семиструнку, так как знал, что гости играют на семи, и припрятал ее в задней комнате. Кроме того, Сличенко видел, что Коля Волшанинов пришел со своей гитарой, поэтому кокетство вопроса: а нет ли здесь *случайно* гитары? — было действительно протокольным.

С Волшаниновыми, кстати, я был знаком еще до этого эпизода, и как-то само собой мы перешли на «ты» чуть ли не в первые минуты знакомства. Более того, и Сличенко я звал Николаем Алексеевичем только в первый день. Теперь, если я его встречаю случайно где-нибудь, я называю его Колей и обращаюсь на «ты», испытывая при этом остатки удивления: как же это так я тогда посмел, с человеком значительно старше, перед которым я почти преклонялся? Потом я понял одну интересную вещь: очень многие люди, вступившие в возраст, когда их начинают называть по имени-отчеству, только делают вид, что им нравится эта дань уважения. На самом-то деле нравится другое: если молодой человек случайно (или не случайно) назовет на «ты» и по имени. Он для виду может, конечно, даже возмутиться, но внутренне будет доволен, поскольку этот акт фамильярности продлевает иллюзию его молодости и делает его равным с молодыми людьми, делает все возможным. И когда какая-нибудь студентка второго-третьего курса вдруг «случайно» называет педагога на «ты» и потом, зардевшись, извиняется, всем известно, чем такое часто заканчивается, как ведет себя дальше она и втайне польщенный педагог. Так что, молодые люди, смело переходите на «ты» со старшими. Это будет хорошо и даже иногда интересно. И у собравшихся тогда классиков жанра я был младшим, но равным. И мне, помню, это было жутко приятно.

Итак, Коля Сличенко попросил гитару, и она была вынесена ему, как хрустальная ваза. Он оценил ее, как достойный его таланта инструмент, и начал настраивать, вернее, подстраиваться под волшаниновскую гитару, чтобы уж по-

том все было красиво и без изъяна! Настроились. «Давайте-ка выпьем перед песней», — предложил кто-то, кажется, сам Сличенко. Выпили. И запели... Боже милосердный, как это было! Ничего подобного этому я не слышал ни до, ни после. Они пели русские и цыганские романсы, многие были уже знакомы по пластинкам и ТВ, но чтобы так! — никогда. Во-первых, близко, и потому будто лично тебе, во-вторых, их никто не просил, хотя и надеялись, они сами захотели: хорошо им стало, и песня была естественным продолжением этого «хорошо». От души и для души, и вдруг стало ясно, что твоя душа обречена, вдруг стало понятно, как ее можно продать за это пение. Прости, Господи, за это святотатство, но я лишь пытаюсь описать то состояние восторженного транса, в которое они погрузили нас тогда. Состояние, в котором можно все пропить, прогулять последнее, заложить душу и погибнуть в первобытной истоме, лишь бы оно длилось и длилось. Будто кровь остановилась, руки оцепенели, ноги никуда не идут, позвоночник превратился в ледяной столб, и только душа твоя бедная мечется птичкой по всему телу и ищет выхода, чтобы улететь вместе с этими звуками. Да, не зря сами цыгане считают Сличенко первым среди них. Каждый из них знает, как петь, какие звуки из гитары извлечь, чтобы распать душу песней. Но Сличенко и среди них вне конкуренции. Он — отдельно. Вот он поет: «Только раз бывают в жизни встречи» — и тянет верхнюю ноту долго-долго, и голос его в столовой несется как над степью, над кибитками, над притихшим ковылем и уносится ввысь легко и звеняще, а ты лишь следишь за его полетом, сжавшись в кресле и опасаясь только, как бы сердце не остановилось, а оно уже остановилось и ждет, когда голос вернется и продолжит лить в него завораживающие звуки. И оно неровно и часто застучит снова, а Коля, вернувшись из-за облаков, вдруг продолжит шепотом: «Только раз судьбою...» — и перед словом «рвется» неожиданно замолчит, и будет молчать секунд пять, и эта пауза тоже будет петь, потому что мы видим: он сейчас живет этими простейшими словами, мы видим, как фатальная неизбежность, рок, цыганское гадание, предсказание судьбы заставляют его смириться и бессильно опустить руки. Он играет и поет нам эту паузу, в которой переживает то, что не спето и чего в словах этого романа просто нет, он играет и поет гораздо больше, чем там написано. Он произносит еле слышно: «Рвется нить». Брови домиком, его замшевые глаза полны страданием и вот-вот заплачут — но нет! — в них разгорается огонек надежды и удали — ведь только раз живем! И Коля заканчивает фортиссимо: «Только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить».

Тут обязаны были бы быть овации, но как-то неловко, нас мало, и даже аплодисменты сейчас неуместны, поэтому лишь потрясенное молчание, которое лучше всяких оваций является высшим баллом певцу за его полет над нами и всем прочим «земным».

Только сам Сличенко способен прервать молчание, имеет право на первый звук, и он разряжает обстановку, весело предлагая всем опять выпить. Выпивают, и продолжается сеанс одновременной игры песенного гроссмейстера на струнах всех нервных систем здесь собравшихся. А потом они начинают петь втроем, в три голоса, причем так, будто всю жизнь репетировали, хотя по репликам, которыми Коля и Рада Волшаниновы и Сличенко обмениваются между собой, можно догадаться, что это импровизация, что они это делают впервые. А уж потом Коля Волшанинов вообще добивает меня тем, что начинает петь что-то из наших с Филатовым сочинений, кажется, «Полицая». Он, конечно, всех слов не помнит, и тогда я включаюсь и пою вместе с ним под его аккомпанемент.

Что для них самих это было? Вернемся на минуту к вопросу «зачем?». Зачем пишу это, зачем вам рассказываю, зачем? Разберемся. А зачем они пели тогда? Чего это они решили спеть вдруг? Ради чего? Ради успеха? У нас?! Кто мы им? Они хотели произвести впечатление на эту более чем скромную аудито-

рию? Ах, бросьте! Сличенко тогда производил *такое* впечатление даже на искусенную Азнавуром и Эдит Пиаф парижскую публику, что его, рассказывают, обезумевшие от восторга парижане тащили на руках от «Олимпии» до Триумфальной арки. Им тогда заслушивались все и млели от него все. Так что же? А захотелось! Для него и для Волшаниновых петъ — это то же самое, что ходить, дышать, любить. Не только работа, за которую получают деньги, поэтому, мол, в компании не буду, как в описанном случае с Высоцким и даже, чего там далеко ходить, — со мной. А в первую очередь — их естество. Ну захотелось Сличенко спеть бесплатно, и он запел, как, может быть, и не пел никогда в жизни. И нам повезло это услышать. Ему захотелось вдохнуть воздух и выдохнуть музыку. Вы скажете: ну так любой может захотеть. Да Бога ради! Это ведь гораздо лучше, чем бить друг другу морду. Поэтому пойте, рисуйте, пишите, господа дилетанты! Вас от этого не убудет, напротив, вы станете лучше, тоньше, красивее и интереснее. Вы будете даже трогательны в своих порывах иногда. В Москве живет, например, один автор песен, который вычислил, что песенные ниши практически заняты: о любви пишут все кому не лень, игривые глупые шлягеры — тоже, а патриотические песни сейчас почти смешны. Поэтому он задумался: какую неизведанную тропу можно теперь открыть? Подумал, подумал — и решил. Он выпустил сборник своих песен под общим названием «Песни десантников и цыган». Что в его представлении объединяет эти две столь разные группы людей? Наверное, небесный простор, удалая вольница, и вообще все удалое и рокковое, и, разумеется, общая готовность рвануть на себе рубаху или, с другой стороны, тельняшку. Не знаю. Честно скажу, не читал, поэтому даже процитировать не могу, но сам замысел меня умиляет. Ну а если кто-то пишет, поет и т. д. *действительно* хорошо, то ведь его обязательно будут слушать, хоть десять человек, но будут, и станут радоваться вместе с ним.

В общем, спасибо, Коля, за тот день, за тот вечер. Мы увиделись с тобой на последнем юбилее Юрия Никулина в ТВ-клубе «Белый попугай» и, оказывается, приготовили оба поздравления на мотив «Эх, раз, еще раз»: ты — вполне логично, я — под твоим многолетним влиянием. Мы спели. Я старался, как мог, под Сличенко, а ты — под себя, только того, двадцатилетней давности... А до этого встретились возле раздевалки в поликлинике Союза театральных деятелей.

— Как живешь? — спросил ты.

— Вот так, — показал я рукой на лечебное пространство вокруг себя.

— Анализы? — улыбнулся ты.

— Анализы, — улыбнулся я.

И не о чем было говорить в тот момент. Давай сфотографируемся, Коля, на память о том дне в Юрмале, который для тебя мало что значил, а для меня так много, что ты и не подозреваешь. Улыбайся, Коля, птичку не обещаю, но у нас и так есть чему улыбнуться, глядя в тот солнечный, ясный день, наполненный светом и талантом. Улыбайся, а я снова в Юрмалу. В последний раз на этих страницах.

Сегодня здесь многие дачи забиты досками, большинство домов отдыха закрыто. Той танцплощадки, на которой мы с Мишкой в первый раз в жизни познакомились со взрослыми девушками, кажется, вовсе нет. А если и есть, то не найдешь... А если и найдешь — стоит ли искать?.. В этом есть тоже доля иронии, что они оказались москвичками, и мы потом приехали на каникулы к ним в Москву. Так нас там и ждали... Влюбленные школьники, мы не знали тогда, что там, в чаду мегаполиса, совершенно другая жизнь, и мы оказались вовсе не нужны ни этим девушкам, ни этому городу. Это здесь, в Юрмале, все казалось таким возможным, влюбленность была так близка, и глупая музыка так играла...

И что сейчас?.. С Москвой Задорнов, мягко говоря, разобрался. Да и я отчасти — тоже. А Рига и Юрмала остались. Внутри. Тут, знаете ли, есть какая-то

своя очень личная гордость, свое достоинство в том, что мы выросли не в московских коробках, а в этих причудливых, похожих на декорации к сказкам Андерсена, домах и улицах; что мы дышали неповторимой смесью моря, сосен и свежести, а не выхлопными газами Тверского бульвара; что мы в детстве плескались не в Останкинском пруду, а в Рижском заливе.

— Вы откуда? — спрашивают меня.

— Из Риги, — отвечаю я небрежно и ловлю себя на неуместной (особенно теперь) гордости. Будто я сказал по меньшей мере, что из Парижа...

Я люблю этот город и все, что связано с ним. Но одного из героев нашего рассказа я люблю по-особенному: вероятно, как часть собственной души, ту часть, что в детстве... Ах, душа!.. Опять эта душа! Непереводимое русское слово! Оставим ее наконец в покое: материалист Задорнов — в детстве чемпион районных и городских математических олимпиад, этого адреса, то есть где-то там, «в душе», — не поймет... Стало быть, в моем сердце... Нет, опять не то, он же спросит: а где конкретно?.. Ну хорошо, в моем мозгу (уж там-то столько таинственных мест, что анатомия пасует). Так вот, там, в дремучих лесах моего сознания и подсознания, есть поляна Задорнова. Или лучше — «Мишкина поляна»... Она там всегда есть. Она не может быть никем занята, на какие бы сроки мы ни разлучались. И он там сидит — строгий, подтянутый, красивый, двадцатипятилетний...

— Мишка, — говорю я ему, — давай в длину с места прыгнем, как тогда на пляже. Кто сейчас дальше?

— Давай, — говорит он.

И мы прыгаем... В одну сторону...

Москва

Тогда мы тоже прыгнули с места... Иначе это действие никак не назовешь. Прыгнули из привычного и даже, можно сказать, любимого места — в сторону Москвы.

Миша после школы поступил сначала в Рижский политехнический институт, а его гуманитарный друг, соответственно наклонностям, — в Латвийский государственный университет на филологический факультет. Недолго они там проучились. А пример Задорнова лишний раз показывает, что закостенелых наклонностей не бывает. Склонность к точным наукам на первом этапе жизни совсем не помешала ему потом оказывать гуманитарную помощь соотечественникам своей пламенной сатирой. Что же касается его друга, то он вернулся к филологическим изысканиям вот только теперь. Но уехал тогда в Москву первым, оставив друга Мишу собирать вещи. Через три месяца всего после начала учебы в университете. Оба уже были отравлены школьным драмкружком, и на большую сцену тянуло их. Большая сцена ждала пытливых юношей, решивших познавать жизнь именно через нее, а не через некрасивые и неприятные реалии. «Искусство — это попытка создать рядом с реальным миром другой мир, более человечный», — сказал хороший французский писатель А. Моруа, и юноши были с ним совершенно согласны. Впрочем, нельзя сказать, чтобы большая сцена их так уж ждала и стояла с цветами на Рижском вокзале, — до нее еще было далеко. Володе надо было еще сначала проучиться четыре года в театральном училище им. Щукина, а Мише — перевестись из Рижского политехнического института в Московский авиационный. Это случилось через год. Путь на большую сцену был отнюдь не прямым, а окольным — через другие профессии и институты совсем не сценического профиля. И, представьте, большая сцена дождалась Мишу даже быстрее, чем Володю, несмотря на то что тот уже учился в театральном институте. Это была большая сцена ДК МАИ. Впрочем, в создании

материальных ценностей он тоже участвовал, он даже делал что-то для двигателя пилотируемого космического аппарата «Буран». Уж не это ли обстоятельство (ужасаюсь я дерзкой мысли, посетившей меня сейчас) сыграло решающую роль в биографии самого «Бурана», превратившегося в конечном итоге из гордости нашей космической техники в абсолютно гуманитарный объект культуры и отдыха в соответствующем парке? Если бы не задорновское участие в нем, может, он и не стал бы аттракционом, пародией на себя, может, судьба сложилась бы у «Бурана» иначе, если бы зловердный вирус задорновского юмора в него не попал.

А в МАИ была тогда очень развита самодеятельность, Задорнов в нее включился со всей своей энергией и опытом, приобретенным в Риге, в КВНах и прочем, и в кратчайший срок стал ее лидером. Но и этого ему было мало, и он организовал там агиттеатр, который потом объездил полстраны, стал лауреатом премии Ленинского комсомола (что тоже применительно к Задорнову парадоксально), и именно в нем, в агиттеатре, производились первые сатирические опыты будущего любимца российской эстрады. Он брал в спектакли своего театра наши с Филатовым песни и их инсценировал. К тому времени стали уже появляться и другие песни — на стихи Шпаликова, например, и их Миша тоже брал. «Так ковалось его мастерство», — вот так эпически закончим мы хотя бы на время разговоры о Мише.

Бело-розовая пастила для Леонида Филатова, постюбилейный десерт

Почему-то в студенческие годы из еды Филатов больше всего ценил рыбные палочки и бело-розовую пастилу, расфасованную такими прямоугольными брусочками, то есть самые дешевые, неприязательные и даже несколько оскорбительные для гурмана продукты. Это загадочно... Быть может, эти палочки и брусочки были неким фаллическим символом, ироническим предзнаменованием того периода, когда разухабистая журналистика приклеит ему ярлык секс-символа, супермена и наш доверчивый народ поверит, несмотря на очевидную subtilность данного «субъекта Федерации». На это сам Филатов реагировал с комическим ужасом: «Что они, с ума посходили, что ли?! Я ведь даже не на каждом пляже рискую свое тело показать». Однако, если уж тебя народ назначил секс-символом, то сиди тихо, не сопротивляйся, это скоро пройдет.

Филатов никогда не наращивал мышцы и пренебрегал даже утренней гимнастикой, а если и насиловал свое тело, то уж никак не тренажерами. Он курил. И это упражнение до сих пор остается любимым. Однако концентрация воли, мысли и энергии в нужный ему момент была такова, что он ничего не боялся, и было такое впечатление, что если он сильно захочет, то может размазать по стенке любого атлета, даже свечу погасить, не прикасаясь к ней, как это делают в кино ведущие представители восточных единоборств. Концентрация воли и мысли повышала у него температуру, температуру любви или ненависти, а потом, как следствие, рождала сжатую и точную энергию слова. Ленино слово могло если не убить, то больно ранить. Двумя-тремя словами он мог уничтожить человека, находя в нем то, что тот тщательно прятал или приукрашивал в себе. О, этот яд производства Филатова! Кобра может отдыхать, ей там делать нечего. Поэтому собеседники, начальники и даже товарищи чувствовали некоторое напряжение, общаясь с ним. И, даже хлопая по плечу, хлопали будто по раскаленной печке. Побаивались и уважали. Уважение было доминирующей чертой всех последних праздников в его честь. Государственная премия, или юбилей в Театре на Таганке, или премия Тэффи, или авторский концерт в «Школе современной пьесы» — все вставали. Весь зал! И было ясно, что если кто-то его не любит, то нет ни одного, кто бы не уважал. Афористичная краткость и точ-

ность, когда если и захочешь, нечего добавить,— и в его сегодняшних пьесах, и в репликах по поводу увиденного или услышанного.

Известный артист пишет что-то вроде мемуаров. Их все можно поместить под рубрику «Теперь об этом можно рассказать». Он тоже вошел в рынок и даже не вошел — угодливо прибежал. И стал бойко торговать вот этим своим «теперь об этом можно рассказать». А можно ли? А стоит ли?.. И Филатов отзывается о мемуарах того артиста всего в двух словах: «Дневник Смердякова». Все. Достаточно. А в другой раз сказал по поводу артиста, плохого, но очень гордого своей популярностью: «Обоссавшийся беркут». Дичь, казалось бы; он никогда не видел, как беркут это делает, но реплика оказалась все равно снайперской и пошла в народ, как поговорка.

Однако хватит мне поливать елеем нетленный образ Лени и пора обратиться к тому, что точило его теперь уже отточенное мастерство и художественно формировало этого художника слова, кинематографии и театра (Леня, только без мата!). А также — с кем все это богатство точилось и формировалось.

Каин

Вот передо мной несколько фотографий. Они сделаны и подарены фотоколом журнала «Советский Союз». В редакции журнала у нас был концерт. Строго говоря, концертом это назвать нельзя; у них был какой-то юбилей, сколько-то лет журналу, и прямо в редакции, в большой комнате, за столом, кто сидя, кто стоя, все веселили редакцию, как могли. Еще с нами был композитор Шаинский, но он скорее был не с нами, а с ними, его пригласили отдельно, он был вроде другом главного редактора. А главным редактором был зять Н. С. Хрущева — Аджубей. Веселье достигло апогея тогда, когда Шаинский был усажен за фортепьяно и его попросили спеть попури из своих популярных песен. Маленький, плоховато поющий, но компенсирующий этот недостаток бурным темпераментом композитор поерзал слегка на подложенной на стул подушечке и начал. Все подхлопывали и подпевали; судя по всему, он выступал тут не в первый раз, а когда дошел до всенародно любимого шлягера «Хмуриться не надо, Лада», все, и особенно Аджубей, дошли, в свою очередь, до экстаза. Большой, широкий, разгульный, краснолицый Аджубей, сметая все на своем пути, пустился в пляс. «Для меня твой смех — награда! — выкрикивал он, как на митинге. — Лада!» И тут, словно ставя точку, звонко целовал Шаинского в лысую макушку. Шаинский вздрагивал и съезживался, как от просвистевшей над головой пули, склонялся к клавишам, но увернуться от всплеска аджубеевской любви было трудно; он был скован пространством клавиатуры, песню надо было продолжать, и его нагонял еще один страстный поцелуй в макушку с веселым звуком вытаскиваемой из грязи калоши.

Мы уже почти артисты, выпускники, четвертый курс. Нас пятеро здесь: Александр Кайдановский, Иван Дыховичный, Борис Галкин, Леонид Филатов и я. И все уже чего-то умеют, и тем, что умеем, радуем редакцию. Вот отдельная фотография: мы с Кайдановским поем в два голоса Пастернака: «Мело, мело по всей земле во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела». У нас красиво получается, чистая терция и общее настроение. Но он поет и один. Вообще к четвертому курсу сложились свои приоритеты: Галкин лучше всех читает стихи, особенно Есенина, Филатов лучше всех сочиняет, и не только стихи, но об этом позже, Дыховичный «открыл» для себя и для всех нас Дениса Давыдова, стал сочинять мелодии на его стихи и прочно обосновался в этом песенном поле, я с песнями на стихи Филатова стал лидером в области авторской песни, которая тогда набирала силу и превратилась уже в целое движение. «Лидером в нашем общежитии», — саркастично

заметил Леня, когда мы делали ТВ-передачу к его юбилею. Это неправда, но пусть скромность украсит сегодня наши помятые временем лица.

Кайдановский тоже сочинял, об этом мало кто знает. Он сочинял благородные и грустные романсы на стихи Гумилева, Волошина, Бунина. Сегодня я понимаю, что они были просты и безупречны. Поэт выходил в них на передний план, и Саша своим пением лишь подчеркивал его достоинства. К этому времени уже видно, каков артист Саша Кайдановский: он скуп в выразительных средствах, но это скупость Жана Габена, когда лицо не гримасничает, оно часто почти неподвижно, но мы тем не менее видим, о чем он думает, мы угадываем, что он чувствует. И это его пение — в тени поэта, в тени произносимых слов — такое же. Вы, кому я все это рассказываю, знаете его как крупного киноартиста, и всего несколько десятков людей знают, слышали, как он поет, но поверьте мне на слово, это было — вот сейчас подыскиваю слово, и все неправильно: изумительно — нет, не то, ничего там не изумляло; потрясающе — тоже неверно, т. к. не потрясало; блестяще — неправда, скорее это относилось к Ивану Дыховичному; скажу просто — это было больше, чем хорошо. Значительно больше. И вам действительно придется поверить мне только на слово, потому что не осталось ни одной профессиональной записи, ничего, что могло бы подтвердить мои слова; осталась только память: о неповторимом благородном и мягком голосе, в котором обертонов было больше, чем у Джо Дассена (я хотел вначале написать «бархатном», но потом вспомнил, что Саша этот эпитет не переваривал); о странном, ни на чье другое не похожем лице, лице прищельца; о чистом звуке, в котором не было ни одной нелогичной, фальшивой ноты; и о сдержанной манере, в которой скрыто было больше, чем спето.

«Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф», — пел Саша стихи Гумилева, и мы уносились все к неведомому озеру Чад, в страну, где нас не было и не будет, потому что страны такой нет. Но, может, мы ее откроем, ведь вся жизнь впереди, поэтому грусть легка и беззаботна. Ведь должна же она где-то быть, эта страна, в которой правят изысканные чувства, светлые мысли и красивая любовь. И все то время, пока Саша поет, мы верим в это — да что там верим! — знаем, что она есть, и мы в ней еще проживем вместе с нашим певцом-однокурсником. «Ему грациозная стройность и нега дана», — поет Саша в моей памяти, и я думаю, как эти слова ему самому подходят. И грация, и нега — все в этом пении есть, и не только в пении — в нем самом! А дальше: «И шкуру его украшает волшебный узор». Да-да, конечно, и пятна на шкуре были, ну куда же без них, и узор диковатый и тревожный, как сон наркомана. Причудливый узор его характера составляют нега и пятна, грация и жестокость, романс — и над ним же — едкая насмешка.

Он готов к драке всегда, он может ударить человека по справедливости, а может и ни с того ни с сего. Однако когда мы возвращаемся в общежитие... Нет, не тогда после концерта в редакции, а раньше, возвращаемся из района Рижского вокзала, куда мы ходили за вином, и на нас налетает шпана, и в руке одного из них появляется нож, Саша голой рукой хватается за лезвие, и на лице его ничего не меняется, он сжимает нож рукой, а из руки уже хлещет кровь, и удивленный хулиган все пытается выдернуть лезвие из Сашиной руки, но Саша держит так крепко, что он не может, и тогда Саша бьет его левой рукой в лицо, еще и еще, и тот падает, а затем убегает, и нож остается в красной от крови Сашиной руке, и Саша, усмехаясь, глядит на свою исполосованную руку, а потом бинтует ее нашими носовыми платками. Драка была остановлена абсурдным поведением Каина.

«Каин» — это его прозвище все студенческие годы и позднее тоже, почему — не знаю. Каин убил Авеля. А наш Каин потом убьет Кайдановского. Сам себя. Кажущийся абсурд поведения — голой рукой за нож — остался в нем навсегда, всегда была эта готовность к риску, к игре в очко со смертью, в которой смерть — банкомет, и все карты у нее, и следующая карта оказывается перебором; а в банке — жизнь, и банкомет ее забирает. Два инфаркта были у Каина, а потом — перебор, и на третьем он понесся к своему озеру Чад, рискнув, проиграв и благородно улыбнувшись на прощание...

Когда был второй инфаркт, они с Филатовым оказались одновременно в одной больнице, в кардиологическом центре. У Лени — инсульт, у Саши — инфаркт. Саша уже был слегка ходячий, а Ленья — еще нет. Ленья говорит: «Давай сделаем передачу о Солоницыне». Он имел в виду свою программу «Чтобы помнили». Солоницын и Саша тесно связаны между собой Андреем Тарковским, поэтому логично, если Саша примет участие в такой программе. А Саша ему отвечает: «А тебе не кажется странным, что два полутрупа будут делать фильм о целом?..» Цинизм? А как же. Но только абсолютно беспощадный и к самому себе. Он весь такой, пятна на шкуре сплетают одному ему ведомый узор.

Он встретил нас с сыном на Калининском проспекте. «Пойдем,— говорит,— ко мне. Я покажу тебе на видео своего “Керосинщика”». Он уже сам ставил фильмы в то время. Пошли. Сыну — лет двенадцать. Я побаиваюсь, что ему будет скучно. Фильм идет, Саша посмеивается, будто все, что он сделал в этом фильме,— забавный розыгрыш зрителя, а зритель этого так и не понял. Он посмеивается, а я вижу, что для него это серьезно и что наша реакция ему не совсем уж безразлична. Мы смотрим. Сыну не скучно, даже, похоже,— наоборот. Он потом говорит мне, как понял некоторые эпизоды, и я понимаю, что Саша достиг результата, какого хотел. И если подросток сумел этот фильм почувствовать, значит, у фильма есть будущее. Я своего мальчика знаю, он из вежливости врать не станет. Он еще в шестилетнем возрасте прощался со всеми гостями словами: «Вспоминай меня». А одной тете, которая ему сильно не понравилась, маленькой, толстой и черной-черной, он сказал: «Забудь меня». И тетя потом перестала ходить к нам в гости. Так что все правильно. Фильмы Сашины останутся жить. И останется навсегда его монолог в «Сталкере», его лицо страдающее, желание быть понятым, а никто не понимает, острая жажда быть не одиноким и все равно им оставаться, неутолимая тоска по озеру Чад, на берегах которого ты любим и никому ничего не надо объяснять. А у меня останется эта фотография, на которой мы вместе поем о том, что «свеча горела на столе, свеча горела».

На наш бедовый курс я попал в дополнительном наборе, то есть глубокой осенью, когда уже все учились. Никому и ничего в Риге не сказав (кроме родителей, разумеется), я прогулял занятия в университете и съездил на несколько дней в Москву. Меня приняли. Мечта исполнилась со второй попытки. Со второй, потому что летом, на основных экзаменах, меня не взяли: я провалил этюды, четвертый тур. Этюд назывался «прием у секретаря комсомольской организации». К секретарю все должны были приходиться со своими комсомольскими нуждами. Я никакой нужды так и не придумал, и меня подхватила будущая моя партнерша по танцам Лена Санько и повлекла к секретарю. Она яростно отчитывала меня за паршивое поведение, прогулы и неуспеваемость и, таким образом, занимала в этюде позицию активную и выигрышную, она успела все показать: и темперамент, и искреннее возмущение. Моя же неуспеваемость была полной, я не успел ничего в этюде показать и назавтра своей фамилии в списках прошедших на общеобразовательные экзамены не нашел. В тоске и трансе я вернулся в Ригу, напрягся и поступил в университет, сдав экзамены на все пятер-

ки. Мама долго хранила крохотную вырезку из газеты «Советская Латвия», в которой сообщалось, что мое сочинение вместе с еще одним было признано лучшим во всей (представляете!) республике. Мое тщеславие это не тешило, я артистом хотел быть. Шли годы. Шли и прошли. Теперь я хочу стать писателем, теперь наоборот, теперь уже мои артистические успехи, если они случаются, совсем не тешат мое самолюбие, мне теперь приятно, если меня похвалят за написанное, а не сыгранное. «Я играл Гамлета или Чацкого», — гордо говорят артисты. Ну так это же играл! Играл — и только. Видно, наступил момент, когда хочется не *играть*, а *быть*.

Игра театральная, как и всякая игра, становится чем-то вроде хобби, увлечения. Можно и поиграть, конечно, но сочинять музыку или писать прозу кажется сегодня важнее. Но тогда... быть артистом во что бы то ни стало — это раскаленная страсть, которую можно погасить только одним — стать артистом. И вот дополнительный набор, о котором мне сообщили телеграммой в Ригу и телефонным звонком — Владимир Георгиевич Шлезингер, первый, кто меня прослушивал, и руководитель курса Вера Константиновна Львова. Они меня запомнили и вызвали. О счастье! И я еду и поступаю. А вместе со мной еще два человека, один из них Кайдановский, другая — Нина Русланова. Читаю я «Братскую ГЭС» Евгения Евтушенко, отрывки из нее тогда все читали. «Никогда, никогда... коммунары не будут рабами!» — кричу я комиссии в знобящем коммунистическом восторге. А басня у меня — «Лжец» Крылова. И одно, этакой тайной насмешкой, дополняет другое. «Лжец», — шепчет судьба яростному проповеднику коммунизма. Но главное на приемных экзаменах — это не куда направлен темперамент, а есть ли он вообще. У меня его обнаружили, ну и хорошо. Теперь мне дают комнату в общежитии, точнее, место в ней, и я начинаю учиться.

Курс и вправду бедовый. И большой — сорок пять человек.

Однокурсники

У нас на курсе две в недавнем прошлом манекенщицы. Одна из них, Галя, — светловолосое, тонкое существо с невообразимой естественностью поведения, которую можно принять за глупость, а можно и за основу для будущей актерской органики. Она летает из аудитории в танцевальный класс, как бабочка. Или нет, как стрекоза из знаменитой басни Крылова, чем дико раздражает муравьев. Она всегда стильно одета, изящна, независима, ее после занятий ждут какие-то богатые дядьки на красивых машинах, и видно по всему, что ее, как истинную стрекозу, абсолютно не заботит зима, то есть другими словами: выгонят ее или нет? «Дура», — думает муравей. Он в таких случаях обычно сатанеет и завидует, тем более что Гале все удастся. Этюды она не придумывает, не вымучивает, просто выходит, а там, как пойдет, она будет самой собой, и это будет интересно и непредсказуемо. И, само собой, ей по фигу, нравится это педагогам и однокурсникам или нет. Муравьев это бесит, и Галю отчисляют с первого курса за профнепригодность. Но Гале, кажется, и это по фигу по большому счету. Всплакнув ненадолго, упархивает наша стрекоза к другим полям, к другим цветкам, подальше от зимы, и больше я о ней ничего не знаю, только хочется верить, что она нашла то место, где зимы вовсе нет и где ей ничего не грозит.

А другая бывшая манекенщица, Лена, серьезнее. Она так же худа и грациозна, но, в отличие от Гали, — черная, как ночное небо, брюнетка. У Лены безупречный в то время стандарт красоты: прическа Мирей Матье, под челкой томные и темные глаза, маленький нос и большой рот. А также фигура мальчика двенадцати-тринадцати лет, полное отсутствие груди (да и не может грудь глупо болтаться на таком теле), а также низкий, глубокий голос, который никогда не переходит в крик и даже не повышается. Несмотря на совершенно итальянский

облик, намекающий на бурный темперамент, Лена флегматична. Резонерское спокойствие и отношение ко всему с юмором — родом из Одессы, откуда Лена и приехала.

«Может, ты меня хотя бы поцелуешь?» — вопрошает Лена басом страстно сопящего однокурсника, который возится над ней, пытаясь расстегнуть то, что не расстегивается. Тот замирает, озадаченный спокойствием ее голоса, в котором нет тени не только страсти, но даже вульгарного желанья. Кроме того, его мягко упрекнули в нарушении элементарной постельной этики. А Лена дышит так ровно, и в глазах ее такая плохо скрытая насмешка, что его самолюбие задето. Он, конечно, исправляется, целует, но ему уже не нравятся ни вкус ее губ, ни то, что она и потом лежит, как неподвижный манекен, но если бы он был чуть-чуть поопытнее, он бы по некоторым признакам догадался, что он ей далеко не безразличен, и что она сама неопытна, и что ее теперешний сексуальный темперамент — это максимум того, на что она способна. Более того, темперамент — это не всегда хорошо, он в этом потом убедится. Как и в том, что такой шарм, как у Лены, редко у кого встречается. И это будет подороже, чем какой-то там темперамент, который есть у каждой второй женщины.

Она ходила по училищу, как по подиуму, но никоим образом не демонстрировала себя, она себя даже недооценивала, все думала, что ей чего-то не хватает, может быть, таланта. Но, имея такое лицо (что-то среднее между Софи Лорен и Ким Бэссинджер), можно было бы идти по жизни с большей наглостью. Когда ты впервые видел Лену, единственное, что хотелось сказать — это «ах», но она, вероятно, не верила, что она такая.

Эта неуверенность в себе плюс еще, наверное, чрезмерная для актрисы и тем более фотомодели глубина в конечном счете привели ее, куда бы вы думали, — в монастырь. Ее из института не выгнали, она благополучно его окончила и вышла замуж за Сашу. А Саша был, пожалуй, самым красивым юношей на нашем курсе, и они стали образцово-красивой парой.

Потом мы вместе снимались для какого-то западного журнала — серия фотографий из жизни радостной советской молодежи: Саша с Леной и я с какой-то девушкой. Фотографий этих у меня нет, но я помню, как мы весело кувыркались на зимнем солнце в снегу где-то в районе Рузы. Это была наша последняя встреча.

Они с Сашей уехали потом в Америку, Саша получил там какое-то наследство, пробовали петь дуэтом, даже выпустили пластинку, затем их следы затерялись для меня, их занесло порошей того веселого зимнего дня, когда снег хрустел, глаза слезились от солнца, санки опрокидывались, и снежок попадал прямо в нос, и мы хохотали, и нас, хохочущих, все щелкали, щелкали, и все было впереди.

А впереди оказалось вот что. Мы приехали на гастроли в Израиль. На второй же день ко мне пришел еще один наш однокурсник — Сережа. С женой, благодаря чьей национальности Сережа в Израиль и попал. А сам Сережа внешне — это издевательство над маленьким, но гордым еврейским народом. Более русского типажа на белом свете нет. Белесый, курносый, огромный Сережа, которому самое место — в Сибири, он там уместнее, чем тайга, уместнее, чем медведь, который, встретившись с Сережей на глухой таежной тропе, уступил бы ему дорогу, — так вот, этот наш русопятый Сережа гармонировал с Израилем так же, как валенки гармонировали бы с пляжами Акапулько. И нипочем не хотел Израиль покидать. Его жена, тихая еврейская женщина Наташа, тосковала по неисторической Родине, ностальгировала, ныла, спрашивала меня, на сколько в месяц сейчас можно прожить в России. Был 1992 год, и тогда можно было прожить запросто на пятьдесят долларов. Я так и отвечал. «Ой, — взвизгивала Наташа, — так поедem домой, что нам тут делать?» И принималась плакать.

А Сережа — ни в какую! Честно учил иврит и готов был на все, вплоть до обрешения, чтобы только остаться. Само существование Сережи на земле обетованной — это повод для погрома, только не еврейского, а русского.

Так вот именно Сережа рассказал мне, что Лена разошлась почему-то с Сашей и живет теперь здесь.

— Где? — встрепенулся я.

— В Иерусалиме, — ответил Сережа.

— Так надо же ее повидать. У нас там один спектакль, но приедем утром, я успею.

— Не выйдет, — говорит Сережа.

— Почему?

— Да потому, что она в монастыре.

И он рассказывает мне, что Лена не просто в монастыре, она в глухую там, она приняла постриг и вообще ушла из внешнего мира, у нее даже имя теперь другое, монашеское. И когда Сережа сам узнал о том, что его однокурсница здесь, и захотел ее найти, и нашел, то его не пустили, потому что она не хочет никого из той, мирской жизни видеть.

Еще один парень, Валера, был отчислен за участие в демонстрации в защиту Даниэля и Синявского.

А вот Игоря выгнали за изнасилование. В общежитии. Девушка в решающий момент не уступила, Игорь обиделся, и ударил, и даже придушил слегка.

Игорь старше и опытнее всех на курсе, ему уже двадцать шесть лет, и он приехал в Щукинское училище, уже побыв артистом Бакинского театра. Он там в Баку играл Отелло. Не учел Игорь, что темперамент венецианского мавра по бакинской лицензии в московском общежитии не пляшет, что не всякая студентка — Дездемона, с которой можно аналогично разобраться.

А еще была Тоня. Она воровала. Воровала белье в общежитии, в женской душевой. Это долго продолжалось, но потом моющиеся студентки поймали Тоню практически за руку. До милиции дело не дошло, они ее просто взгнали, а потом рассказали в деканате. Тоню не спасло и то, что она все время выдавала себя за сестру самого популярного тогда писателя. Ее выгнали.

Ну и, наконец, венцом отчислений был парень, даже имени которого я не помню и не хочу вспоминать. Он объявил, что у него умерла в родном городе мать, собрал со всех деньги на дорогу и на похороны и уехал. А тремя днями позже мать приехала его навестить...

В общем, палитра отчисленных была богатой. Сами посудите: диссидент, насильник, воровка и подлец. Одна только манекенщица Галя, беспечный мотылек, не укладывалась в это буйство красок. Но это и правильно, Галя — в стороне, она отдельный человек, и об этом вы уже знаете.

Нельзя сказать, что курс без них осиротел, потом были и другие, но отчего-то они, первые отчисленные, вспоминаются рельефнее и ярче, чем даже многие из тех, с кем мы заканчивали.

А мы продолжаем учиться. Не без страха, потому что наша профпригодность для руководителей курса тоже не безусловна. Смешно, конечно, если бы, допустим, Леонида Филатова признали профнепригодным, но случилось же такое с Валерием Гаркалиным, которому пришлось пробиваться в большое искусство через театр кукол. И это сейчас смешно, а тогда было не до смеха. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах» давались с трудом: «я» было ничем не прикрыто и стеснялось. Или — по специфической театральной терминологии — было зажато.

Все изменилось на втором курсе, который почти весь был посвящен наблюдениям. Что это такое? Отчасти специфика вахтанговской школы (в то

время наблюдения не практиковались больше ни в одном театральном вузе), но для нас — увлекательнейшая охота за характерами, походками, говором, необычной жестикуляцией и прочим. Мы рассыпались по базарам, вокзалам, буфетам, сберкассам и улицам в поисках наблюдений. Кто больше добычи принесет, тот и молодец. Вот тут-то наше «я» можно было и прикрыть и спрятаться под маску чьей-нибудь характерности. Характерность вообще сильно ценилась в нашей школе. После наблюдений, например, нам с Филатовым прочно приклеили ярлык «характерный артист». Что это такое, я до сих пор плохо понимаю. Джек Николсон или Жерар Депардьё по канонам нашего училища непременно попали бы в характерные артисты, однако они играют все, и другое дурацкое амплуа, «герой-любовник», которое даже и звучит-то по-дурацки и никуда, кроме оперетты, не подходит, тоже, как мы все знаем, им не чуждо. Характерный артист вроде как обречен всю жизнь кривляться и в герои не лезть. Но жизнь, как уже сказано, поправляет, и Юрий Никулин играет «20 дней без войны», а Жерар Депардьё — Сирано де Бержерака и графа Монте-Кристо.

Мы тоже перейдем потом мягко в другое амплуа. Характерный артист Володя исполнит вскоре главную роль в тюзовском спектакле «Три мушкетера», а несколько позднее, у Эфроса, — Джона в спектакле «Лето и дым». Это его удивит, потому что и там, и там есть очевидные черты амплуа героя-любовника, на которое он никогда не претендовал.

Но это, так сказать, было скромно и локально, на уровне театра, а вот что касается Филатова, то тут опровержение амплуа оказалось практически всенародным, потому что фильм «Экипаж» смотрела вся страна. Он уже играл довольно много и в кино, и на ТВ, но «Экипаж» прочно возвел его на пьедестал «героя-любовника». Филатову на этом пьедестале было несколько неуютно, и он все норовил с него спрыгнуть, играя даже бандитов или чиновников, но и бандиты у него получались как герои, а чиновники — как печальные герои. Он влил в свое новое амплуа с комфортом Алена Делона, романтического кумира своего кинодетства.

— Ох, — мечтательно вздыхала одна артистка Театра на Малой Бронной, стоя перед выходом рядом со мной за кулисами, — вот кому бы я дала. Ух, как бы я ему дала-а-а!..

— А он бы взял? — невежливо спросил я тогда, втоптав в слякоть мечту кованым сапогом солдатской прямоты.

Так мне казалось только, потому что она с немотивированной уверенностью ответила: «Ого-о! Еще как бы взял!!!»

И почему это многие женщины убеждены, что их готовность отдать себя — такой уж драгоценный подарок, от которого ну никак нельзя отказаться, что их предложение рождает немедленный спрос.

И к тому же — это грубое «дала»... Ведь есть же в конце концов песня: «Я не уважила, а он пошел к другой». И почему бы не сказать вместо «я бы ему дала» — «я бы его уважила»?

Впрочем, вопрос это чисто теоретический, потому что у Филатова была тогда уже...

Нина

Говорят, что каждый мужчина стоит той женщины, с которой живет. Он заслуживает ровно столько, не больше и не меньше. И когда мы задаем себе вопрос, отчего часто нравятся женщинам, которые нам вовсе не нравятся (впрочем, и наоборот), то имеем в виду и другое: что бывают совпадения. И тогда!.. Если бы автор встретил в жизни только одну любовь, да и то не свою — любовь Лени и

Нины, он бы и тогда поверил в нее слепо, безоговорочно и обливаясь слезами умиления.

Шутки в сторону, я спою сейчас песню о Нине. Пусть слушает! А вы, если хотите, назовите это одой, не ошибетесь.

Я не буду вам петь о том, как все началось, это почти у всех похоже. А не похоже то, что они встречались тайно девять (!) лет, и никто, даже самые близкие друзья, об этом не подозревали. Они оба были не свободны, поэтому было так. Они долго мучились, не желая строить свою радость на чужих костях, и даже не «чужих» вовсе, а близких в то время людей. Долгая проверка! Не одно чувство погубило под давлением такого срока, и даже в зарегистрированном браке. А потом стало ясно: больше друг без друга невозможно, надо жечь старые мосты и соединяться. Они поженились и стали жить вместе.

И вот через много лет Леня — в самом критическом периоде своей жизни. С почками совсем плохо, если точнее — их попросту нет. Три раза в неделю его возят на гемодиализ, кладут на процедурный стол и четыре часа перекачивают кровь. Нина всегда рядом. Он, лежа на столе, сочиняет веселую пьесу в стихах «Любовь к трем апельсинам», парафраз из Карло Гоцци. Сочиняет и запоминает свои озорные строки, совершенно не подходящие к обстановке, потом он их Нине продиктует, и она запишет, как и все другое, что он в этот период сочиняет.

Скоро будет операция. Мало кто верит в успех, близкие готовы ко всему, даже врачи сомневаются и ничего не гарантируют, а многие из них совсем не верят. Нина — верит! Ее вера неистова и выглядит иногда фанатичной. Но она свято верит, что все будет хорошо. Она говорит все время: «Он сильный, он выдержит», — и заражает этой верой Леню. Он тоже верит и не сомневается. Когда одни мои знакомые врачи из более чем солидного лечебного учреждения заподозрили рак, причем одну из его смертельных форм, без шансов на выживание, Нина сказала: «Нет! Ничего этого у него нет! Я знаю!» Врачи не знали, а она ЗНАЛА! И ее правота потом подтвердилась. А врачи легко так, будто ничего и не было, сказали: «А-а! Ну слава Богу, поздравляем».

Вы прочтите эту сказку — «Любовь к трем апельсинам». Или первую часть его следующей пьесы «Лисистрата». Веселая игривость и даже гривуазность некоторых строк в то время, когда жизнь бултыхалась посреди реки под названием Стикс, не зная, к какому берегу прибиться.

«Да не может быть!» — скажете вы, прочитав.

«Может!» — отвечу я, если это Леня, а рядом — Нина.

Все это время в их доме весело. Никакого уныния, печали, никакого тягостного ожидания операции, никакой ущербности или неполноценности! Только веселье, анекдоты, смешные случаи из внешнего мира, с Большой Земли. Нина ограждает его от любой негативной информации, от любого известия, что кому-то плохо или того хуже — кто-то из знакомых умер. Филатов со своей передачей «Чтобы помнили» и так в этой воде искупался вдосталь.

Она первый и самый благодарный слушатель того, что он сочиняет. Все новое он читает приходящим друзьям — Задорнову, Ярмольнику, Розенбауму, мне... Всем. Она слушает в десятый раз и все равно — в смешных местах смеется, а в трогательных плачет, как в первый раз. Я прихожу, она, смеясь, меня встречает. И провожает, смеясь. Энергии у нее — и за себя, и за него, она как энергоноситель, от которого он получает питание. Хорошее настроение дома всегда, когда бы я ни пришел, — один или вместе с Мишей. И это тоже она. Нина светится оптимизмом и верой в то, что все будет хорошо. А чего ей это стоит — знает только она. Я не знаю, никогда не видел, она никогда не показывала.

Она соскочила с гребня своей артистической карьеры, чтобы ему помочь, чтобы он встал, чтобы не потерял надежду. Она бросила Маргариту в булгаков-

ской пьесе и другие любимые роли, чтобы быть с ним рядом. Все время, пока ему плохо. И в те кризисные дни перед операцией он написал: «Вставай, артист, ты не имеешь права скончаться, не дождавшись крика “Браво”. Вставай, артист, ты профессионал! Ты не умрешь, не доиграв финал».

Теперь, Бог даст, финал не скоро, и авторство в этой надежде принадлежит не только блестящему хирургу Яну Мойсюку, который делал операцию, но и, конечно, Нине.

Итак: любовница, жена, друг, медсестра, сиделка, нянька, кормилица и водитель транспортного средства «Жигули» — что еще надо интеллигентному человеку, да к тому же поэту! Я верю, что и я живу с такой женщиной, что она меня не бросит в случае чего...

А они... Они недавно повенчались. Они и *там* хотят быть вместе.

Давай, Нина, улыбайся! Еще и еще. Опять и опять. Давай! Птичку помнишь, смешную такую? Ну! Давай!

Перенесемся обратно в тот год, когда мы бегаем как угорелые в поисках наблюдений по всем присутственным местам города. Это охота и спорт, это азарт. Благодаря наблюдениям автор, например, чувствует себя на курсе гораздо увереннее. Он шлепает этих наблюдений по четыре-пять на каждом занятии, и некоторые оказываются смешными и удачными, но вершиной этой наблюдательской деятельности является его открытие, что далеко бегать не надо, можно показывать то, что буквально под боком. Абитуриенты, поступающие в тот же театральный вуз, оказываются просто-таки золотой жилой для смышленного студента. Характеров, типажей — море, и из этого неисчерпаемого источника с тех пор утоляют жажду многие учащиеся театральных вузов. Действительно, за чем далеко ходить, возьмем Китай, как говорил один чиновник управления культуры.

Еще одно открытие было у «наблюдательного» второкурсника: в Шукинском училище работал оформителем учебной сцены Николай Дмитриевич Берснев. Он всегда ходил в одном и том же синем рабочем халате и черном берете, лихо сдвинутом набок. Но ходил, как ректор или как лорд. Нет, все-таки как ректор, но ректор всего, что живет, как начальник землетрясения, ходил Николай Дмитриевич по училищу. К тому же он разговаривал густым, прокуреным басом, плохо выговаривал буквы «с», «ц» и «з» и ко всем студентам и выбранной ими профессии относился с ярко выраженным сарказмом, переходящим иногда в презрение. Приехавших из Риги Пярна, Галкина и меня он называл не иначе как «погаными латышскими стрелками, которые помогли Ленину в восемнадцатом году». А иногда для разнообразия — «латышскими недобитками» и «фашистскими прихвостнями». Если хотя бы двое из нас стояли и курили перед входом, он подходил к нам с важностью члена комитета по Нобелевским премиям и, держа в зубах изжеванную папиросу, как сигару ценой в десять долларов за штуку, брезгливо спрашивал: «Ну, что, латышские стрелки, просрали Россию?!» А потом вальяжно просил прикурить, давая этим понять, что он нас простил.

Вот его-то я и показал однажды. С невероятным успехом, сравнимым разве с тем случаем, когда мы с Задорновым в школе играли Чехова и у меня падали штаны. И после этого его стали показывать многие, так что можно было даже образовать клуб имитаторов Николая Дмитриевича.

Самые удачные наблюдения потом составили что-то вроде концертной программы, с которой мы иногда выступали.

Наблюдения продолжают и сегодня, но приобретают характер более литературный, нежели актерский. Кажется.

Кажется, мы стареем вместе с нашими наблюдениями, однако в старении больше усмешки, чем печали; ведь это как посмотреть, можно, конечно, и по-

грустить, глядя в заплаканное окно на свою дождливую осень, а можно и посмеяться.

Вот, например, артист Театра на Малой Бронной Георгий Мартынюк переоделся в своей грим-уборной. Другой артист, значительно моложе, посмотрев на его обнаженный торс, решил сделать ему комплимент. Он не сказал, что у вас, мол, тело молодого человека, не сказал даже, что, если посмотреть на фигуру, вы еще дадите фору и т. д.— что-нибудь такое, что порадовало бы коллегу. Он похвалил иначе, я бы сказал, простодушнее. Он сказал: «Георгий Яковлевич, а ведь если вам голову отрезать, вы еще совсем молодой».

Или вот уж совсем очаровательное. Мы на гастролях в Томске со спектаклем «Чайка». Спонсор наших гастролей по всему очень богатый и авторитетный в области человек и к тому же очень радушный. Банкет с деликатесами — это так, вздор, он ведет нас знакомить с настоящими вложениями своего капитала: вот здание, это мое, там магазины, тоже мои, а вот деревянная скульптура, я вложил деньги в этого художника. Скульптура, к слову сказать, — чудовищное, громоздкое сооружение, плод запредельных алкогольных фантазий, шедевр абстиненций, но это ладно, а вот еще массажный кабинет, настоящий тайский массаж, я тут выписал настоящих девушек из Таиланда. Ладно, идем. Бассейн, джакузи, атмосфера знойных субтропиков и девушки-массажистки, которые имеют такое же отношение к Таиланду, как я — к Зимбабве, в лучшем случае они из Казахстана. Но не специалист, не этнограф — все равно не поймет: главное — в них есть восточный колорит. Кроме того, чувствуется, что девушки готовы за определенную плату (или если хозяин прикажет) выйти далеко за пределы оздоровительного массажа. «Давайте, — говорит одна, облизывая кончиком языка ярко окрашенный рот, — мы вас... помассируем». Она хочет угодить бизнесмену, ведь я его гость. Но я говорю им, что боюсь оказаться слишком потрясенным, и отказываюсь.

Идем дальше, и он показывает нам свою гордость: стриптиз в баре на втором этаже. Он сам это организовал, устроил, набрал девушек, заплатил за их обучение, вывел зрелище на европейский уровень и придал ему, как он думает, художественный смысл. Что артистам стриптиз, что они, не видали его? Вот пластические этюды с раздеванием, даже сценки, в которых две девушки покажут нам красоту и преимущества лесбийской любви — вот это артистов приятно удивит. Оказался, однако, обыкновенный стриптиз; все то же самое, музыка, шест, вокруг которого смешиваются хореография и акробатика, и стереотипные образы: или женщина-вамп, или опытная, гиперсексуальная блондинка, изнемогающая от собственной похоти, или, наоборот, застенчивая юная девочка, почти ребенок, в кружавчиках, которая раздевается, якобы жутко стесняясь. Апофеозом номера является момент, когда обнажается грудь. Это подается, как смертельный трюк, который не всякий зритель может вынести.

Все, по замыслу режиссера, которым наш хозяин втайне себя считает, должно иметь предельный эротический эффект тогда, когда персонифицировано, направлено на одного выбранного стриптизершей человека, когда все делается для него и соблазняют его лично.

В этот раз объектом сексуальных домогательств выбирается М. А. Глазский, чей восьмидесятилетний юбилей мы в театре недавно отметили. Глазский сидит у стойки бара, ближе всех к зрелищу. Хозяин делает знак кому-то, чтобы занялись именно Михаилом Андреевичем, и тот передает задание девушке, как раз той самой, которая воплощает образ гиперсексуальной эксгибиционистки. Она начинает мощную обработку Глазского, но человеку восемьдесят лет, не всякий даже кавказский долгожитель способен на возбуждение в этом возрасте. Однако надо знать Глазского. Он делает вид, что страсть пожирает его, просит, чтобы ему немедленно принесли выпить. Девушке кажется, что успех уже до-

стигнут, ее зад вертится прямо перед лицом Михаила Андреевича, она уже просто-таки совершает половой акт с воображаемым партнером, то есть с ним, о котором мечтала всю жизнь, и вот он наконец явился. Крещендо! Девушка разворачивается, бросает голую грудь на стойку рядом с бокалом Глужского и уже лицом и губами, совсем рядом обещает ему райское наслаждение. И тут Михаил Андреевич почти вплотную приближает к ней свое лицо, будто готовясь к неизбежному поцелую, и тихонько спрашивает: «А мама знает?»

Ну чем вам не наблюдение, которое даст сто очков вперед любому *показанному* наблюдению! Или вот эта трагикомическая история с одной красивой женщиной, которая захотела стать еще моложе и красивее к приезду из длительной командировки любимого мужа. Она решила сделать себе пластическую операцию, но муж вот-вот приедет, поэтому торопилась. И все получилось наспех и неаккуратно. Не были сделаны предварительные анализы на аллергию и многое другое. Да и врач, решивший пойти ради денег на нарушение врачебной этики, сделал все топорно и грубо. В результате все лицо у нее распухло и покрылось синяками, в особенности у глаз. И чувствовала она себя так, что ей впору в реанимацию, а не то что красоту наводить. Слава Богу, муж возвращается на несколько дней раньше и застаёт дома жену в таком плачевном состоянии. Он в ужасе, везет ее как раз в реанимацию.

В приемном покое института Склифосовского их первым делом встречает дежурная медсестра, которая видит травмированную жертву, всплескивает руками и, совершенно не ориентируясь в сфере чуткости и такта, обращается к мужу с вопросом: «Кто же это вашу бабульку (!) так побил?» Ну ладно бы еще побил, но «бабульку»! Мечта о быстром омоложении рухнула на самое дно старушечьего триллера. Хорошо, что временно и все было поправлено, но каков эпизод, в котором смерть с водевилем танцуют в паре!

Или вот какая прелесть! У моего приятеля в Риге есть телохранитель. Его зовут Шура. Шура давно уже перестал быть просто телохранителем. Он для босса и водитель, и товарищ, и помощник в доме, и многое другое. Но главное все же — телохранитель, со всеми признаками профессии: у Шуры литой торс, широкие плечи, кобура с пистолетом всегда под пиджаком справа, потому что Шура левша; шея диаметром с голову, но главное — лицо. Убедительное, невозмутимое, гранитное лицо солдата-наемника и слюдяные глаза, глядя в которые, человек с агрессивными намерениями сразу эти намерения теряет. Когда мы стояли возле машины, к нам подошел паренек и попросил десять сантимов. Остап Бендер на аналогичный вопрос беспризорного отвечал многословно и неконкретно: «Может, тебе дать еще ключи от квартиры, где деньги лежат?» Шура же обернулся к попрошайке, посмотрел на него и тихо сказал одно только слово: «Потеряйся». Тот заглянул в Шурины глаза и исчез с быстротой карты в руках у фокусника. Хотя в слове не было угрозы, это был скорее совет. При всем этом Шура много читает, каждую свободную минуту он с книжкой, складно и грамотно говорит, слушает музыку. А любимое музыкальное произведение у него — как вы думаете, что? «Реквием» Моцарта. Хотя... может быть, «Реквием» — это чисто профессиональное?.. Не знаю, не знаю, одно скажу: наблюдения за Шурой доставляли мне и актерские, и, если угодно, литературные наслаждения.

А филатовские наблюдения? Чего стоит один только рассказ о чиновнике из Госкино, приехавшем проверять, как идут съемки фильма «Чичерин». Почему бы не прокатиться даром в Италию и не проверить? Первый день для него как для деятеля культуры, естественно, — это ознакомление с культурными и историческими ценностями, музеи и прочее, а уже второй — самое главное, для чего приехал, — магазины.

Странный каприз одолел чиновника — спрашивать в магазинах «сколько стоит» именно по-итальянски. Его научили, что надо говорить: «Куанто косто?» —

слегка подивившись его капризу, потому что во всей Европе, если спросишь по-английски: «How much?» — будешь понят. Но он хотел именно по-итальянски. Поэтому прилежно учил фразу, запоминал: «Куанто косто, куанто косто», — что, однако, не помешало ему, войдя в первый же магазин, небрежно обронить: «Коза ностра». И все попадали на пол, приготовившись к нормальному ограблению. Даже если Леня все придумал, то это придумал поэт.

Он и в училище конструировал ситуации, которые не могли быть показаны на сцене, но как рассказы были замечательны. «Вот, — говорил, — представь, идет по пустыне человек, и вдруг прямо перед ним — королевская кобра, огромная, метра два. Он замирает в ступоре и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. А кобра шипит, постепенно подымается, раздувает капюшон, и ее немигающие глаза приговаривают путника к смерти. Никого нет, никто не поможет. Воздух застыл, ни одного движения, только язык кобры — туда-сюда, туда-сюда, ни звука — только злое шипение, сейчас последует бросок — и все. Момент истины. И тут... над ними пролетает птичка и роняет на голову королевской кобры помет. Прямо на корону, на раздувшийся капюшон грозного пресмыкающегося. Неприлично! И вот помет медленно стекает по кобриному немигающему глазу, лучше бы он мигал, зараза! А так ведь — никакой защиты!» — И дальше Филатов излагает нам внутренний монолог кобры во время того, пока *это* стекает. Птичка невольно разрушила весь драматизм ситуации, кобра — уже не хозяйка положения: глупо как-то оставаться грозной, когда у тебя с головы течет такое, совершенно не подходящее для смертельного броска. «Вот незадача-то», — думает кобра, и так далее, — все, что она думает, рассказывает Филатов, и это смешно до слез, до боли в животе. Он часто сталкивает в рассказах высокое и низкое и тычет пресловутую романтику в земной перегнутой, не смотря на то, что относится к ней более чем лояльно...

«Ползут альпинисты, — начинает Леня новый рассказ. — Трудное восхождение, но им надо добраться до вершины и водрузить на ней флаг нашей Родины. Они дали клятву, они должны! А тут еще непогода, шквальный ветер, метель. Они начинают терять людей, кто-то уже не в силах ползти и остается ждать товарищей в промежуточном лагере. Остаются двое. Обмороженные, ослабевшие, они уже еле двигаются. Один из них не выдерживает за пятьдесят метров до вершины и говорит товарищу:

— Ползи один, я останусь.

— Нет, — отвечает тот, — я тебя не брошу.

— Ползи, я сказал, у тебя одного больше шансов. Не забывай о флаге, мы обязаны его установить, и вымпел тоже. Флаг нашей страны должен там реять, и поэтому ты дойдешь, отдохнешь, а дойдешь и поставишь...

Альпинист смотрит на товарища, слезы замерзают и остаются круглыми льдинками на его обмороженных щеках. «Иди», — говорит тот и остается лежать в снегу. И наш последний альпинист преодолевает оставшиеся метры, уже полумертвым делает последний судорожный рывок и втаскивает свое израненное тело на крохотную площадку вершины. Все! Победа! «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем», — как в песне Высоцкого. Значит, не зря пот, слезы и потери, не зря замерзающие друзья там, внизу. Он вынимает флаг и вдруг видит, что воткнуть его не во что! Абсолютно ровная поверхность. И реять флагу нашей Родины, стало быть, тут не суждено».

Филатов рисует нам жуткую картину, в которой очевидна никчемность цели по сравнению с колоссальными затратами на нее, и не знает, как закончить.

— А что дальше-то? — спрашиваю я, зачарованный страшной сказкой и надеясь все-таки на счастливый конец.

— Да что, что? — говорит Леня. — Все...

— Как все?!

— Ну... он там лег и умер. — И, немного помолчав: — А флаг — сдуло! — заканчивает он категорично, с ненавистью к этому куску материи, из-за которого все и случилось.

Сегодня, я думаю, Леня пожалел бы последнего альпиниста, сказал бы, что тот заплакал и стал спускаться, подобрал товарищей, и они бы все благополучно вернулись домой. Но флаг все равно бы сдуло! Он бы ему не простил того, что у нас всю дорогу флаг выше человека, что тот — с серпом и молотом, что сегодняшний — с долларом на полотнище.

Словом, наблюдения сильно помогли тогда и продолжают помогать теперь. Но были еще и самостоятельные отрывки. И теперь я понимаю, что, говоря о Филатове, что он пришел на курс поэтом, а потом была многолетняя пауза, и вот теперь он снова к этому вернулся, я непростительно неточен. Паузы, в сущности, не было, он все время что-то сочинял, и в нем всегда жил писатель и еще отчасти режиссер. Не спал и тем более не умирал, а вел какую-то свою постоянную внутреннюю работу, и нельзя сказать, чтобы незаметную.

Когда у меня еще на первом курсе не получался самостоятельный отрывок, да что там не получался, он был готов к провалу, Филатов помог мне как режиссер, но своеобразно. Что за отрывок, из какой пьесы — это уже и не важно. Важны деталь, подход, парадоксальность мышления. Своей партнерше я что-то темпераментно выговаривал, ругался с ней, выгонял из квартиры со словами: «Я не могу больше терпеть вас у себя! Выселяйтесь немедленно!» — и т. д. Получалось неубедительно и хило. А уже вечером показ. «Что делать-то, Леня?» — спрашиваю его, только что посмотревшего отрывок, который не тянул не только на плюс, но даже на поощрение. (У нас система была такая. Хорошие отрывки отмечались плюсом, менее удачные — поощрением, и наши плюсы и поощрения шли в конце года в зачет экзамена по актерскому мастерству. Если скажем, ты сдал экзамены на тройку, но в течение года у тебя были два плюса за отрывки, ты получал уже четверку. Плохие отрывки не отмечались никак. Вот и мой отрывок мог рассчитывать разве что на ноль, на ничего.)

— Так что, Леня? Можно что-то сделать?..

Он молчит, думает.

— Ну, Леня, — тереблю я его.

— А ничего не делай, — говорит, — поменяй буквы в словах — и все.

— Как это?

— Да так. Веди себя точно так же, кричи на нее, но только вместо «терпеть вас у себя» кричи «не могу пертеть вас у себя», а вместо «выселяйтесь немедленно» — «вылесяйтесь немедленно!»

— И все?!

— И все!

— Поможет?

— Уверен.

Я так и сделал, поменял кое-где буквы и перемены даже выучил на скорую руку для верности. И кончилось все дело тем, что совершенно детская простота этого совета спасла мой отрывок, все хохотали, и я получил за него плюс. Малыми средствами, что называется. Моя партнерша, к сожалению, получила только поощрение, так как постоянно «кололась» — не могла сдерживать непроизвольный смех. Да и как могло быть иначе, если сшитый на скорую руку прием все время повергал меня самого в паническое изумление. Я был в ужасе от самого себя: «Господи! Что я несу?! Это же надо — пертеть вас у себя!»

Но Филатов знал, что изменение одной буквы может изменить не то что отрывок, а даже жизнь. У него был друг в Ашхабаде, радиожурналист. Вся страна наша возмущалась тогда поведением африканского диктатора Чомбе и всем

сердцем сочувствовала его противнику — борцу за свободу Африки с социалистической ориентацией Патрису Лумумбе, которого Чомбе всячески терзал и мучил в застенке. Вся страна переживала! И тот журналист тоже сделал репортаж о судьбе Лумумбы для ашхабадского радио. И шел он не в записи, а в прямом эфире, и все прошло блестяще, только в самом конце журналист, видно, расслабился. А в конце у него было намечено патетическое восклицание: «Мы с тобой, Лумумба!» И он, разогретый собственным возмущением и пафосом, голосом, звенящим от восторженного единения со всей страной по поводу неправильного поведения узурпатора Чомбе, выкрикнул в эфир слова, поставившие точку и в репортаже, и в его радиокарьере: «Мы с тобой, ЛуКумба!» Одна буква, а как все меняет...

Одна серьезная тайна стояла за некоторыми нашими самостоятельными отрывками. Материал, сами понимаете, не сразу отыщешь. И мы выходили из положения способом дерзким и опасным: отрывки писал Филатов. На экзамене они выдавались за произведения малоизвестных у нас зарубежных авторов. Подразумевалось, что они малоизвестны только у нас, а за рубежом о них уже все говорят, но железный занавес нашего театра не пропускает пока тлетворного влияния Запада. Расчет был нагл и точен, по принципу «Голого короля» Евгения Шварца. Ни у кого из педагогов не хватало смелости признаться, что и драматургов они этих не знают и об их пьесах ничего не слышали. Все боялись показаться невеждами друг перед другом и говорили, что, мол, как же, как же, конечно, знаем. «И этого одаренного поляка, как его? Ну да, Ежи Юрандота, и итальянского драматурга тоже. Да, конечно, и книги его у меня, кажется, в библиотеке есть. Надо посмотреть, освежить в памяти, интересный автор».

Словом, «зарубежные писатели» имели большой успех на учебной сцене, а мы почти все регулярно получали плюсы за отрывки из их фиктивных произведений. Один раз наглость уже достигла предела, когда игрался отрывок из неизвестной, еще не опубликованной якобы пьесы Артура Миллера. Не последняя фамилия в мировой драматургии, но Филатов и за него написал. Анонимный версификатор не обнаружился долго, и не нашлось ни одного мальчика, который усомнился бы в том, что на короле красивое платье.

Этот мальчик нашелся среди нас. На одном обсуждении в присутствии всей кафедры шел разбор отрывков. Дошла очередь до нашего. Педагоги отметили наши работы и стали наперебой хвалить изумительную драматургию Артура Миллера, в произведениях которого просто невозможно играть плохо; и тем, что мы играли хорошо, мы в первую очередь обязаны этому гениальному американцу. И тут наш искренний и честный Боря Галкин радостно и громко заявил: «А это Леня Филатов написал!» Он всем сердцем желал сделать хорошо, он хотел, чтобы и Филатова похвалили, чтобы все было справедливо, а то все лавры успеха у нас, а автор — в тени...

Не прошло и минуты, как выяснилось, что искренность не всегда обаятельна, а порыв к добру не всегда уместен. И что они могут обернуться и большой неловкостью. Ректор Б. Е. Захава (один из тех, кто был в восторге от Миллера) побагровел и стал тяжело сопеть. Другие педагоги уставились кто в стол, кто в окно; кто в смущении, а кто еле сдерживая смех. Долгое и страшное молчание воцарилось в замершей от неудобства аудитории.

Да-а... в сложном положении оказался наш ректор. И большинство педагогов — тоже. Выйти с честью из такой ситуации почти невозможно. Чаще всего делают вид, что ничего не заметили, не слышали. Сейчас такое не проходило: Боря сказал громко, и первая реакция на его слова — смущение — уже была. «Что ж вы из нас идиотов-то делаете? — с горечью произнес кто-то из учите-

лей.— Ну сказали бы, что Леня пишет, мы бы только рады были». Тут мы стали наперебой извиняться, признаваться, что и другие отрывки тоже Леня написал, не сознавая, что это признание только усугубляет ситуацию; начали говорить, что ставили фамилии зарубежных писателей, чтобы отрывки пропустили; что боялись, как бы в противном случае не отнеслись к отрывкам без должного пиетета и т. д. Но лица педагогов все мрачнели, и извинения они пока не принимали, ведь их унизили, можно сказать, при всех. До этой минуты они считались образованными, интеллигентными людьми, а тут выяснилось, что они не только не знают толком Артура Миллера, но и то, что и выдающийся итальянский драматург Нино Палумбо, и другие авторы — чистая фикция, их нет в природе, и что их вот таким образом бестактно разыграли...

Все в конечном итоге уладилось, но, кажется, Борис Евгеньевич Захава так до конца Лёне и не простил этого эпизода.

По-настоящему веселился только один из наших педагогов, Ю. В. Катин-Ярцев. Он был одним из самых любимых, и он был единственным, кто сомневался в существовании целой плеяды зарубежных драматургов, *внезапно* появившихся в мировой культуре. В силу природной доброты и любви к нам Юрий Васильевич молчал и позволял событиям развиваться своим чередом, ожидая, видимо, что, когда Филатов напишет что-нибудь из Шекспира, все само собой и обнаружится.

Процесс сочинительства продолжался у Лени все время, даже когда он не был овеществлен — не только изданными книжками, но и простыми записями. Это называется устным творчеством. Я потом узнал, что почитаемый нами писатель Сергей Довлатов тоже проверял все сначала на слушателях, а потом, отшлифовав слова в «устном творчестве», записывал. И в тот период расцвета своей кинодеятельности, когда Леня писал очень редко, его монологи в разговорах были своеобразными литературными моделями. Писательское творчество воплощалось в монологе. К слову сказать, это то, чем сейчас занимается и Задорнов. Его концерт не что иное, как трехчасовой монолог на разные темы.

У Бориса Хмельницкого есть очаровательный рассказ о том, как однажды вечером он пришел в ресторан Дома кино и за одним столиком увидел Абдулова, Филатова и Панкратова-Черного. Они пригласили его присоединиться. Он сел и через пять минут понял: то, что он принял поначалу за оживленную беседу, представляло собой три отдельных монолога в автономном режиме. Каждый говорил о своем, только одновременно, а со стороны казалось, будто они, пытаясь тремя сигаретами, о чем-то оживленно дискутируют. Можно, конечно, сделать вывод, что большая слава обычно увеличивает объем монологов и приучает человека слушать преимущественно себя, но в данном случае я уверен, что Филатов собирал очередную литературную модель. Насчет остальных не знаю, а Филатов точно собирал.

А когда ничего серьезного на бумагу не шло, сочинялись пародии. Пародии Филатова стали чуть ли не легендой. Их успех был обусловлен глубоким знанием пародируемых, их стиля, манеры, и — самое главное (что труднее всего) — Леня находил и воплощал в пародиях их человеческие слабости. Актерский тренаж на наблюдениях и тут помог, он еще и показывал их всех: и Рождественского, и Вознесенского, и Михалкова, поэтому тут был двойной эффект — и литературная точность, и актерский показ. Были пародии и только литературные, без участия в них Филатова-артиста: на Окуджаву, на Слуцкого, на Самойлова. Чтобы так написать пародию, скажем, на Слуцкого, надо его хорошенько почитать и узнать. Он и читал. И знал поэзию не хуже любого литературоведа. То количество стихов, которые Филатов пропускал через себя, изумляло меня всегда. Знал он, конечно, поэтов любимых — Кушнера, Коржавина, Галича и многих других, знал и не очень любимых; и почти не было для него ни одного незна-

когого поэтического имени. Сейчас поменьше, но все равно знает. Я сознательно опускаю пока фамилию Пушкин, потому что об этом стихотворце пойдет разговор отдельный и несколько позже...

А тогда мы, и особенно Ленья, постоянно читали друг другу образцы высокой поэзии. И сидел он в Театре на Таганке в одной гримерной с Высоцким, что тоже, наверное, не повредило. Стихов тогда у него было значительно меньше, чем в студенческие годы, и можно было бы тот период назвать поэтическим застоем, если бы... если бы не сказка «Про Федота-стрельца — удалого молодца», которую потом стали цитировать все, вплоть до Горбачева.

Однажды Михаил Сергеевич показал Лене, что близко знаком с его литературными опытами. Забавнее всего было то, что он процитировал фразу, самую характерную для всех наших королей и президентов. «Утром мажу бутерброд, сразу мыслю — как народ?» — сказал тогда Михаил Сергеевич, с удовольствием намазывая бутерброд. Зрмая песня...

Но тут справедливости ради нельзя не отметить, что в тот тяжелый предоперационный период Горбачев был единственным из государственных деятелей, кто позвонил Лене и Нине домой и спросил: не нужна ли помощь?

Весело шла учеба. Отрывки игрались не только филатовского производства; встречался и Достоевский, и другие неплохие авторы... Был еще один принцип, по которому выбирался материал: это взаимная приязнь, желание поиграть что-либо именно с этим человеком (вот как теперь в антрепризах). Или поиграть во что-либо, например, в любовь.

Отрывок с любовным содержанием часто становился стартовой площадкой для любовной истории самих исполнителей. Короткой или длинной — как пойдет, но становился. Нельзя же, понимаете, долго репетировать сцену с поцелуем и на этом остановиться. Зачем же так мучиться? Надо дать этому продолжение! Бывало даже, что продолжение оборачивалось законным браком, а начиналось-то все — тьфу! — с отрывка! То есть получалось, что если юноша имел какие-то виды на девушку с курса, или, наоборот, девушке нравился юноша, то она или он предлагали совместную работу. Примитивное притяжение полов, таким образом, приобретало благородные черты случайности, красивого романа, который начинался всего лишь от добросовестного погружения в материал, — короче, вы понимаете, что, если бы не Чехов, не Толстой, не Бунин, не этот Лопе де Вега в конце-то концов! — ничего бы и не было. Это они во всем виноваты, не надо было так хорошо описывать любовные страсти и поцелуи!

Не думайте только, что весь наш курс лишь то и делал, что лечил отрывками любовную лихорадку. Что вы! Были же еще и обычные работы, с товарищеским партнерством — и не более того! Были ведь еще и однополые, так сказать, отрывки... Вы скажете: ну и что? Будто, мол, нет однополой любви... Но не забывайте, что в то время в театре еще не было этого направления, этой «голубой» дороги, которая в наши дни превратилась в широкую трассу, и что в песне «а вокруг голубая, голубая тайга» подразумевалась только тайга и не более. А название мультфильма «Голубой щенок» вовсе не означало, что щенок был нетрадиционной сексуальной ориентации и интересовался только кобелями...

Поэтому, например, мы с Кайдановским играли сцену из «Преступления и наказания», совершенно не опасаясь, что нас не так поймут. Конечно, отношения Раскольников с Порфирием Петровичем носили несколько болезненный характер, но все же не до такой степени! А с самой, пожалуй, яркой и талантливой студенткой из нашей компании мы играли Хемингуэя. О ней я хочу вам рассказать особо. Впрочем, вы ее знаете, ее зовут...

Нина Русланова

«Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты», — спел когда-то Булат Шалвович Окуджава. Давайте! Нам всем, всей нашей стране до любви пока далековато, так давайте потихоньку учиться хотя бы не ненавидеть, не завидовать, не говорить друг о друге гадости. Понимаю, трудно, и все же, все же... Ведь комплименты говорить гораздо приятнее. И желательно — в лицо! Чтобы человек чувствовал, что он любим, понят, что он нужен. Человек от этого дольше проживет. А то мы привыкли, знаете, говорить хорошее за гробовой доской, когда уже поздно; когда красивая надгробная речь адресату уже не нужна и часто выглядит как акт творческого самовыявления говорящего. Поэтому лучше сегодня, сейчас и с удовольствием! И если получится, то выйдет прозаическая версия филатовской телепередачи «Чтобы помнили», только с небольшим добавлением: «О живых...»

Эх, да что там версия! Ведь была же и у меня своя телевизионная передача под названием «Окно», где я все это и пытался осуществить, где приоткрывалось окно в тот внутренний мир героя программы, в который он до меня и не пускал никого. Поэтому, например, все через то «Окно» увидели впервые Сашу Панкратова-Черного не только веселым, компанейским парнем из кинокомедий, клипов и реклам, не только участником ТВ-игр и всяческих шоу, но и человеком, сочиняющим, оказывается, грустные лирические стихи. Там Саша из привычного всем «шоумена» превращался, так сказать, в антишоумена. У нас на ТВ ведь кто платит, тот и музыку заказывает, а под негромкую музыку этого «Окна» разве потанцуешь, поиграешь во что-нибудь, разве под нее рекламу дадут? Вот и закрылось «Окно», едва открывшись... Но тем не менее восемь программ мы с режиссером А. Торстенсеном все-таки успели сделать. И одна из них была про Нину Русланову...

Мы долго с ней не виделись — почти со студенческих лет, ну, может, и встречались случайно раза два-три, не более, а тут я предложил ей сделать про нее передачу, и мы пообщались, что называется, плотно. Когда мы со съемочной группой и Сашей Панкратовым-Черным приехали к ней, выяснилось, что она живет в том же доме, где училась, подъезд в подъезд с театральным училищем им. Щукина. Ничто не изменилось. И никто! Мы встретились так, будто только вчера сдали экзамен по актерскому мастерству, а сегодня решили это отметить. Саша нужен был не только для дела, но и для радости. Водка плюс Сашино обаяние призваны были создать непринужденную атмосферу почти семейного праздника. Кто-то мне потом сказал, что если бы на столе стояла не просто водка, а водка, допустим, «Довгань», да к тому же этикеткой к камере, то это могло бы стать скрытой рекламой, за которую обычно платят. Мне и в голову такое не приходило, тем более что незадолго до съемки с Ниной я побывал на юбилее бывшего хоккеиста Владимира Петрова. Помните знаменитую тройку: Михайлов, Петров, Харламов? Так вот, это тот самый Петров. На торжестве выступили два представителя фирмы «Довгань», которые рассказали о своих сомнениях по поводу выбора подарка. Долго думали, мол, что же такое Володе подарить, и наконец решили (тут они вынули толстый-претолстый фолиант) подарить... Библию.

«Ну что ж, хороший подарок, недорогой, но со значением», — подумал я... и поспешил, потому что один из дарителей закончил: «Библию с автографом самого Довганя...»

Ну что тут скажешь?... Лучше бы, конечно, все-таки с автографом автора... или хотя бы его редакторов... Но это так, к слову...

Поэтому мысль о возможных инвестициях в мою программу со стороны фирмы, глава которой расписывается на Библии и фотографируется на водку,

не могла украсить собой мое скромное воображение. Я не очень деловой человек, а если точнее — совсем неделовой. Поэтому и передача не идет. Ну а Русланова — тем более! Ни одного своего достижения — ни званий, ни премий, ни триумфов — она не обернула в свою пользу. Я уже говорил, что входить в рынок, будучи обремененным идеалами, трудно. А она с идеалами, непрактичным грузом, висящим на легких ногах благополучия. Идеалы, знаете ли, мешают свободе маневра, поэтому ни богатства, ни машины, ни бриллиантов, ни норковой шубы у Нины нет.

Есть скромненькая квартирка, в которой она живет вдвоем с дочерью, ежемесячная зарплата в театре, которую получает в день американский мусорщик, да гонорары за нерегулярную работу в кино. Эти гонорары, а тем более сумма ее оклада в театре вызвали бы только недоверчивую улыбку у любой европейской актрисы такого же ранга, а потом восклицание, что-нибудь типа «не может быть!». Может, леди и джентльмены, еще как может!

Можно, оказывается, народной артистке быть одновременно знаменитой и бедной. Бедной не только по сравнению с ведущими актрисами Запада, но и по сравнению с любой карликовой звездой нашего шоу-бизнеса. Быть далекой, во всяком случае, от элементарного благополучия и достатка...

Можно быть одновременно всенародно любимой и одинокой...

Можно купаться иногда в цветах и славе, но одновременно знать, что по большому счету тебе никто и никогда не поможет...

Можно сегодня быть у всех на устах, а уже завтра о тебе никто и не вспомнит, если ты не пойдешь все-таки «по пути реформ» и не подогреешь интерес к себе чем-нибудь вроде скандала...

Но еще лучше — внезапная смерть, тогда взлет популярности будет гарантирован. А самое сенсационное — это самоубийство, тогда, уж точно, все газеты... дня два... и по телевизору скажут...

Печально и *слишком* типично для нашей необъятной Родины. Хорошо бы все-таки, чтобы помнили и о живых, в особенности о тех, кто не способен раздеваться публично и не может предложить рынку ничего, кроме собственного таланта. Хорошо бы, но это так... пустое, вялые призывы без минимальной даже надежды, что их кто-нибудь услышит...

«Все России верны, всем взаимности нет от нее», — как высказался однажды поэт Юрий Ряшенцев, написавший, оказывается, не только «Пора, пора, порадуемся» — этот радостный французский шлягер для захламленной русской территории, но и вот эту приведенную выше строку. Он еще там же написал: «Всем вам счастья, друзья, ну а с горем — не будет проблем». Нина хлебнула горя предостаточно. Начиная с детдомовского детства, жизнь не переставала ее колотить. И она научилась обороняться. Держать удар. Научилась быть сильной и временами даже вредной. Поэтому у нее репутация «сложного человека», своенравного. А вы попробуйте-ка быть простым человеком с легким характером, имея за плечами такую судьбу. Ведь надо было выжить и стать той Руслановой, которую знают как одну из лучших актрис той самой любимой России, от которой нет взаимности. Поэтому так... Вот такой характер...

Конечно, Русланова — стихия, по сравнению с которой тайфун «Торнадо» — легкий майский ветерок. Легенда о том, что она правой рукой может нокаутировать плотного мужика, тоже выросла на реальной почве. Да, был такой случай, причем с милиционером, который привычно хамски с ней разговаривал.

Все это есть, но ты одна, и надо растить дочь. И еще — свой талант. А таланты ведь у нас как растут? Да как сорняки: упрямо, дико и с колючками, вопреки всему. Не благодаря чему-то, а именно вопреки. Их выпальывают, с ними борются, а они все равно растут. Дикорастущие у нас таланты. Редко бывает, ког-

да талант вырастает в тепличных условиях. У Нины не тот случай. Все — своим талантом и полагаясь исключительно только на саму себя, без «помощи» папарацци и желтой прессы.

А ведь у нее не просто талант, у нее редчайшая его разновидность — талант интуитивный. Если она и не знает, как играть, то догадывается. У нее редкое чутье на правильную форму, на юмор, на возможное проявление любви. «А откуда любовь-то в этих обстоятельствах?» — спросите вы.

А оттуда, что ей вовсе не хочется быть сильной, она вовсе не «битая тетка», как может показаться, а женщина, которой хочется быть слабой и нежной, но жизнь не дает ей шанса быть такой. Я помню, я знаю, я видел, какой неожиданно мягкой, женственной и красивой может быть Нина Русланова. Вы только перестаньте выпалывать ее, как сорняк, окружите ее нежностью, растопите в любви, и тогда!.. вы увидите!..

Мы пришли к ней домой. Она, хоть и знала о встрече и съемке, все равно поначалу держалась напряженно и настороженно, готовая к отпору в любой момент. Но постепенно оттаяла, почувствовала, что никто ее не обидит сегодня, и вот мы сидим, выпиваем, балагурим и на камеру уже не обращаем никакого внимания; а если что-то не то проскочит — вырежут при монтаже.

Я беру гитару и пою ей песню с надеждой еще поднять наше, ее настроение, песню, в которой есть что-то очень важное и про нас:

Когда-то в юные года
 Нам ворон каркнул: «Никогда!»,
 Но не случилось ни черта
 Того, что он накаркал.
 И есть на свете чудеса,
 И есть на свете паруса,
 И море есть, которое не значитя на картах!

Да-да, то самое, которое озеро Чад с Кайдановским, которое было в нашей жизни и которое всегда есть у нас, что бы ни случилось. Как мечта... Или нет — высокая уверенность в том, что мы все-таки верно живем и себе не изменяем...

Мой друг, какая благодать — жить, восхищаться, рифмовать.
 Не покупать, не продавать, давай содвинем рюмки.
 Четыре сбоку, ваших нет, нам вместе скоро триста лет,
 Но в душах тот же вольный свет, мы нынче — снова юнги, —

пою я, и лицо Нины светлеет, и мы сдвигаем рюмки, и Саша вытирает с усов «непрошеную слезу».

Съемка закончена. Мы выходим на улицу, идем по переулку Вахтангова, мимо нашего училища, путем нашего театрального детства, к Арбату. Хохочем, валяем дурака... Саша в Нининой шапке, которую она на него в шутку нахлобучила, я в расстегнутой куртке и Нина — в розовом пальто за пятьсот рублей...

Суровый наш хурук Вера Константиновна Львова внушала страх всем студентам. Когда она дребезжащим старушечьим сопрано кричала на кого-нибудь из нас, у жертвы ее гнева кровь не стыла в жилах, она просто сворачивалась. Но это была лишь форма поддержания дисциплины, по-другому с этими отпетыми студентами, наверное, и нельзя было. На самом-то деле Львова была добрейшим существом, она всем студентам одалживала деньги и часто забывала о долге, удивлялась, когда возвращали. Но больше всех она любила Нину, она чувствовала, что из девочки будет толк, а перед всяким талантом Вера Константиновна втайне преклонялась. Втайне потому, что нельзя было этого показывать опять-таки из воспитательных соображений.

Пожалуй, педагогика была основным даром Веры Константиновны, актерское ремесло или тем более режиссура — не самые сильные ее стороны. Спектакли ставили в основном другие. Вот, например, Этуш, чей актерский талант

вызывал у нас безусловное уважение и доверие. К тому же тогда прошел по экранам фильм всех времен и народов «Кавказская пленница», в котором Владимир Абрамович блеснул исполнением роли человека, как сейчас принято говорить, кавказской национальности. И все студенты — уральской, каспийской, средневалдайской и балтийской национальностей — были очарованы экранным юмором Этуша. Эта роль потом навечно прилипла к Владимиру Абрамовичу, как и сказанное с акцентом: «Красавица, комсомолка, спортсменка» — к Наташе Варлей.

Когда мы с Ниной вышли из ее дома на улицу, то прямо на пороге Щукинского училища встретили Владимира Абрамовича. Стали вспоминать поставленный им дипломный спектакль «На дне». Жаль, что уже камеры не было и наша — действительно неожиданная, а не заложенная в сценарий — встреча не была снята.

В «На дне» были заняты почти все, кто уже побывал на страницах этой книги, ну, кроме Задорнова, разумеется, по объективным причинам, и еще Дыховичного, который в ночлежке Хитрова рынка смотрелся бы так же, как Людвиг ван Бетховен на дискотеке или, допустим, белый смокинг — на отдыхающем в подъезде бомже. Иван в ночлежке на нарах было бы почти то же самое, что Сережа — в Израиле (о Сереже вы уже читали в главе «Однокурники»).

Сережа в спектакле исполнял роль Васьки Пепла. Стихийное, удалое русское буйство воплощал Сережа в этом образе: то есть все то, что в Израиле совершенно не нужно. Саша Кайдановский был Сатиным, Леня Филатов — Актером (лучшая, кстати, его роль в дипломных спектаклях), а Нина Русланова очень здорово сыграла Настю, подружку Барона. Барона изображал я, беззастенчиво и беспомощно копируя все то, что по описаниям современников делал в этой роли Качалов. Все — вплоть до картавosti и внешнего вида. Между Качаловым и Качаном была столь же широкая пропасть, как и между фамилиями. То был Качалов, а тут как бы усеченный Качалов — просто Качан, усеченная бледная копия. Не горжусь я той своей ролью, нет, не горжусь...

Сережа Вараксин играл небольшую роль Алешки, а Лукой был Стасик Холмогоров, с которым вы еще не знакомы. Имя Стасик ему очень шло, его иначе никто и не называл. Белокожий, полноватый, улыбчивый и весь такой кудрявый-кудрявый Стасик. Его кудри были «цвета беж», как написал Филатов в песне «Оранжевый кот», но Филатов там — про апельсины, а я — про Стасика. Его белая-пребелая кожа имела одно свойство: если Стасика что-нибудь смущало, она рдела, и (даже не извиняюсь за штамп) нежный девичий румянец разгорался на его щеках. Стасик был награжден природой еще и светло-рыжими, в цвет волос, ресницами. Словом, Стасик — и все тут... И если бы определение «кровь с молоком» не было так противно по содержанию (сами посудите — кровь с молоком. Вдумайтесь только! Какой-то жуткий напиток для новорожденного упыря), то в общепринятом смысле оно бы Стасику очень подошло.

Когда мы через много лет встретились на Пушкинской площади, он был все тот же Стасик, точно такой же, только располнел побольше да кудрей чуть поменьше, но, когда он протянул мне свою визитку, я прочел: «Стас Холмогоров. Артист». Вот так вот! Сейчас я вас порадуя игрой слов: став Стасом, Стасик статус сменил. Видно, нехорошо ему было в той стране, куда он собрался, оставаться Стасиком. И даже простое слово «артист» в его визитке выглядело как звание.

Стасик учился хорошо, играл на гитаре, пел некоторые наши с Леной песни, потом работал с Леной же в Театре на Таганке, ничего большого и значительного там не играл, а вскоре после нашей случайной встречи уехал далеко-далеко, в Канаду. Говорят, у них там есть даже какой-то русский театр, в кото-

ром Стасик, пардон, Стас и работает. Сережа теперь тоже туда собрался, видно, иврит дался ему не так легко, как хотелось бы.

Место нашей последней встречи — Пушкинская площадь — будто специально выбрано для того, чтобы я, после того как Стасик ушел, остался там, посмотрел на памятник и вспомнил то, что из нас делал...

Пушкин

...хотя, полагаю, формирование вкусов и личностей студентов театрального училища им. Шюкина в планы поэта не входило. Но надежда на это у него явно была. Иначе не написал бы: «И назовет меня всяк сущий в ней язык», — что и высечено на пьедестале рядом с фамилией, без которой тут запросто можно было бы и обойтись. Точно так же возле каменного изваяния лошади можно не писать «лошадь». И так ясно, что не заяц.

Ведь стоит же в Швейцарии памятник человеку в котелке и с тросточкой, на котором высечено: «От благодарного человечества», — и всем ясно, что это Чаплин. Но у нас, видно, не всем.

И вот гляжу я на Пушкина, зеленого, с голубем на голове, и повторяю про себя его слова, в который раз удивляясь их «современности»:

О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над ним ругается слепой и бурный век.
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье?

Так ведь это поэта приведет, Александр Сергеевич, Блока или там еще кого, а другие назовут вашу площадь «Пушкой» и будут на ней «забывать стрелки». «О, люди, жалкий род...»

Ах, не плачьте, бывший мечтательный мальчик Вова, бывший романтичный юноша Володя и нынешний сентиментальный дядя с идеалами и гитарой наперевес! Не суетьте! Поэта ведь «приведет в восторг и умиленье»? Ну вот и все! Большого и не надо! Поэт-то — в широком смысле этого слова — тот, для кого поэзией окрашено все: он так смотрит на все и на всех, он так живет, так любит и верит, так чувствует и думает.

Чувство и ум, конечно, предметы неосознаемые, да и вообще не предметы, а уж если и предметы, то не первой необходимости, во всяком случае, сегодня. Даже ум сегодня имеется в виду иной, по принципу известной американской поговорки: «Если ты такой умный, где твои деньги?» А мы-то имеем в виду ум Пушкина. Он же умный? Бесспорно! А где же тогда его деньги, если сто тысяч долга после смерти? Значит, что-то здесь не то... И в американской поговорке тоже что-то не так...

Но пока... пока... вьется над «Пушкой»: «Ты уехал прочь на ночной электричке» и «Голубая луна», и певец из племени «сексуальных меньшинств», которые еще чуть-чуть — и станут большинством, поет на его двухсотлетию романс на его же стихи: «Я вас любил, любовь еще, быть может», — и заканчивает якобы случайной оговоркой, пленительной, однако, для всех педерастов: «как дай вам Бог *любимым* быть другим». Женолюб Пушкин, конечно, хотел бы его наказать, но стреляться с дамой!.. Ну разве что надавать по попе... Но и этого он не может, он стоит теперь на пьедестале недвижимый, закованный в бронзу, зеленеет от злости своей патиной и смотрит сверху, свесив курчавую голову, на наш безумный мир, на наше совсем несказочное Лукоморье...

Что же до нас, то он для нас, студентов, был, как бы сейчас отметили в средствах массовой информации, культовой фигурой. Сказать, что мы после школы,

которая в те годы прямо-таки убивала интерес к Пушкину, вновь его для себя открыли, что мы любили его, — это ничего не сказать. Вернее всего — мы ему поклонялись, а еще вернее — мы его *очень* уважали. Мы вообще-то мало кого уважали, но его — очень! Но и это — неполно. Главным скорее всего было то, что все мы поголовно в душе были поэтами, что нас приводили в восторг игра ума, точная метафора, тонкая передача настроения, талантливое выявление страсти. Хорошие стихи рождали ложное, но манящее предощущение, что вот-вот, еще немного — и поймешь ВСЕ; зябкий ветерок пробежит по жилам как предчувствие того, чему не суждено сбыться, как перед грозой, которая пройдет мимо. И хочется побыстрее самому сотворить что-то такое хорошее, значительное.

И вот все такие ощущения от поэзии, весь этот набор чувств, сконцентрировались для нас в сверхплотной звезде под названием «Пушкин». Мы даже сделали самостоятельный спектакль по стихам, письмам, отзывам современников. Стасик Холмогоров читал пушкинские стихи, которые заканчивались словами: «И огонь поэзии погас!» Его учили, что слово «поэзия» надо произносить через «о». Не пАэзия, а пОэзия. Стасик так старался, что перестарался. Получилось, как с «Лукумбой». Он правильно произнес: «поэзии», через «о», а потом, ставя жирную точку, сказал: «ПОгас». С нижегородским акцентом, как А. М. Горький. Сам испугался страшно, проявился уже описанный выше девичий румянец, который разгорелся и долго цвел на его смущенном лице. Чуть все не испортил, остальным же смешно стало, а надо было сдерживаться, дальше в композиции шли не менее серьезные стихи.

И был еще дипломный спектакль «Последние дни» по пьесе Булгакова. Пушкина там на сцене нет, а есть его друзья; и есть Бенкендорф, Дубельт и другие — не друзья. Леня Филатов играл там стукача, который по заданию Третьего отделения следит за Пушкиным. Трогательно до невозможности, потому что Лёнин стукач к Пушкину привязался всем сердцем и относился к нему уже не как к объекту слежки, а как к родному. Горевал, когда Пушкина ранили, и был каким-то потерянным: вот, мол, Александр Сергеевич умрет, а мне теперь чем заниматься, как жить? Пушкин его переродил, забитый, полуграмотный стукач стал другим человеком, и Леня это смог передать. На одном из докладов Дубельту он предъявить ничего интересного для жандармов не мог и поэтому принес листок с последними стихами. Стал, запинаясь, их Дубельту читать: «Буря мглою небо кроет...» Дошел до слов: «То по кровле обветшалой вдруг соломой зашуршит, то, как путник запоздалый, к нам в окошко... — Тут Леня умолкал, словно сомневаясь, правильно ли понял последние слова, затем из нескольких вариантов выбирал все-таки самое близкое для себя, родное, и заканчивал: — Настучит». И смотрел по-собачьи на Дубельта: правильно я сказал? У Булгакова было нормально — «застучит», но Филатов оговорку и как ее обыграть — сам придумал.

Так Пушкин повлиял, что даже наше Шукинское училище мы для себя считали своего рода лицеем, этаким очагом свободомыслия в годы застоя. Во всяком случае, нам хотелось так думать. Поэтому все, что происходило во время последнего пушкинского юбилея, воспринималось нами поначалу как личное оскорбление. Потом оно уступило место юмору. Чего тут вопить: не трогать святое! — когда оно уже залапано так, что лица не видать. Уже перестали возмущать, а потом и удивлять матрешки «Наталья Николаевна», яйца «Наталья Николаевна», уже не трогали замыслы оргкомитета пустить по Тверской десяток Пушкиных и десяток Гончаровых, чтобы они раздавали прохожим листовки с текстом «Я помню чудное мгновенье», уже смешно стало, когда нижегородский губернатор сказал, что если бы не наша нижегородская земля, если бы не Болдино, то мы, может, и не узнали бы Пушкина как гения. Как же дол-

жен был тогда хвастать начальник тюрьмы, долговой ямы, где Сервантес написал «Дон Кихота»? И что должен был сказать начальник администрации того района, где село Михайловское? Или мэры Москвы, Петербурга, Кишинева и Одессы? Надо было бы ответить.

Растаскивали Пушкина все кому не лень. Даже казино «Золотой дворец» — и то решило мимо не пройти. Надо же было тоже устроить что-то в честь поэта. А что у Пушкина ближе всего по тематике? Ага-а! Игра, ведь Пушкин и сам был игрок. Вот тема! Руководитель программы Лена позвала меня на генеральную репетицию, потому что я помогал со сценарием. Тот просветительский ликбез, который я там настроил, был нужен казино, как удаву носовой платок, но я уже привык, мне было уже все это занято, и я был готов ко всему.

Поэтому, когда один из ведущих объявил, что Пушкин был большой бабник, не пропускал ни одну юбку, что у него было много любовниц, и тут, как живая иллюстрация того, к чему Пушкина всегда тянуло, пошел стриптиз, — я даже не удивился. Во-первых, стриптиз в «Золотом дворце» каждый вечер, и лишать завсегдаев этой радости никак нельзя. Во-вторых, девушка действительно красиво все делает, и, в-третьих, как явствует из текста ведущих, сам Пушкин был бы совсем не против. Так что Пушкин и стриптиз совпадают, все нормально.

— А она что, до самого конца будет раздеваться? — спрашиваю я Лену.

— Конечно.

— У меня идея, — говорю. — Представь: решающий момент, она стоит спиной и снимает трусики, а у нее на голой заднице надпись: «Пушкину двести лет!»

Лена и ее помощница смотрят на меня, и я вижу, что первые пять секунд они серьезно обдумывают мое предложение.

— А вот еще, — продолжаю я, как будто заводясь. — Кто-то из ведущих говорит, что Пушкин все время ходил с тяжелой тростью и на вопрос «зачем» отвечал, «чтобы рука не дрогнула, когда придется стреляться», и тут... — я делаю короткую паузу перед «гениальной находкой», — выходит силовой жонглер. У вас есть силовой жонглер?

Лена смотрит ошарашенно, а помощница — почти с испугом: надо же, как фонтанирует! Эк его дурака валяет, ты что, не видишь?»

А в том же Нижнем Новгороде большой праздничный концерт, я в нем тоже участвую, пою, естественно, нашу с Леной песню «Пушкин». Подхожу к помощнице режиссера посмотреть программу. В ней шестым номером значится: арию Ленского поет солист НАТОиБ такой-то. А в это время, пятого июля, продолжаются бомбардировки Югославии. НАТО как раз и бомбит. Потом, правда, выясняется, что аббревиатура расшифровывается вполне мирно: Нижегородский Академический театр оперы и балета. Но никто из нижегородцев этого забавного совпадения не замечает.

Вслед за губернатором все по нижегородскому ТВ подхватывают мысль, что гений Пушкина родился именно здесь, неподалеку. А в этом «неподалеку», в самом Болдине, в магазине, где продают спиртное, я наблюдаю апофеоз всего происходящего. Что там уже есть водка «Болдино», водка и вино «Болдинская осень» — это понятно, странно даже, если бы не было. Но продается еще одна водка. На этикетке молоденький такой Пушкин с кукольным личиком. Он за столом с женщиной в платке, завязанном по-деревенски, она к нам спиной. На столе опять же бутылка. А название у новой водки такое: «Арина Родионовна рекомендует». Не хотите — не пейте, конечно, но она рекомендует. Как бы вам не пожалеть потом! В общем, Пушкина двести... и пива.

Так что, если ко всему, что происходит у нас, относиться возмущенно или даже просто серьезно, то можно сойти с ума. Надо принять как должное и неиз-

бешное: мы живем в Лукоморье, а там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях... стриптиз... там ведь лукоморы живут, так что всякое там может случиться...

Так или иначе гениальная и просто хорошая поэзия действительно рождает острое желание попробовать самому что-то этакое сделать, ну попытаться хотя бы, чтобы потом воскликнуть, как Пушкин над «Борисом Годуновым»: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — только про себя. Хочется, чтобы вот так, как у него: «И руки тянутся к перу, перо — к бумаге, минута — и стихи свободно потекут». И действительно, в такие моменты у Филатова руки тянутся к перу, у меня — к гитаре, и рождаются песни. Над ними нельзя, конечно, воскликнуть: «Ай да мы, сукины сыны!» Но хотя бы «Щукины сыны» — уже можно.

Ренат

Ренат Исмаилов, как и Леня, приехал из Ашхабада. Они были знакомы и дружны еще задолго до Москвы. Он учился в ГИТИСе на режиссерском факультете и жил в нашем же общежитии. Александр Грин, мужская жесткость, замешанная на все том же романтизме, ветер, парус и дыхание свободы — все это вкладывал в нас Ренат на наших посиделках до полвторого. Ночи, разумеется.

Ренат, можно сказать, наш сэнсэй в то время, учитель с Востока. Мы его слушаем, стараясь не шевелиться и не дышать громко, каждое его слово драгоценно, потому что полезно. В маленьком, худом, высохшем, обуглившемся от туркменского солнцепека теле — огромный концентрат энергии, никогда внешне не проявляющийся; и талант говорить, воздействовать и покорять — проявляющийся всегда. В нем кровь Батгья и Чингисхана, он по призванию — полководец, а его армия — мы, пять — семь человек, которые слушают его открыв рот, готовые возненавидеть всякого, кто усомнится в его авторитете. Уважение к нему, как к Сталину у его соратников. Лицо аскета, запавшие под широкие скулы щеки, высокий лоб, глаза японского самурая и тонкогубый рот, который он только приоткрывает. И из него медленно выщепиваются слова, затягивающие петлю восторга на наших тонких, неокрепших шеях. Он ведь обладает всем, что мы так любим: его метафоры необычны и точны, сравнения — убийственны, его мат — неповторим. Он для нас — образец образного мышления — против безобразности и бездарности (опять игра слов, вы заметили?), а проще — против любой серости и скуки.

Ренат — враг банальности. Поэтому даже его мат — это не механическое, дурацкое повторение «б...ь» через каждые два слова, а художественное словотворчество, свежий подход, вопреки рутинному использованию нашего матерного фольклора. Я не рискну продемонстрировать вам хоть один пример этого пиршества русского языка, потому что бумага не выдержит такой красоты, и к тому же я еще надеюсь увидеть мой труд напечатанным. И хотя другие не стесняются — я стесняюсь. Я преодолевал тут стеснение только тогда, когда без этого невозможно было обойтись. Но поверьте мне те, кто понимает, конечно, кто сам пробовал ругаться нетривиально, что это была сказка. Там каждое слово было на своем месте, ни убавить, ни прибавить; слова усиливали мысль и обогащали образ, выстраивая поразительную матерную архитектуру, совершенную семиэтажную готику. Способность так материться — конечно же, продукт ренатовского юмора, который не похож ни на какой другой. Юмор Рената базируется на неприличной для окружающих эрудиции и начитанности, поэтому не всякий его понимает.

В далеком от общежития будущем мы встретились с ним у Лени. Когда мы с женой пришли, Ренат уже был нетрезв. Сильно нетрезв. Но он все говорил, говорил, пытаясь действовать на нас, сильно повзрослевших, так же, как тогда, «до

полвторого». Мат тоже проскакивал, но не так эффектно, как прежде, — ну не в форме был Ренат. Моя жена уже знала, кем он был для нас в ту пору, поэтому сидела молча, внимала, вовремя улыбалась, а мат будто не слышала.

Но все-таки пришло время его уложить отдохнуть, Леня повел его в спальню. У порога Ренат обернулся, покачиваясь; вгонял в жену вдруг ставший трезвым взгляд и медленно, но четко вытянул сквозь едва приоткрытые тонкие губы следующую фразу: «Людочка! Вы были терпеливы, как, — тут он выговорил слово, которое и написать-то трудно, — *разграб ливаемая* гробница Тутанхамона. Спасибо». И вышел! Жена, до того не имевшая оснований постичь причины нашей любви к Ренату, получила — хоть и в конце — доказательство.

Ренатовские культурные инъекции в нас продолжались три года, пока Филатов, Галкин и я не решили уехать из общежития и снять квартиру на улице Герцена. Мы тогда решили оздоровить нашу жизнь и отделаться от постоянных гостей, выпивки и недосыпания. Ничего не вышло. Квартира наша была на первом этаже, и к нам продолжали приходиться даже через окно. С Ренатом виделись все реже. Но теперь я понимаю, что мы благодаря Ренату очень быстро выросли. Мы были на порядок взрослее наших однокурсников. И Лёнино умение собирать всего себя в кулак каратиста — оттуда, из «полвторого», и от него, от Рената...

И в последний раз о песнях и причинах их появления

Высокосный 1980 год был не только годом ухода Высоцкого, но и гораздо менее заметным, а точнее — заметным только для нас — уходом Сережи Вараксина. И мы сочинили песню «Высокосный год». «И что же нам осталось от него — с полдюжины случайных фотографий», — поется в этой песне. Но эти фотографии здесь, в нашем фотоальбоме, который я листаю перед вами.

Однако главной темой все равно оставалась любовь. Чувства обязаны были бурлить и превращаться не в пар, а в стихи и звуки. Настоящей любви не было, но каждую нужно было принимать за настоящую и придавать ей необходимый для творчества накал. Да простят меня все наши подруги тех лет, но быть поводом для песни тоже может не всякая. Даже если *только* поводом для песни — это все равно здорово, правда, девушки, женщины, бабушки? Ведь правда?..

Итак, любовь, творчество и вино — основные слагаемые нашей студенческой жизни. Прошу прощения и у вас, господа наркологи, за последний компонент под названием «вино», но... из песни слов не выкинешь, что было, то было... Если отталкиваться от народного анекдота, что некрасивых женщин не бывает, а бывает мало водки, то вычерчивается простая, но все-таки менее грубая, чем анекдот, схема: вино разогревало чувства до состояния любовной плазмы, а любовь, в свою очередь, переплавлялась в конечный продукт — стихи и музыку. Вот в этой адской кастрюле песни и варились. Не случайно одна из них, «Провинциалка», заканчивается словами: «И были так нужны стихи и водка, стихи и водка, водка и стихи». Тут нет третьей подруги — любви, она в песне раньше. Вообще иногда самым чудесным образом все шло в обратном порядке: сначала появлялись стихи, которые поэтизировали вполне определенную девушку с именем и фамилией и идеализировали ее настолько, что приходилось в нее влюбиться; то есть стихи рождали любовь, а не наоборот, понимаете? Потом такая любовь, естественно, рушилась, и только тогда хотелось выпить. С горя...

Чуть позже две вот такие, целенаправленные песни, но уже совсем другой девушке адресованные, приобретет у нас, студентов (за деньги!) для своего оркестра К. Г. Певзнер. Он тогда руководил государственным оркестром Грузии «Рэро». А еще позднее Певзнера в качестве музыкального руководителя при-

гласит к себе Л. О. Утесов. Певзнер меня Утесову покажет, и я стану петь наши с Леной песни в его оркестре.

Всякий раз, слушая песню «Полицай», Утесов плакал, и мне это ужасно льстило до тех пор, пока я не понял, что Леонида Осиповича в те его последние годы могло расстрогать до слез что угодно. Но когда я прочел то, что он написал на моей афише: «Володя, я *успел* вас полюбить...» — я от этого «успел» вдруг сам заплакал — неожиданно и быстро...

И еще будет момент, когда мы один-единственный раз встретимся с Леной в кино, на съемках фильма «Соучастники». Я буду одним из «соучастников», а Лена — уже кинозвездой и секс-символом. Это обстоятельство отчасти объясняет обращение к нам оператора Валерия Гинзбурга, который ставил кадр и машинально сказал: «Вовонька (!), посмотри на Леонида Алексеевича». И это нас обоих сильно развеселит...

И придет время, когда Филатов на экране — сойти с ума! — споет! В училище танцы и особенно пение для него почти пытка. А тут взял и выдал! При встрече со мной этак победно посмотрел и сказал: «Я тебя своим пением до самой стены буду гнать». Но не стал «до стены», поет только дома...

А до этого будут еще годы расцвета авторской песни, когда меня станут часто приглашать на концерты. И я буду, особенно поначалу, пижонски выходить на сцену, волоча за собой гитару прямо по полу, за веревочку, как собаку на поводке. Она будет стучаться об пол, а публика — уже появившиеся поклонники моих песен — станет от этого почему-то приходить в экстаз. А гитара, хоть и дешевая, за такое обращение будет платить тем же и не строить, фальшиво и жалобно тренькая. Но мне на это будет плевать, так же как и на то, как я на ней играю, потому что знаю: сейчас выйду, спою и покрою все недостатки безумным темпераментом и запредельным лиризмом.

И когда мне через пару десятков лет дадут послушать эти старые записи, мне сильно не понравится тот певец: гитара фальшивит, голос наглый, задорный и плоский какой-то, — словом, я сочту, что теперь я пою лучше...

А потом будет Эфрос, и главная роль у него, и Лев Дуров, и Ольга Яковлева, и многие другие лица, портреты, театры, и тот, который сейчас: «Школа современной пьесы».

А еще будет самое яркое впечатление от всей театральной жизни. И это станет не премьеры какая-нибудь, а *последний* спектакль «Три мушкетера». Я уже работал у Эфроса и только доигрывал в ТЮЗе «Мушкетеров». И все знали, что этот спектакль последний, что больше не будет. И зрители узнали — и пришли прощаться. Все, что хотелось сказать о любви, дружбе, верности, чести, обо всех этих сформированных с детства идеалах, плывущих под альими парусами романтизма, о котором я здесь уже столько наболтал, — все это в нашем мюзикле было спето, сыграно, оттанцовано и отфехтовано. Все играли, словно под допингом «последнего раза». Будто прощаясь не со спектаклем, а с жизнью, юностью, будто ничего лучшего не будет, только это, только сейчас и в последний раз! Как выкрик перед гибелью!

И наступила минута финальной песни: «Когда твой друг в крови, будь рядом до конца. Но другом не зови — ни труса, ни лжеца!»

Я пел так, как никогда и ничего больше не спою. И ребята подхватывали припев так же. Мы были разными: хорошими, плохими, иногда подлыми и лживыми — артистами, словом, — но все лучшее, что в нас было, мы вложили в тот спектакль и в ту прощальную песню. Как мы были красивы, как благородны в эти три минуты! И весь зал вместе с нами! «Ни труса, ни лжеца! — прокричал я последние слова, весь дрожа, и добавил от себя: — И все!!!»

Все — это все в прямом смысле. Прощайте все!

И, близоруко таращась в зал сквозь пелену слез — и тоски, и восторга одновременно, — я вдруг увидел, как первые ряды встали, а за ними и все остальные, и добрая половина из них стала вытирать глаза и вынимать носовые платки. И в эту секунду я понял смысл своей профессии, что она не просто лицедейство, она — вот для этого; я вдруг всем, что есть во мне, почувствовал на несколько секунд счастье — что всё-всё не напрасно, не зря...

Минут десять они еще хлопали, благодарные нам за свое собственное благородство и красоту...

«20 лет спустя»

Наш Портос стал инвалидом от тяжелой болезни и теперь редко появляется на этой даче. Но все же иногда, хоть и с протезом, садится за руль и приезжает. У него два сына-красавца, жена — художница и еще огромный дог (ну не с болонкой же гулять Портосу, это скорее Арамису подходит).

Вот, кстати, и Арамис идет по этому же дачному поселку, он живет тут же, неподалеку. У него, правда, не болонка, а карликовый пудель, но это где-то рядом... Арамис ушел на пенсию, поэтому большую часть года проводит именно на даче, а там его основное занятие — рыбалка. Еще у него там большая библиотека детективов. Потому, вероятно, что интрига и действие с захватывающим сюжетом всегда были слабостью и того Арамиса — из Дюма. А еще он выращивает цветы и гордится идеальным газоном на своем участке (не иначе как утонченный вкус Арамиса и тут помог).

Дача д'Артаньяна тоже рядом. Он навещается сюда летом со своей женой, королевой Анной Австрийской, и сыном. Королеву часто можно застать ползающей по своему скромному огороду в попытках возделывать сельскохозяйственные культуры, потому что д'Артаньяну с сыном нужны витамины. Лучше всего ей удаются лук, петрушка и кабачки, потому что они практически растут сами, лишь бы поливали... В семье д'Артаньяна тоже есть собака, овчарка. Интересно, что собаки вполне соответствуют склонностям героев знаменитого романа, которые совпадают со склонностями артистов, их сыгравших. Сами посудите: дог Портоса, карликовый пудель Арамиса и овчарка д'Артаньяна. И не только собаки...

Не думайте, я не забыл про Атоса. Вы будете смеяться, но его дача тоже здесь, по соседству с д'Артаньяном, буквально через дом. Чаще всего Атос на даче один, потому что его жена очень занята на работе и приезжает редко. У Атоса нет собаки, у него попугай. Теперь смотрите: ведь граф де ла Фер был тоже весьма одинокой фигурой, и у него тоже вполне мог бы быть попугай: надо же с кем-то разговаривать хоть иногда... Наш Атос с успехом выращивает овощи, у него растут помидоры и огурцы, которыми можно справедливо гордиться. Так же, как и баней, которую Атос построил сам, своими руками.

Вы можете подумать, что я вру, но, как воскликнул бы д'Артаньян: клянусь честью! — де Жюссак тоже тут. Первый дуэлянт кардинала построил не только баню, но и весь дом своими руками. Оказалось, что он на все руки мастер; практика показала, что шпага — далеко не самый полезный инструмент в нашей жизни, что рубанок и молоток — для выживания лучше.

Ну-с, никого не забыл? Ну как же! Как я мог не упомянуть про Констанцию Бонасье! Все-таки первая любовь первого мушкетера! Тем более что ее шесть соток буквально в двух шагах от его. Констанция бывает тут редко: много хлопот в городе, театр, а кроме того, у нее магазин... Надо будет спросить как-нибудь: не французской ли одеждой ее магазин торгует? Это было бы совсем грациозно!..

Даже одна из кармелиток Бетюнского монастыря с редчайшей фамилией Иванова проживает на даче тут же.

Ну и де Тревиль, конечно. Только уже из кино. Лев Дуров опять-таки *здесь*, а не где-нибудь еще. С ним, с Тревилем, дружит д'Артаньян, что совершенно логично. Капитан королевских мушкетеров и должен питать слабость к своему протеже, не с семьей же Бонасье ему дружить, хотя их дача и ближе...

Ну! Как вам нравится эта цепь случайностей?.. Самое интересное, что все это чистая правда, а выглядит так, будто я все специально придумал. Удивительно, но факт: все мушкетеры-садоводы и другие действующие лица того спектакля (кроме Дурова, конечно, но и он попал в эту палитру, потому что де Тревиль) собрались через годы в одном месте, недалеко от Сергиева Посада; в местечке под уютным, вполне бытовым и незамысловатым названием «Садовое товарищество "Актер"». И это доказывает нам, что у Провидения — свое специфическое чувство юмора...

А чего только не будет через эти двадцать лет с Мишей, с Леней...

Скоро закончится учеба, мы разъедемся по общежитиям наших театров, песни будут появляться все реже, и все реже мы будем встречаться, так как у Лени начнется поздняя, но очень быстрая кинокарьеря, однако странным образом, не сговариваясь, каждый сам по себе окрестится в 80-м високосном году, когда мы будем уже совсем большими, взрослыми.

Студенческие любви станут казаться смешными, их сменят чрезвычайно серьезные отношения с нашими будущим женами. Но ничего не забудется: чем жили, по ком страдали и как любили студенты Леня и Володя и примкнувший к ним студент Миша. Отчасти только забудется — кого... И мы сочиним романс, в котором рассчитаемся за весь божественный флер студенческих лет:

И вот, не в силах сам себе помочь,
Ты все воспоминанья гонишь прочь.
А часовая стрелка целит в полночь.
Бессильна память, бесполезна злость.
Одно понятно: что-то не сбылось.
А что, когда и где — уже не вспомнишь.

Однако пора автору выйти из лирической комы. Проза не должна терять легкость и веселость, во всяком случае, баланс веселого и грустного должен быть правильным. Так что продолжим во вновь обретенном душевном равновесии...

Все ведь это будет потом, и об этом можно рассказать и поподробнее, но... лучше как-нибудь в другой раз, что послужит поводом не проститься с вами, а лишь сказать «до свидания».

Нет, правда, отчего бы нам не устроить свидание во втором томе моих лирических воспоминаний, моей, так сказать, «задушевной прозы»? И назвать вторую часть, не особенно напрягаясь в выборе, скажем, так: «Улыбайтесь, вылетит птичка-2». А? Так что погодите, я еще ущипну вас за сердце своими слезоточивыми строками, сдабривая их по возможности своими же жизнерадостными шутками.

Так, значит, какой же выбрать финал? Грустный или веселый? А-а! Там разберемся. Я рассказывал вам про «позавчера», собираюсь как-нибудь потом рассказать про «вчера». Пора, однако, перенестись в «сегодня» и попрощаться легко и элегантно. Ну вперед! Финишная прямая! Последний рывок! За мной, друзья! Один — за всех, и все — за одного! — любимый клич мушкетеров.

Итак, мы сегодня, сейчас стоим на сцене. Втроем — Филатов, Задорнов и я. Этого никогда раньше не было, втроем не выступали. Мы с Филатовым — бывало, с Задорновым — еще чаще, но все трое — никогда. А вот теперь — вместе. Два главных героя этой книги и я. Мы вам сейчас прочтем и споем, а вы, пролиставшие вместе со мной страницы нашей жизни, уже не просто

послушаете, вы уже будете знать, что им диктовало именно эти ноты и слова. Послушаем, что они сами об этом скажут.

Леня: «Породнила нас тогда, как я сейчас понимаю, общность вкусовых пристрастий. Нам нравились одни и те же стихи, одни и те же книги, одни и те же фильмы, бывало, что нравились даже одни и те же женщины...»

Миша: «Мы дружим до сих пор, хотя встречаемся не так часто. В юности проводили вместе почти все вечера. А сейчас мы едем к Лёне в гости, чтобы послушать новое, что он написал, поговорить о живом, о вечном, а не о спонсорах, рейтингах и шоу-бизнесе. Сидим на кухне, как раньше... Я очень горжусь, что мои друзья взяли из прошлой жизни (до свободы слова) все лучшее; что они не употребляют в своей чистой русской речи слово «спонсор» и что им до фени ставка рефинансирования. Они не обуржуазились, несмотря на талант и возможности. В соседней комнате по телевизору бубнят новости. Опять кто-то чего-то с кем-то не поделил. Как хорошо, что вся эта дурь сейчас так далеко от нас!»

Володя: «Я хочу...»

Голос из зала: «Э-э-э! Стой! Ты уже высказался. В полном объеме!»

Володя: «Ну позвольте еще немного, буквально несколько слов».

Голос из зала: «Ну... валяй! Только недолго, уже утомил...»

Володя: «Бывает, конечно, что люди дружат с детства и долго. Но редко. В основном, когда нравятся одни и те же вещи и не нравятся тоже одни и те же вещи...»

Голос из зала: «Стоп, об этом уже Филатов сказал».

Володя: «Сейчас, сейчас, я заканчиваю. Вот есть так называемая «американская мечта». Аналог успеха и богатства. И почему бы не быть в таком случае и «русской мечте», в которой одного богатства для счастья маловато. «Русская мечта» — это, наверное, умение влиять на чувства, разум и симпатии многих людей. Чтобы уважали и любили. Я не хочу сказать, что мы тут — воплощение этой самой «русской мечты», и, упаси Бог, не ставлю моих друзей в пример кому бы то ни было. Хотя почему бы и нет! Вот сидит, допустим, какой-то отчаявшийся, потерявший надежду человек, читает про Филатова, что тут написано раньше, и думает: если он в таком положении смог, то и я, может, смогу... может, еще не все потеряно...»

Леня: «Заткнись, Володя, твое время истекло!»

Володя: «Сейчас, еще секундочку... Мы все живем сейчас в стране...»

Миша: «Кончай, Володя! Это уже моя епархия...»

Володя: «Сию минуту... в стране, где никому никого не жалко, но можно об этом сокрушенно ныть, а можно сделать передачу «Чтобы помнили» и заставить пожалеть. А чтобы уважали и любили, надо...»

Голос из зала: «Лучше бы ты спел что-нибудь».

Володя, безнадежно махнув рукой, объявляет песню на стихи Филатова и поет:

О, не лети так, жизнь,
Я от ветров рябой,
Мне нужно это мир
Как следует запомнить.
А если повезет,
То даже и заполнить
Хоть чьи-нибудь глаза
Хоть сколь-нибудь — собой.

Нет, не изменились мы. Ну разве что внешне. И термин «шестидесятники» нам не нравится. Ведь существуют же «сектанты-пятидесятники», вот и «шестидесятники» отдают чем-то сектантским. Будто это какая-то особая поколенческая каста, последний резервуар порядочности и образованности. Ни-

чего подобного! Есть вещи, одинаковые для всех людей, во все времена! И назвать Пушкина, который и сегодня — маяк для любого творчества, каким-нибудь «тридцатником» (только XIX века) — никак нельзя. Правила творчества и жизни (в последний раз прошу прощения за пафос) продиктованы еще Библией. И, надо полагать, для **всех** поколений.

Скажем же друг другу «до свидания» на этой высокой ноте, и вот вам на память наша, втроем, фотография.

«Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — сказал классик, я же персонально не расстаюсь, а оглядываюсь на него с улыбкой. Ну до свидания!

Постойте, постойте! Подождите, я думал, пленка кончилась, а тут остался еще один кадр. Давайте-ка сфотографируемся в последний раз все вместе. Давайте, давайте все сюда, поближе. Еще, еще! Теснее! И ты, мальчик, иди сюда, и вы, девушка, смелее, встаньте рядом вот с этим пареньком... Сейчас вон того прохожего попросим, он нас снимет...

И вы, уважаемый, не стесняйтесь, идите ко мне ближе. Встаньте вот так. Так удобно? Ну хорошо.

Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка. Все улыбайтесь.

Мы останемся вместе с вами на этом снимке на рубеже века и даже тысячелетия. Это торжественно, но лучше остаться с улыбкой, чем без. Вы же все это знаете, у вас ведь у всех есть дома фотографии, на них вы в пять, двадцать пять, пятьдесят и более лет; вы на них с бабушкой, мамой, любимой женщиной, сыном, внуком... И всюду лучше, когда улыбаетесь, правда? Так что вспомните что-нибудь смешное и... попробуйте. Ну давайте!..

Что, не выходит? Вам еще в детстве обещали, что вылетит птичка, вы ждали, ждали, а ее все не было, да? Ну-у, это у многих бывает. Потому что или аппарат испорчен, или фотограф — обманщик. А еще, знаете, почему не вылетела? Потому что вы не верили, вот почему! Птичке нужно ждать и верить, что она появится. Она не летает к кому попало, только к тем, в ком не умирает надежда на сюрприз.

Дети, это не вам, вы верите, я знаю. Это тем, кому уже много лет, а они все хотят сказки. Э-э, нет! Так не выйдет! Сказку надо не только хотеть, ее надо любить, поняли?..

Так что встали, посмотрели вперед, та-ак, улыбнулись... Да не ухмыльнулись, а улыбнулись! Приветливо! Вот, правильно...

Сейчас будет птичка, я обещаю...

Кстати, если она сейчас и не вылетит — все равно улыбайтесь, вам это так идет, даже не представляете!.. Не важно — сейчас она вылетит или позже, главное — вылетит обязательно! И надо быть к этому готовым, быть готовым к тому, чтобы удивляться и радоваться! Верить надо и ждать — вот и все! А птичка будет!

Ну давайте! Приготовились! Считаю до трех!

Раз! Два! Два с половиной!..



С а т о р и

РАССКАЗЫ

КУМИР

Ох, и надоело, если честно! Только и разговоров что про него, про Георгия. Чуть что, сразу Гога.

Брат.

Чей брат, отца или Сашин, не совсем понятно. Иногда казалось, что отца, и тогда ясно, что он Саше — дядя. Иногда, что он все-таки брат Саши, хотя какой-то очень дальний (бывают братья ближние и бывают дальние) — даже и не двоюродный, а так, седьмая вода на киселе. Сын двоюродной тетки Сашиного отца. Саша и незнаком с ним по-настоящему, разве заочно, по фотографиям и, разумеется, по телевизору, где тот часто появляется.

Но родители говорят: брат... «Ты знаешь, что *брат* поехал в Англию?»
Ну поехал и поехал, ему-то что?

Гога — известный артист. Биографию его Саша, кажется, выучил наизусть: сначала тот работал в театре, снимался в кино, известность мало-помалу росла, а потом пригласили на телевидение, где он теперь ведет разные передачи и считается довольно модным телеведущим. Иногда он выступает и по радио — читает стихи и прозу классиков и современников. Его имя часто мелькает в разных газетах и журналах, о нем пишут, его интервьюируют, снимают для рекламы, даже поздравительную открытку выпустили: он радостно так улыбается с раскинутыми словно для объятия руками.

Действительно, очень популярный, а самое главное, Саша уже не раз сталкивался с людьми, которые буквально тащились от него, не могли пропустить ни одной передачи с его участием, страсть начинала бурлить в их голосе, стоило заговорить о Гоге, даже как-то неловко делалось. Хотя, может, это и нормально — артист есть артист, а если он связан с телевидением, то это еще больше поднимает его статус, поскольку в театр или в кино народ ходит не так чтоб часто — зато «ящик» смотрит каждый день, а некоторые, особенно пенсионеры, просиживают перед ним многие часы. Тут поневоле станешь почти как родственник.

Собственно, все понятно, к тому же Гога не лишен обаяния, даже по-своему очень хорош, хотя далеко не красавец. Есть в нем притягательность, жесты такие самоуверенные, располагающие, голос густой, зычный, может и спеть не хуже какого-нибудь Киркорова. Но на Сашу почему-то не действует. Ну не находит он в своей душе никакого отклика. Даже, пожалуй, наоборот. Родительские постоянные разговоры, в которые они всякий раз пытались вовлечь и Сашу, словно он такой же фанат, его раздражали. Родители, конечно, в недоумении: как так, если половина страны млеет от каждого слова и движения Георгия, а он нет, тем более что родственник, пусть даже не брат, но все равно ведь есть общая кровь.

Родители время от времени ходят на его спектакли по контрамаркам и раза два участвовали в телешоу, где тот был ведущим: знойно слепили юпитеры, в

зале было много известных людей — артистов, политиков, писателей, — неизгладимое впечатление, а Георгий находился на просцениуме, в центре или на возвышении или ходил по залу с микрофоном, задавал вопросы, улыбался, шутил, и им казалось, что он делает это именно для них. Им улыбается, даже смотрит только на них. И родители, едва только появится возможность (в гостях или еще где-нибудь), обязательно вспоминают: да, Георгий Н-в, между прочим, наш родственник — и все тут же ахают и охают: неужели, надо же! Чуть ли не поздравляют. Всем он нравится, такой талантливый. Никто не пропускает его передач. И потом разговор долго вертится вокруг его персоны, что Сашу выводит из себя.

Родители словно нарочно поддевают сына: а вот ему, дескать, не нравится, будто кому-то есть дело, нравится Гога Саше или не нравится. Но он все равно вынужден невольно оправдываться, хотя много раз давал себе зарок не вступать: не в том дело — не не нравится, а просто он равнодушен. Не действует на него. Тут, однако, все начинают обязательно удивляться: не может быть... Георгий ведь замечательный, как же это?..

Все всё про него знали, как и родители: кто нынче его жена, где учится дочь, сколько метров квартира и даже что в гостиной у него сделана мраморная стойка, как в баре. Стойка эта почему-то совсем добывала Сашу. В самом деле, зачем мраморная стойка в обычной квартире? Однако всем она почему-то чрезвычайно импонировала, словно в ней был какой-то особый шик, свидетельство таланта и взлета.

Отец время от времени звонит Георгию, сообщает семейные новости, про Сашу в том числе, а больше спрашивает про успехи. Поэтому родители всегда в курсе его дел — тот же привык, что это его родственники и что они им восхищаются, а восхищение, надо признать, всегда, даже у самых избалованных, имеет свои особые права. Родители знали и жену Гоги (четвертую), и его дочь (от третьей жены), и как дела у каждого, вплоть до того, в какой город недавно летал Гога на гастроли, какое манто приобрела Лера (жена) и как закончила четверть Люка (дочь). Делами самого Саши они почему-то интересуются гораздо меньше.

Эти умильные разговоры про Гогу Саша слышит с самого детства. Какой тот умный и талантливый. Как его ценят. Долгое время Саша просто пожимал плечами, когда родители начинали ему про Георгия, а они серьезно обижались на такое его равнодушие. Да, равнодушен, что ж тут поделать? Он даже находит Георгия несколько вульгарным, тому, на его взгляд, не хватает вкуса, видно, что ломается, жеманничает... И вообще не предмет для разговора.

Чем больше он уклонялся, пряча закипающее раздражение, тем чаще и настойчивей родители затевали какой-нибудь разговор, который непременно касался в какой-то момент и Георгия. Начинался он, положим, с чего-то очень далекого и абсолютно не имевшего никакого отношения к нему и к тому, чем он занимался (лицедейство — Сашина формулировка), например, с того, что цены растут, все трудней сводить концы с концами (им-то хватает — они непривередливы, им много не нужно), а затем разговор почему-то соскальзывал на Георгия, который процветает, за выступления платят большие деньги (сам признавался), ну и на телевидении перепадает. Выходило так (невольно), что вот Георгий может, а Саша нет, хотя ему до окончания института еще два года (к тому же он и подрабатывал в одной конторе)...

Вроде как родители сравнивали его и Георгия, даже, возможно, не нарочно, просто у них так получалось, потому что Гога занимал все их мысли. Ну да, кумир, можно сказать. Идол. Саша же ничего не отвечал, а торопился куда-нибудь исчезнуть — в ванную или в туалет, даже если было не нужно. Они же, словно чувствуя его ускользание, его сопротивление, его неприятие,

начинали охоту — сюжет должен был быть непременно завершен, а завершен он мог быть исключительно только с его участием. Он должен был выслушать все про Гогу и потом непременно высказаться, пусть даже критически.

— Ты ему просто завидуешь, — как-то заметила мать.

— Ну да, с чего бы? — искренне удивился Саша (закипая).

Однажды он обнаружил на телевизоре в столовой новый портрет Георгия (по стенам тоже были развешаны) — фотографию в деревянной резной рамочке, на обратной стороне размашистым почерком дарственная надпись: «Дорогим родственникам на добрую память! Любящий Георгий». Чуть вскинутый мужественный подбородок, холеное телегеничное лицо, уверенное во всеобщей любви, лукаво прищуренные глаза, победительная улыбка...

Прежде этой фотографии вроде не было, а, впрочем, может, и была, но только теперь вот — рамочка. Саша хотел было отойти, однако неожиданно для самого себя задержался: родственник как-никак... *Брат*. Правда ведь, успех сногшибательный, если тебя в рамочку или на стену, чтобы ты все время на виду, — лицо, улыбка, взгляд, поворот головы... Ты где-то там, неведомо где, но в то же время и здесь, и там — везде. Не важно даже, родственник или не родственник. Тем более если не родственник. Может, Саша и впрямь ему завидовал, его успеху? Да нет вроде, не завидовал же он Боярскому, или Гребенчикову, или еще кому-нибудь. Зря мать ему приписывала. Ну нравится им Георгий — и пожалуйста, он-то, Саша, тут при чем?

Наверно, если присмотреться, Гога действительно был — какой? Приятное такое лицо, трудно возразить. Звезда. Артисту или телеведущему, тем более известному, трудно быть просто человеком, он уже как бы не принадлежит себе. И лицо его не принадлежит. Верней, так: он принадлежит лицу, а лицо — публике. И ничего тут не поделаешь. Все тебя узнают, все всё про тебя знают. И постоянно нужно что-то изображать из себя, а когда не изображаешь, то опять же кажется, что изображаешь. Не жизнь, а сцена.

Саша повернул фотографию лицом к стене. Вот... Нет лица. И ничего нет.

В глубине души Саше почему-то казалось, что Георгию абсолютно наплевать на его родителей, — седьмая вода на киселе, досаждают своим поклонением, своими звонками, и без того ведь дел по горло, от них же самих Саша слышит, какой Георгий занятой, как его рвут на части. А тут еще *эти* звонят, отрывают, навязываются в качестве родственников. Стыдно за них, за родителей, стыдно и жалко их, что они так стелются. Сашу же они упрекают в недостатке родственных чувств — сколько раз говорено, что нужно быть более внимательным к родственникам, пусть даже не самым близким.

Они ему все того же Гогу в пример ставят: вот он — другой, всегда с Новым годом поздравит, не поздравительную открытку пришлет, а позвонит, хотя Саша ни одного звонка от него не слышал.

Как бы ни было, хороший человек. Теплый. А как он замечательно сыграл в фильме Рахматуллина, такой запоминающийся образ! Не случайно его на какую-то там престижную премию выдвинули за лучшую мужскую роль. Вот если бы Саша посмотрел этот фильм, он бы убедился, потому что без души *так* ни за что не сыграешь. Он просто обязан посмотреть этот фильм, даже не один раз (самому потом захочется), чтобы оценить. У Гоги душа большая, высокой пробы, какая и должна быть у настоящего артиста.

Возражать, опровергать, убеждать в противоположном — бесполезно. Гога — образцовый во всех отношениях. Артист, родственник, семьянин (четвертая жена, вторая дочь, первый сын остался со второй женой), поэт (выпустил недавно сборник стихов, обещал непременно подарить — при встрече), художник (выставка готовится в Доме кинематографистов) — судьба

редко кого так щедро одаривает. «Вася! Скорей сюда, Гогу показывают!» — звонкий, радостный голос матери, поспешные шаркающие шаги отца, скорей, скорей, показывают Гогу, Гога на каком-то там форуме, их замечательный Гога, на мгновение мелькнуло знакомое лицо, но все равно приятно: это ведь их Георгий, Гога...

Брат (чей?).

Фильм Рахматуллина Саша посмотрел. Дважды. В первый раз не понравилось — ничего особенного. Гога играл там пожилого уставшего человека, много пережившего. Архитектор спроектировал роскошное здание — для нового века, однако проект забраковали из-за гнусных интриг соперника, и теперь герой живет воспоминаниями об этом проекте, модернизирует модель, а влюбленная молодая женщина (не жена, которая в отличие от преданной подруги считает его неудачником) кормит его гусиным паштетом, он обожал в детстве гусиный паштет. В общем, пожилой человек постепенно западает в прошлое, но еще способен на глубокое взаимное чувство, которое не дает ему окончательно быть побежденным старостью.

Однако потом Саша почему-то стал часто вспоминать этот фильм, благородного Гогу с седыми волосами и бородкой, который мудрит над макетом уникального здания будущего и вместе с любящей его женщиной мечтает, как они могли бы жить в таком роскошном доме.

Дом был бы во всех отношениях замечательным, так что и люди в нем жили бы только благородные — такое магическое воздействие оказывал бы на них этот городской (а вовсе не деревенский — полемическая нота) дом, потому что окружающее пространство (заветная идея старого архитектора) определенным образом воспитывает человека. Тот становится лучше и чище.

Саша пошел во второй раз, хотя что-то в нем противилось. То есть, с одной стороны, противилось, с другой, наоборот, подталкивало. Что-то его беспокоило в этом фильме, и даже не столько в фильме, сколько в самом Гоге. То ли в Гоге, то ли в созданном артистом образе. Не поймешь.

После он ходил и думал: что же его так тревожит? И вдруг озарило: Гога ведь давно уже не Гога, а немолодой человек, такой же седой, как и его герой-архитектор. У родителей же получалось, что он чуть ли не ровесник Сашин, ну разве Гога чуть постарше. То есть брат (а тем более дядя), собственно, мог быть и гораздо старше — так случается, мало ли как складываются людские судьбы, но ведь... И потом в благородном лице седовласого интеллигентного архитектора Саша вдруг уловил действительно нечто родственное, похожее на их породу. У отца тоже был этот тонкий доброжелательный прищур. И ранние Сашины залысины на висках также напоминали Гогины, и рисунок губ (Саша после фильма долго рассматривал ту фотографию на телевизоре), и абрис подбородка, который, впрочем, был скрыт у архитектора интеллигентской бородкой (на фотографии ее не было).

Тут крылось сразу много чего. Саша, если честно, никогда не верил настоящему в искренность родительского обожания Гоги, всегда ему мерещилось, что это не просто так, а нарочно, чтобы ему, Саше, что-то доказать, показать, в общем, неведомо что. Даже досадить. Ну вроде как он, Саша, не такой, какой должен был бы быть по большому счету. Не такой, каким бы хотели его видеть родители. А хотели бы они его видеть таким, как Гога.

И вот теперь вдруг стукнуло в голову, что, возможно, Гога — действительно *брат*, причем не метафорический, не седьмая вода на киселе, как он думал, а кровный (сводный, кажется, так) — скорей всего сын его, Сашина, отца: у того ведь была в прошлом другая женщина (не мать). Некая романтическая история из отцовской молодости, о чем в семье почти не говорилось, но отец про нее не забыл и мать тоже. Кажется, та женщина жила в

другом городе, но ведь и Гога был не москвич, а из какого-то другого города, чуть ли не из Сибири.

Ну да, Гога вполне мог быть его единокровным братом (по отцу), и отец желал, чтобы Саша, не зная тайны, тем не менее полюбил его как родного. Трудно сказать, была ли в курсе этого хитроумного замысла мать, которая, впрочем, в любом начинании поддерживала отца, но даже если и не была, то все равно могла из чисто воспитательных целей или просто из женского восторженного энтузиазма также создавать из Георгия культ. Она могла чисто по-женски (с отцовской подачи) увлечься им как артистом. В общем, ларчик, оказывается, открывался довольно просто. Гога — *брат* и как настоящий брат вполне был достоин Сашиной любви.

Теперь Саша часто подходил к фотографии на телевизоре (когда родителей не было) и подолгу разглядывал благородное лицо Георгия, находя в нем все больше симпатичных черт, которых не было у него самого. Вот, например, у Саши чуть приплюснутый, с несколько широковатыми ноздрями нос, а у *брата* нос прямой, правильный, крылья же носа какой-то особенной, изысканной формы. И губы, похожие на Сашины, изгибаются чуть насмешливо, но тоже благородно. Саша (подходя к зеркалу) пытался складывать их так же — иногда получалось, иногда нет. Он стал замечать, что часто смотрит как бы взглядом Гоги — чуть прищуриваясь и приподнимая слегка левую бровь. Получалось более солидно и опять же благородно. Как если бы он и сам был артистом. Отец ведь тоже был не без артистической жилки, в молодости даже играл в любительском театре при Доме культуры их завода. Так что и Саше тоже, может, кое-что перепало через гены. Правда, театром он не очень увлекался, но ведь себя никогда по-настоящему не знаешь, мало ли ему еще предстоит открытий.

А вот кино его интересовало больше. И на фильм Рахматуллина он пошел в третий раз, очень уж его завел Гога в роли архитектора. А может, не давала покоя все та же тайна, которую он почувствовал, посмотрев этот достаточно банальный по сюжету фильм, который только и держался (Саша с этим был полностью согласен) на отличной игре Гоги. Нет, не Гоги — Георгия, не шло как-то имя Гога архитектору, верней, артисту, его роль исполнявшему. Ни архитектору, ни артисту, ни брату, ни даже дяде... Только вот и брат в роли артиста, то есть архитектора, был как бы вовсе и не брат: с седыми волосами и бородкой, любовно склоняющийся над моделью своего здания, трогательный и благородный, скорей уж он был похож... на отца...

Вот!.. Вот где наконец сюжет начинает вливаться в нужное русло. Вот где близится желанная разгадка странных родственных связей человека по имени Георгий и нашего героя, совершенно затерроризированного его именем и образом.

Ведь Георгий Александрович (Гога)... ну да, ведь он, собственно, мог быть не кем иным, как отцом Саши.

Теперь-то наконец дошло: его родной отец был вовсе не отец, и он, Саша, вовсе не похож на отца, но на Георгия Александровича он точно похож — и рисунок губ, и ранние зальсины, и прищур — нет, прищур у него образовался только сейчас, скорей все-таки не прищур, а разрез глаз, да и скулы так же выпирали. Только нос был материн, другой, немного приплюснутый и с широковатыми крыльями, тогда как у Георгия Александровича нос прямой, правильный.

Да ведь и имя Саша — случайно ли? Ведь и отец Георгия, то есть дед Саши (предполагаемый), тоже был Александр, тут намечалось не просто совпадение. Вопрос: знал ли теперешний отец Саши? Догадывался ли? И знал ли сам Георгий Александрович, которого почему-то выдавали за брата (дядю)?

Вероятно, у матери в молодости была любовная история, закончившаяся появлением его, Саши. Понятное дело, артист, красавец... Наверно, мать и не сказала Георгию (к тому времени они уже скорей всего расстались), что ждет ребенка. И отец (нынешний) ничего не знал (знает ли теперь, так горячо обожая Георгия Александровича?). А может быть, отец тоже был поклонником Георгия Александровича и потому с радостью согласился усыновить еще только намечавшегося ребенка, так как любил мать и поклонялся таланту Георгия Александровича.

Ох!..

В конце концов могло быть и так, что именно обожание кумира их и соединило, а брак стал вполне органичным продолжением этой страсти — не столько друг к другу, сколько к третьему, к одухотворившему их взаимное чувство чужому таланту. Страсти, в общем, вполне платонической, во всяком случае, перешедшей в разряд таковой.

Однако даже эти две гипотезы (или три, а то и четыре, поскольку они продолжали ветвиться) не могли удовлетворить Сашу. Теперь уже не Георгий Александрович, а архитектор с седыми волосами и бородкой мерещился ему даже на фотографии, которую он в отсутствие родителей переставлял на свой письменный стол и, готовясь к экзаменам, постоянно обращал к ней свой тоскующий взор, открывая в лице Георгия Александровича все больше родных черт.

В какой-то момент он вдруг даже начинал чувствовать, что это не он, Саша, сидит за письменным столом, а именно Георгий Александрович, архитектор, артист, телеведущий и т. д. И в телепрограмме на неделю он тщательно выуживал все передачи, где только мог появиться его отец (брат, дядя), а когда подходило время, бежал в другую комнату и включал «ящик», жадно выискивая родное лицо среди других (не всегда удачно, поскольку не всегда тот был участником), а если передача действительно была с Георгием Александровичем, или фильм, или спектакль, то Сашу уже точно было не оторвать от телевизора.

Теперь все семейство часто дружно собиралось у голубого экрана и, замерев, следило за любимым артистом, жадно ловило каждое его слово, жест... Чего, правда, Саша напрочь не выносил, так это комментариев родителей, которые любили сопровождать понравившиеся им эпизоды или сцены своими оценками и толкованиями. Или начинали вслух восторгаться, как бы соревнуясь друг с другом, чей восторг окажется больше. Тут он начинал нервничать, злился, а бывало, что и убегал из комнаты, если родители не успокаивались и не замолкали.

Если бы они знали, что он догадывается, то, наверно, восторги б свои несколько поумерили, поскольку выходило даже не совсем прилично. Но Саша всячески таил свои открытия, и родители по-прежнему оставались в неведении.

Неожиданные же перемены в нем они восприняли как должное (разве не этого добивались?) и только изредка многозначительно переглядывались, показывая друг другу глазами на сына, а тот делал вид, что этих переглядываний не замечает. В этой невольной игре он вдруг стал ощущать в себе некий ранее не обнаруживавшийся артистизм (ясно откуда) и умело изображал просто увлекшегося действием фильма, или беседой, или искусством чтеца, тогда как на самом деле продолжал разгадывать всю ту же загадку, пытался проникнуть все в ту же тайну, соединившую жизни четырех человек в одно неразрывное целое.

Если бы только родители (а Саша продолжал мысленно именовать их именно так) догадались, как стремительно разрастается в нем чувство к

Георгию Александровичу, все глубже проникавшему в его душу, занимая в ней все больше и больше места, то наверняка бы их восторги и умиление тут же сменились тревогой.

Действительно, Саша за исключением разве совместных телевизионных бдений, когда он приходил в гостиную, садился молча возле телевизора и, казалось, весь уходил в него, так вот Саша стал проявлять дотоле незаметную отчужденность. Только когда он слышал имя Георгия Александровича, в лице его обозначалось некоторое внимание, но и то как бы мимолетное, случайное — вроде интерес, но в то же время вовсе и нет. Не поймешь. И еще он морщился и иронически кривил губы, услышав в очередной раз от родителей «брат»... В конце концов тут пахло пошлостью — нельзя так беззастенчиво искажать вещи, да еще и называть их не своими именами. Ведь все равно это ложь, потому что правда в ином.

Нельзя называть отца братом — в этом есть даже нечто кошунственное. И Гогой нельзя называть, потому что никакой он не Гога, столько лет прошло с тех пор, как он был Гогой,— теперь он великий человек, которого можно только по фамилии или имени-отчеству, и все равно получается вульгарно и фамильярно. Однажды мать сказала нежно: «Наш артист»,— и это тоже резануло Сашин слух.

Ведь, в сущности, их семейная тайна тянула на высокую трагедию или по меньшей мере драму: девичье увлечение матери, перешедшее в страстную привязанность всей жизни, которая захватила и отца (отчима), примирившегося с ней (и даже отчасти разделившего ее), потому что это была привязанность даже не столько к конкретному мужчине, сколько к таланту. Или даже шире — к искусству. В этом была душевная щедрость, если угодно, и потому не стоило портить все пошлостью, которая так легко просачивается куда угодно.

Порой Саше в голову забредали еще и другие мысли, уводившие его все дальше. Ведь даже если бы Георгий Александрович был ему никем, то есть ни мать, ни отец, никто, одним словом, не был связан с ним родственными узами, то все это ничего не значило, все равно его, Сашина, связь (как, впрочем, и родителей) с кумиром была несомненна и глубоко экзистенциальна.

Тайна родства — вовсе не в генах и крови, а в духовной близости, которая способна вызывать даже определенные физиологические изменения. То есть Саша вполне мог быть похожим на Георгия Александровича только потому, что мать и отец горячо увлекались им в молодости. Дух, известно, дышит где хочет и проникает куда хочет, поэтому Саша мог вполне рассматривать себя... ну вроде как зачатого от духа, подобно Иисусу Христу. В этом смысле евангельская метафора была вполне жизненной, а его, Сашина, судьба повторяла отчасти евангельский сюжет. Если мать была Марией, то отец — Иосифом, а виртуальный Георгий Александрович понятно кем, так же как и сам Саша.

Как ни странно, но наш герой тем не менее не особенно жаждал встречи с вновь обретенным отцом, хотя, если честно, была такая минута: он даже представил себе, что позвонит и попросит о встрече, потому что ему надо сказать Г. А. нечто очень важное. И потом они встретятся где-нибудь в кафе или сквере и известный артист узнает, что он, Саша (175 см роста, вес 66 кг, русые волосы, серые глаза), его сын.

Встреча представлялась чрезвычайно трогательной: крепкие объятия, густой табачно-одеколонный благородный дух от отцовского кожаного пиджака, все узнают Г. А. и удивляются, насколько тот и Саша похожи. А потом...

Потом... минута прошла. И желание звонить тоже пропало. В конце концов ему достаточно знать, что Г. А. существует, смотреть фильмы, спектакли и передачи с его участием и утешаться мыслью, что в их жилах течет общая кровь

(или дух), больше не надо. Ведь раньше как-то обходилось, да и к теперешнему отцу Саша испытывал, помимо прежнего сыновнего чувства (несмотря на некоторое отчуждение), еще и признательность: ведь он все эти годы был ему настоящим отцом и Саша видел от него только доброе.

В отношении отчима (язык с трудом поворачивался называть его так, отстраненно) к Саше была еще и самоотверженность — отнюдь не легко знать (если, конечно, знал), что сын не твой и тем не менее относиться к нему именно как к своему, как к родному, ни разу не намекнув, даже в минуты ссор (как без того?), что вовсе они и не родные. Или родные, но только по крови, а не по духу. Ни разу отчим (отец) не дал ему почувствовать унижение брошенности, хотя был, что ни говори, в культе «брата» Гоги (почему все-таки брат, а не дядя?) — в отношении к нему, Саше, — мотив второсортности.

Впрочем, теперь, когда Саша о многом догадывался, культ Г. А. в их семье не вызывал в нем прежнего раздражения, он даже готов был разделить его (храня свою тайну).

Собственно, и вся история.

Верней, почти вся, потому что не могло же так оставаться всегда — что бы все всё знали и молчали, как подпольщики. Естественно, однажды возникла ситуация, когда отношения между родителями и сыном резко накалились, Саша мрачно выкрикнул (наболевшее), чтобы не смели называть Г. А. Гогой и братом, потому что никакой тот не Гога, и не брат, и даже не дядя — и тут, как искра, взметнулась кульминационная правда о родстве.

Надо было видеть изумление в лицах родителей, когда они услышали, что он... ну да, что Г. А. вовсе не брат ему и не дядя. И даже не еще более дальний родственник!

А кто?..

Кто? Они сами прекрасно знают... Пусть не отрицают, он это давно понял. И не важно, если даже отец не кровный, кровное родство ведь не главное, важнее — связь духовная, духовное родство.

Красиво сказал.

Тут бы можно и точку поставить, но без еще одного небольшого штриха все-таки не обойтись.

Родители Саши, несколько оправившись от потрясшей их до глубины души Сашиной пронизательности, вынуждены были признаться, что действительно не брат. И даже не дальний родственник, хотя, не исключено, что все-таки дальнее-дальнее присутствует... Может, да, а может, и нет. Артист-то этот Г. А. талантливый, большой артист, потому и в душу запал. Никуда не денешься, волшебная сила искусства! Сами не заметили, как все произошло. Хотели ведь как лучше: у ребенка должен быть идеал — в наше-то безыдеальное, циничное время. На кого-то же надо ему равняться!

Действенное такое воспитательное средство.

Вот, однако, как...

СОСЕДИ

Когда приглашаешь в гости соседа, а тот не приходит, — обидно. Ты зовешь, а он не приходит и не приходит. И это тем более странно, что сосед, назовем его Н., тоже литератор, как и наш герой Р. Коллеги, одним словом.

А ведь литераторы, что ни говори, не только на немеряных просторах нашей огромной страны птицы достаточно редкие, но также и в масштабе многомиллионного мегаполиса. Это если они в буфете ЦДЛ, а тем более на форуме или съезде каком собираются, то тогда их, точно, много, даже слишком. А так, рассеянные по городам и весям или даже по различным микрорайонам столицы (включая и спальные), серьезного контингента не представляют. И если двое проживают волей судьбы неподалеку и вполне вроде симпатичны друг

другу, не разделяемые никакими идейными или эстетическими (что среди литераторов случается) разногласиями, то такая разобщенность и впрямь может показаться весьма странной и заслуживающей более пристального рассмотрения.

Вполне возможно, впрочем, что все дело в характере литератора Р.

Тут мерещатся разные причины. Не исключено, дело просто в нехватке душевных сил — для общения их в последнее время действительно не хватает, особенно для необязательного. А здесь как раз необязательность: каждый сам по себе, соприкасаясь лишь случайно. И знакомство, собственно, тоже случайное, благодаря общему приятелю, с которым лет сто не виделись. Тот, оказывается, шел к Н. в гости и, столкнувшись возле дома с Р., тут же компанейски потащил его к Н. Раз уж встретились нежданно-негаданно — отчего ж вместе не зайти? Тем более Н. — человек радушный, никакого неудобства, да и коллеги как-никак.

И в самом деле — посидели, пива выпили, расположились друг к другу, поудивлялись, что, дескать, вот как судьба людей сводит — город-то какой огромный, а литераторов на этом свете не так уж много.

Так вот, Р. еще тогда заметил, что жена Н. их как-то сразу проигнорировала и, мимоходом поздоровавшись, больше в кухне, где сидели, ни разу не появилась — то ли компании не хотела мешать, то ли... В кухне беспорядок, посуда грязная и в углу свалка из пакетов, коробок, бутылок, бумажек и прочих отходов быта. Штукатурка свисает с потолка. Р. также обратил внимание, что Н., хоть и проявил радушие, но держался довольно напряженно, говорил какими-то афоризмами, как-то чересчур глубоко задумывался по ходу разговора и весьма картинно курил сигарету в длинном янтарном мундштуке, перстнем чуть ли не серебряным на полном безымянном пальце поблескивая. Да и наряд на нем был странноватый — какая-то буддийская хламида, впрочем, довольно живописная.

Р. это все видел, потому что литератор не может не быть наблюдательным, приглядчивость у него в натуре, ему без такого рода, казалось бы, незначительных подробностей не обойтись: он из них потом образ тклет и на нить сюжета нижет. Сюжет же выходил такой, что вроде Н. с женой своей, по внешности весьма недурной (насколько успел разглядеть в полумраке прихожей), живет весьма непросто, либо в тот день они немного повздорили и потому объединяться в приеме гостей не хотели. Могло быть и так, что они вообще жили наособицу, хоть и в одной квартире, и хозяйство у них разное. И что вообще в их семейной жизни, вероятно, немало экзотики, потому что над дверью в квартиру висела ржавая подкова, а в прихожей — большой крест из ценной породы дерева.

В общем, впечатлений сразу много, потому что литератор по природе своей не может не быть человеком впечатлительным, все он видит, все подмечает, а что особенно в душу западет — из того потом может прорасти какой-нибудь художественный цветок. Даже и из того сора, который в углу кухни Н.

С той встречи узнавали друг друга, руки жали (влажная ладонь), улыбались приветливо, укрепляясь во взаимной симпатии еще и чувством добрососедства.

Казалось бы, тут и затянуться узелку дружеских отношений. Однако у Р. тяги к более тесному общению почему-то не возникало. Верней, может, и возникала, да он не очень этой тяге хотел поддаваться. Его тянуло, а он отталкивался. Вроде и интересы схожие, и поговорить есть о чем, и вообще — кто скажет, что ему не бывает никогда одиноко в этом копошащемся, словно муравейник, Вавилоне?

Он и самому себе пытался объяснить такое сопротивление: дескать, в их возрасте новые друзья вообще появляются редко, и сам он не часто теперь шел

на сближение, только в том случае, если человек действительно пробуждал какое-то особенное чувство приязни, совершенно иррациональное, то есть просто нравился и ничто в нем не задевало. Конечно, влажная ладонь — не ахти, но ведь могло быть и хуже — запах пота или замаслившийся ворот рубашки, испуганный взгляд либо торчащие из ушей волосы...

Впрочем, в случае с Н. иррациональное было, но не неприязнь, а именно сопротивление. Проходит, бывало, Р. мимо его дома к своему и вспоминает: ага, вот тут живет Н. Может, даже и на окно его взглянет, глаза подняв к четвертому этажу: светится или не светится? Если светится, значит, скорей всего дома (хотя, может, дома не он, а жена, его же самого нет), а следовательно, можно и зайти, потому что чудится — светится призывно, вроде как к нему персонально обращено: давай заходи по-соседски...

В самом деле, ежели соседи в огромном городе, то есть дома рядом и не надо тратить время на транспорт, чтобы добираться с одного конца города на другой, то отчего ж в самом деле не зайти, не посидеть за рюмкой водки или просто стаканом чая, не обменяться литературными новостями, не посетовать на всякие неурядицы, не обсудить текущее международное положение?

И так призыв этот настойчив, так осязаем, что Р., право, готов сделать шаг в сторону подъезда, и даже уже намечается поворот туловища, уже и нога одна занесена, чтобы совершить этот решающий шаг, однако в последний момент поворот пресекается и восстанавливается первоначальное направление движения — к своему дому, к своему подъезду, тут же рядом, буквально в пятидесяти метрах.

Сколько раз уже так бывало — и не только по возвращении с работы, когда, понятно, лучше домой, потому что дома можно скинуть пиджак и остаться в майке, натянуть спортивные штаны с обвислыми коленками, плюхнуться в кресло напротив «ящика» и вкушать тихое вечернее забытье, глядя на мелькание в голубом зазеркалье, слушать, не слыша, бубнящие голоса — такой незамысловатый, ни к чему не обязывающий фон для усталого после долгого дня трудяги.

Бывало, что еще более естественно, и когда Р. выходил прогуляться вечером в выходные дни — покурить, вдыхая вместе с табачным дымком знобкий весенний дух или осеннюю пряную сырость. Ведь отчего не заглянуть на огонек, коли есть свободное время, а тем более когда к горлу подкатывает комок душевной сумятицы: вроде как все не то и не так, вот и жизнь проходит... Тут ведь в самый раз воспользоваться соседством, ибо что лучше всего излечивает от таких внезапных приступов вечерней неприкаянной лихорадки, как не тихая, задушевная беседа с хорошим знакомым или тем более приятелем?

Короче, был повод, и даже не раз, но главное, что не собственное его желание зайти подталкивало, а как бы зов самого Н. или даже не его, а соседства как такового (изнутри пространства). Вроде как если есть знакомый сосед (симпатичный) и можно к нему зайти, то и надо зайти, потому что к незнакомому точно не пойдешь — ни к чему. Незнакомый — все равно что его нет вовсе, даже если он есть. Тут и не завязывается ничего, а если завязывается, то это уже — знакомство, пусть даже только о погоде, или о том, что мусор во дворе не убирают, или что опять эти проклятые байкеры ночью ревели моторами — никакого покоя...

Мешало, Впрочем, не столько даже зрение или обоняние, сколько что-то иное, труднообъяснимое. Как будто чувствовал, что попадает в зависимость от другого, чье существование вдруг начинает втягивать в себя, подобно омуту, приоткрываясь все больше в каких-то интимных своих извилях, требуя чего-то большего, нежели просто приветственный кивок.

Все в нем восставало против этого, как если бы над ним совершалось некое насилие. Наверно, это и было насилие, самое настоящее, потому что как же не насилие, если втягивало, затягивало, закручивало, ввинчивало так, что невольно прикипал мыслями — да, думал про этого человека: как у него дела, что он сейчас подельывает, может, одиноко ему и надо б навесить или по крайней мере позвонить. Вроде как участие проявить.

Однако не звонил и не навещал — потому именно, что чувствовал насилие. То есть на него давили и вынуждали — кто или что, трудно понять, но очень напористо, чем вызывалось еще большее сопротивление. За Р. это водилось: чем сильней напирала, чем больше навешивали и требовали, чем очевидней от него чего-то хотели, тем больше он уклонялся. Характер такой дурацкий. Не выносил, чтоб им манипулировали. Сразу упрямство в нем — хоть кол на голове теши, как в детстве раздраженно сетовали родители. И добиться ничего не удавалось.

Если не чувствовал напора, то тогда сам мог пойти навстречу. Это и вообще, и с женщинами в частности. Если липли и висли, быстро терял интерес. Так и тут... Только в данном случае, очевидно, ничего не происходило, и Н. ничего не требовал, раза два только позвонил и один раз пригласил на день рождения. Р., понятно, не пошел, сославшись на какие-то неотложные дела, — и правильно, потому что день рождения — такой праздник, на который приглашаются самые близкие. А если бы пошел, то это потом его ко многому бы обязывало, он как бы автоматически попадал в близкие, в избранные, а с чего бы? Ну да, живут поблизости, дома рядом, ну да, коллега, ну и что из этого?

Тем не менее слышал призыв. Отчетливый такой, словно бы Н. только и думал об Р., что тот живет рядом, а не заходит, не звонит, тогда как могли бы попить вместе чайку (или водки), поговорить — нашлось бы о чем. Вообще о жизни. Всегда ведь есть о чем поговорить. Может, даже стихи почитать. Как если бы Н. совершенно нечего было больше делать — только и мечтать о встрече с ним, с Р. Будто он такой одинокий и у него нет семьи и друзей, действительно близких, с которыми он учился в школе, или потом в институте, или работал вместе.

Так Р. проходил мимо соседнего дома и вдруг видел Н. возле подъезда на лавочке. С сигаретой в мундштуке. В наброшенном на плечи пальто, похожем на шинель (Грушницкий), как атаман в бурке. В белых адидасовских кроссовках на босу ногу и с плохо завязанными шнурками, болтающимися по земле. Ассоциации и сравнения сами напрашивались, несколько едкие, что нехорошо, хотя литератор без ассоциаций и сравнений — как водка без соленого огурца или без селедки.

Еще длинные темные волосы торчат в разные стороны из-под низко надвинутой на лоб кепки. И глаза за толстыми поблескивающими стеклами очков задумчивые. Вид, что ни говори, экстравагантный. Сразу ясно, что не рядовой человек.

Словно специально поджидал Р. Издалека его узнавал, вставал навстречу, радостно руку ему протягивал: как дела? Покурим? Р. принимал сигарету, прикуривал от любезно подставленной зажигалки, тоже присаживался на лавочку: ничего, помаленьку... И у Н. вроде дела нормально, жена вот ремонт затевает, а ему не хочется — и дорого, и времени нет...

Посидят, покурят, Н. еще за сигаретой полезет (много курит), но Р. встанет, рукопожатие теплое такое, дружеское (влажное слегка): может, все-таки зайдет чайку попить? Спасибо, как-нибудь в другой раз... Что ж, в другой так в другой — и разойдутся. То есть Н., может, еще останется покурить, глядя вслед удаляющемуся Р., или тоже пойдет в свой подъезд (а все равно взгляд), и у Р. — странное чувство вины, что не согласился зайти...

Только ведь приглашение — дань вежливости, ну еще знак расположения, за которым не обязательно что-то должно последовать. Р. уходил, будто с женщиной расставался, бред какой-то! Вроде оставлял ее, потому и кошки на душе скребли. Но если бы зашел на чашку чая (рюмку водки), потом еще хуже: зайти — сразу отчасти и прирасти, прикипеть, даже если не хочешь, а Р. точно не хотел, потому что — как с женщиной — сразу чувствовал себя должником. Вроде чем-то обязан или даже ответственность на нем — за нее, за женщину. Что вроде как он ее покровитель и защитник (это при нынешнем-то феминизме!).

А вот теперь Н. заболел, тоже жизнь. Ну да, и здоровье — жизнь, и болезнь, но если здоровье не столь требовательно, то болезнь уже нечто иное. Р. изредка встречал жену Н., которую не сразу узнавал (память плохая на лица), но иногда все-таки узнавал и тогда спрашивал, как дела у Н. Так вот, сначала дела были ничего, более или менее, а тут вдруг озабоченность и пасмурность в миловидном личике: неважно дела... Оказалось, что Н. давно уже заболел, тяжелый грипп, неожиданное осложнение — на почки, он не то что из дома не выходит совсем — с кровати встать не может (запрещено).

Почки — противно, посокрушался Р., у него тоже когда-то было, но сейчас вроде прошло, зеленый чай хорошо помогает, травы всякие. Но у Н., похоже, гораздо серьезнее, так Р. понял со слов жены его. Что уж там зеленый чай...

И вот теперь он знал, что Н. болен, лежит в своей квартире в соседнем доме и никуда не выходит, и уж теперь ему точно одиноко, потому что когда человек болен, то все обостряется (экзистенциальное), тут бы надо непременно зайти проведать, по-соседски, как навещают больного. Он лежит, не вставая, судно белое под кроватью, но все равно подтекает, потому что почки, противно, самому не справиться, а жена где-то замешкалась, и жутко неловко от своей беспомощности, и что на простыню — желтые пятна, мокро, запах...

Литератор все видит, и слышит, и чувствует — наблюдает, другой бы человек, нормальный, не обратил бы внимания, а если б и обратил, то не стал бы в себе держать, мало ли что в жизни, а он вроде нарочно пришел — за впечатлениями, за новым опытом, который хоть и с другим, а все равно — опыт, наблюдения, потом куда-нибудь, в какой-нибудь текст непременно вставится.

Так что и Н.— вроде не просто сосед и не просто Н., а все равно что подопытный кролик, все равно что рыбка в аквариуме. Все это чрезвычайно ясно представляется Р. (как будто действительно навестил), даже запах начинает чувствовать — урины, лекарств, видит, как капельки скатываются.

Но если бы это не Н. заболел, а Р.— разве иначе б было? Н. бы пришел и увидел точно так же, ну может, чуть по-другому: и свалку в углу кухни из всякого бытового сора (пакеты, картофельные очистки, скомканная бумага...), и мелькнувшее в полумраке прихожей лицо жены Р., и шинель Грушницкого, и крест из ценной породы дерева, и его самого лежащего, судно под кроватью, и подтекает, самому не справиться, а жена где-то замешкалась, жутко неловко от своей беспомощности, и подтекает на простыню, желтые пятна, мокро, запах...

Проходя в очередной раз мимо, Р. смотрит на окна на четвертом этаже, откуда (светящиеся или темные) — вроде как укор. Ведь рядом проходит, почему не заскочить, не расспросить про здоровье, не рассказать, что делается на белом свете?

А что делается на белом свете? Что было, то и есть...
Формально слишком.

И опять ведь узрит, вынаблюдает что-нибудь такое, что потом непременно будет просачиваться в текст (подтекать): чем резче и жестче, тем лучше (тем хуже), потому что литература — такое суровое и безжалостное, в сущности, дело, ей все в строку, даже самое гадкое и неприглядное.

Только Р. от этого, а еще больше — от себя самого, муторно. Потому он и не пойдет к коллеге Н. и не будет проявлять участие. Пусть тот живет как может, в шинели (Грушницкого), с мундштуком и с судном, с крестом или с подковой, с женой или без, пусть, главное, выздоравливает — но без него, без Р.

Не так уж они в конце концов знакомы, шапочно вполне, хотя и соседи. А что вроде как коллеги, причем достаточно редкой породы, тоже вовсе ничего не значит. Может, и тем более ничего не значит, потому что литератору от литератора, даже если они в разных жанрах и делить им нечего, лучше держаться друг от друга подальше.

Чтобы все-таки жизнь, а не сплошь литература.

САТОРИ

Исходное положение: стоя на коленях.

Выполнение: положить сплетенные пальцами ладони на пол. Положить голову (точки соприкосновения головы и пола — на расстоянии толщины двух пальцев от линии волос) в чашу, образованную ладонями. Выпрямить ноги в коленях, оттянуть носки и поднимать ноги не сгибая до тех пор, пока тело и ноги не займут вертикальное положение. Внимание на щитовидной железе. Находиться в позе от 30 сек. до 5 мин.

Терапевтический эффект: благотворно воздействует на органы зрения и слуха, на мозг, эндокринную систему, систему кровообращения, систему дыхания, органы таза.

Первое, что он сделал, оказавшись в камере, это встал на голову (*сиршасана* — см. выше).

Он встал на голову прямо возле своей лежанки, подложив под нее на цементный пол дряхлую, сбившуюся комками внутри, дурно пахнущую подушку. И стоял так минут пять, вытянув кверху босые ступни. Потом осторожно опустил ноги и распрямился, приняв нормальное вертикальное положение (голова сверху), забрался на лежанку и сел с прямой спиной и скрестив ноги. Сидение продолжалось больше часа. К нему заглядывали в глазок, а он сидел и сидел, скосив глаза на кончик носа, слегка красноватого (в камере прохладно).

«Матушка», «батюшка» — так необычно называл родителей.

Мы ему удивлялись. Какой-то он независимый, от всех, в том числе и от нас. Мы в кучу сбивались, как бывает обычно у подростков, в стайку, в которой как-то уверенней себя чувствуешь, а он отдельно, да и интересы у него были другие: музыку слушал в консерватории, хоть сам и не играл, в театры ходил, толкаясь перед входом и выспрашивая лишний билетик, книжки у него появлялись, про которые никто из нас не слышал, и непонятно было, что интересного. «Братьев Карамазовых» читал на уроках, спрятав под партой, стихи Бродского, перепечатанные на машинке (пожелтевшие листки), в иконописи разбирался. И знал уйму всего, особенно из древней русской истории.

Если уж попал сюда, то нужно использовать максимально время для приобретения каких-то новых навыков. И позаботиться о здоровье, не слишком крепком. Где и заниматься аутотренингом, как не в камере. Здесь он один (если, конечно, ему не подсадят кого-нибудь), причем неизвестно, сколько это

продлится,— неделю, месяц, год... По-своему даже замечательно, потому что на свободе не заставить себя, все откладываешь, откладываешь. Свобода отвлекает, если не сказать — развращает. А здесь что еще делать — только погружаться в себя.

Однажды перед уроком военного дела устроил дымовушку (с военруком — по причине принципиального пацифизма — у него были напряженные отношения), после чего урок, конечно, отменили, а нас всех трясли и таскали к директору. Догадывались, что его рук дело, но никто ничего не сказал. Молчали как партизаны. И он молчал, не признавался, хотя из-за него могли пострадать другие. Кинул мимоходом, сквозь зубы: «Всех не выгонят!» — и баста. Улыбался тонко, словно и не улыбался, а как бы лицо у него такое. Джоконда. Ну да, в лице что-то от леонардовской Джоконды, немного, впрочем, и от Христа с картины Иванова, особенно когда рыжеватые волосы длинные (одно время носил), а потом и когда короткие. То ли улыбается, то ли нет.

Так это ничем тогда и не кончилось, шумели сильно, но без последствий. Его еще больше зауважали, что он оказался прав, и дымовушка была что надо, весь подвал, где проходили занятия, заволокло, едкий такой лиловатый дым — без противогаза не обойтись. Это у него был антивоенный протест — не хотел он учиться военному делу, и стрельбища в тире, куда нас водили иногда на уроке (а однажды даже возили за город на полигон — шмалять из Калашникова по выныривающим из-за бугра картонным фигурам), его совершенно не увлекали.

Вот он сидит в позе полулотоса (до лотоса еще далеко — ноги в такой степени пока не гнутся), с ладонями на коленях, обращенными вверх. Медитация — самое трудное, невозможно сосредоточиться, не отвлекаться ни на что постороннее: надо ведь не бороться с мыслями, а дать им спокойно проплывать мимо, как будто это белоснежные, истаивающие в бездонной голубизне неба облака. Или мерцающие светлячки звезд.

Он помнил звезды в ночном небе, когда вдруг увидел их как в первый раз. Сколько ему тогда было? Лет шестнадцать. На даче, кажется. Где-то сидели с ребятами, просто сидели, довольно поздно, стемнело давно, но почему-то не расходились. Он откинулся, прислонившись то ли к дереву, то ли к стене (кажется, возле барака в самом начале дачного поселка, там рядом был продуктовый магазинчик, а в бараке иногда крутили кинофильмы), затылком прикоснулся — и вдруг увидел! Темный бесконечный провал неба с мерцающими в нем крупинками. Синеватые льдинки в серебристой дымке. Все было усеяно. Аж холодком пробрало — такое неожиданно огромное, даже голова закружилась.

Еще в квартире на первом этаже их старого дома на Ордынке (теперь его нет, а на том месте площадка с торгующими всякой всячиной киосками), в его комнате был вырыт подвал не подвал, но что-то вроде, такая глубокая яма вроде колодца, обложенная кирпичом, и там установлен проигрыватель, на котором прокручивались всякие диски — Армстронг, Элла Фицджеральд, Поль Мориа... И, разумеется, классика — Бах, Моцарт, Вивальди... Акустика в этой яме была обалденная, звуки словно сочились из стен, проникали откуда-то из окружающей яму земли, а там не только земля была, не только жирные пласты желтой влажной глины, но и всякие подземные коммуникации, древние, еще дореволюционные, охватывающие чуть ли не весь центр Москвы.

Там, в глубине, была старая Москва, древние стены, речка, трудно представить, но он все это знал, потому что жил рядом. Оттуда-то, казалось, и сочилась музыка, а он ее слушал, сидя на деревянном ящике из-под помидоров или чего-то в этом роде. Сверху была видна его рыжеватая макушка, волосы, падавшие на плечи... В школе гоняли стричься, а он уклонялся, и некоторое

время ему удавалось, хотя потом все равно дожимали — иначе не пускали на урок, вызывали родителей, а они у него были очень симпатичные, интеллигентные такие и к его фокусам относились довольно терпимо, даже отчасти солидаризировались, особенно отец, инженер, балагур и весельчак с печальными глазами. Когда надо было позвать сына к телефону, он отвечал: «Сейчас загляну в его келью». И впрямь в их коммуналке, в принадлежавшей им комнате яма была единственным способом уединиться — холодновато только.

Дымовушка вдруг приблизила его, а то он иногда казался слишком загадочным.

Потом, во время чтения какой-то книги про йогу, вспомнилось то ночное состояние (небо). Пахло казенным бельем, сырыми стенами и холодным каменным полом. Нельзя было терять времени, чтобы в конце концов это время победить. Время нужно было заполнять действием, теперь у него могла быть только одна цель, вернее, две, потому что в человеке изначально заложены две доминанты — самосохранение и развитие. Действие ведь не только борьба и протест, но и мышление. И созерцание — тоже действие. Созерцатель — тоже деятель.

Йога вселяла надежду, во всяком случае, в этих условиях. Ничего другого он здесь не мог — ни читать, несмотря на то что в тюремной библиотеке книги были, ни слушать музыку, ни писать... А раз так, значит, просто необходимо было встать на голову или сесть в позу лотоса. Необходимо было сосредоточиться на дыхании: вдох — задержка — выдох — задержка... Нужно было научиться медитировать. Медитация — тоже действие.

У Чехова, кажется, есть рассказ про пари, которое заключил некий человек с банкиром — что проведет в абсолютном затворничестве много лет при одном только условии: его будут кормить-поить и давать книги. Еще он, кажется, музицировал на фортепьяно. И почти выиграл пари, проведя в заточении-затворничестве положенный срок. Книг он прочитал за это время невероятное количество. Уже близился час его освобождения, когда человек внезапно исчез. Буквально в ночь накануне. То есть просто взял да ушел — именно в ту минуту, когда вполне мог быть уверен в полном своем торжестве. Банкир, трепетавший в страхе, что придется расстаться с довольно крупной суммой, понятно, вздохнул с облегчением.

В оставленной же записке было сказано... Что же там было сказано? Презираю или что-то вроде... То есть герой презирал все: и книги, и музыку, и банкирские деньги, и самого банкира, и вообще...

Момент истины. Что-то он постиг, тот чеховский герой, для чего понадобились ему долгие годы заточения и штудирования многих ученых томов. Только стоило ли читать все это, чтобы понять безрезультатность?

Однажды, уже окончив школу, через год или два, пока еще не оборвались окончательно связи, вместе ходили на фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы». И там, посреди сеанса, случилось странное: всхлип, запрокинутая голова — так он и сидел, запрокинувшись, как если бы у него внезапно пошла носом кровь и он хотел ее остановить (может, и вправду пошла). На экране в то мгновение, когда все случилось, кто-то, кажется, пытался наложить на себя руки... Как потом выяснилось, действительно потерял сознание. Обморок.

Восприимчивый чересчур.

Йога — практическое делание. Она может изменить человеческую природу, исправить ее, вывести на другой уровень. То есть сделать

неуязвимым для боли, болезней и вообще страданий — два, недостижимым для реальности — три...

Путь освобождения.

Если овладеть йогой, то тюрьма уже не страшна: не жаль было бы потерянного времени, не жаль никого и ничего, тем более что и здоровье он не только бы не утратил, но даже укрепил. Если по большому счету, как бы заново переродился.

Его обвинили в продаже икон иностранцам. Ну да, но он также сотрудничал с каким-то антисоветским религиозным эмигрантским журналом. Может, он вовсе ничего и не продавал, а только сотрудничал (вполне достаточно), однако чтобы не начинать политическое дело, не производить слишком большого шума, нужно было пришить ему что-нибудь криминальное, для чего торговля иконами подходила идеально. Мало того что торговал — еще и расхищал национальное достояние, сбывая произведения искусства за границу.

Над дверью в его квартиру установили подслушивающие жучки, под окном дежурила «Волга» с человеком в сером плаще. Так и осталось темным местом, продавал или не продавал. У него не спросишь — слишком он теперь высоко. Пробовали звонить. Либо автоответчик, либо занято, либо никто не подходит. Один раз женский голос ответил, что он в Бولیвии и будет через неделю. А через неделю ответили, что во Владивостоке.

Не поймать.

С каждым днем время стояния на голове и сидения в позе полулотоса (все ближе к полноценному лотосу) увеличивалось. Может, и в самом деле менялся. Во всяком случае, то, из-за чего он здесь очутился, в этой камере с сырым, выщербленным цементным полом, вдруг перестало казаться столь уж важным. Не нужно никому (у матери инфаркт, у отца неприятности на работе), и ему в первую очередь. Неправильно, что из-за этого можно угодить в тюрьму, подвергаться гонениям, претерпевать всякие неурядицы. Свобода должна быть внутри. Тайная. Как яма у них в квартире на Ордынке, как неведомые мглистые катакомбы под городом.

Самое правильное — не иметь ничего, ничего и не желать. И тем более не бороться за то, чтобы переменить статус-кво. Нет ничего запретного и незаконного, добра и зла, чистого и нечистого, все слитно, все правильно, все в порядке вещей. Они песчинки в грандиозном замысле мироздания. Нужно идти путем внутреннего освобождения. Ну и выбираться отсюда. И как можно быстрее!

На вопрос следователя, признает ли он свои действия противозаконными, мыкнул: «Угу». Хочет ли выйти отсюда? Разумеется. Готов ли искупить свою вину перед государством публичным покаянием? Короткая пауза и твердое: «Да».

Выпустили его ровно через две недели после записи на телевидении: он публично признал свою вину, сказав, что считает свою деятельность безнравственной и разрушительной, а принимаемые государством защитные меры абсолютно правильными.

Его раскаяние выглядело вполне натурально, только в лице (для знающих) странная тень, эдакая полуулыбка, как на лице леонардовской Джоконды. Ну да, он был похож на Джоконду (и отчасти на Христа с картины Иванова), несмотря на наголо обритый череп.

Он уже был на пути...

РАБ

Раб — это про Петра. Жестко и пренебрежительно: раб...

Каждое утро его можно увидеть на соседнем участке — в синей спецовке, с лопатой или граблями. Выходит на огородные работы, словно по звонку. Правда, не один — вместе с матерью, не старой еще, однако все заметнее дряхлеющей, согнутая спина ее виднеется из-за яблонь и кустов красной смородины. Крупный, мускулистый, с выгоревшими на солнце светлыми (вперемешку с сединой) волосами и красным от загара лицом, он выглядит настоящим здоровяком — что значит чистый загородный воздух плюс физический труд!

Да и жизнь какая — покопал-порыхлил, поел, повалялся с детективчиком (к нам приходит просить) на диване, покурил на лавочке, глядя на плывущие в небе облака, наведаясь к кому-нибудь из соседей, кто в отпуске, про жизнь-бытьё покалякать, чем плохо-то? В городе света белого не взвидишь — спешка, кутерьма, крутишься как белка в колесе, и так день за днем, год за годом... А он целое лето, вплоть до поздней осени, на пленэре, с лопатой, или если кто на соседних участках вздумает строиться или ремонтироваться — пожалуйста, отчего не подхалтурить — деньги-то нужны!

Как он живет в другое время — зимой или ранней весной, когда на даче еще слишком холодно, — неведомо, тоже, наверно, вкалывает. Хотя в городе у него что-то явно не складывается: устроится вроде куда-то — плотником или грузчиком, а в скором времени снова без места. Сам об этом невнятно рассказывает. Да и результат один. Всякий раз нелады с начальством, хотя по характеру-то вроде не вздорный, даже добрый, ну попивает (а кто без греха?), может, даже и крепко. Не так, однако же, чтоб под забором валяться. Под забором его никто не видел, во всяком случае, на даче. Но что принимает — точно. Согнется, бывает, в три погибели (ветки мешают) и так, пригнувшись низко, словно крадучись, перейдет границу участка (забора нет): то-се, как дела, а потом, багровея от напряжения, с некоторой даже неожиданной агрессивностью: можешь дать двадцать рублей?

Когда он денег просит — значит, под газом: глаза с красными прожилками, воспаленные, может, не первый день. Берет деньги, но как бы и не берет, а словно руку пожимает, сам же при этом оглядывается беспокойно, не видит ли кто. Шепчет: «Только чтоб мать не...» Долг обычно не возвращает — то ли потому, что денег нет (все мать отбирает, что не удастся утаить), а если есть, то долго не задерживаются — тратятся на выпивку (заколдованный круг). А может, просто не помнит потом, когда протрезвеет, что одалживал.

Есть у него и еще одна обязанность — приглядывать за племянницами и племянником (в основном этим занимается его мать, то есть их бабушка): их тут целых трое, мал мала меньше, дети его сестры. Та приезжает с мужем только на уик-энд или даже раз в две недели (работают), а в остальное время дети на матери (бабушке) и на Петре. Из-за кустов, разгораживающих наши участки, видно, как они катаются по дорожке на трехколесных велосипедах, и он тут же, сопровождает их, или слышен негромкий, хрипловатый его голос, когда он пытается погасить вспыхнувшую ссору между девчушками.

Со стороны — образцовый сын, может, так и есть, слушается он мать беспрекословно, и ни разу не было, чтобы он (или она) повысили голос — ни на детвору, ни друг на друга. Он и вправду очень спокойный, неторопливый (торопиться некуда), молчаливый. В детстве ведь другим был — шустрым, шептунным, ни одна проделка без него не обходилась.

Скорей всего это после армии он стал другим (служил на подлодке, не исключено, атомной): в плечах сильно раздался, в походке появились замедленность, основательность, ступать стал широко, как бы утверждая каждую ногу на шаткой поверхности земли. Может, и попивать стал тогда же (или уже на подлодке, сам ведь говорил, спиртиком баловались). Кто знает, как там ему было, наверняка ведь всякое случалось, хоть он и не распространялся. Надолго уходили в море, по несколько месяцев дрейфовали. Такая вот подводная, загадочная жизнь, которую и представить-то довольно трудно: вроде все как обычно, а только за (под и над) стальной обшивкой — равнодушный бескрайний океан, бесконечная слоистая вода.

Уже за сорок перевалило, а он по-прежнему один. Детей рождает сестра, как бы компенсируя недостачу с его стороны, а он за ними приглядывает вместе с матерью. Девчонки-близняшки симпатичные, серьезные такие, застенчивые, прячут мордашки в бабушкин подол. Или в его синие спецовочные брючины, в которых он обычно ходит (и работает). Почему-то странно, что это не его дети, у всех на нашей улице полно чад, по двое-трое, много детворы на улице, больше чем когда-то было нас, несмотря на все кризисы и пертурбации. Что их много — даже как-то успокаивает. Раз рожают — значит, не все потеряно, значит, жизнь не кончена. Девчонок и сынишку сестра Петра одевает нарядно, ярко, сразу видно их сквозь листву — желтые, оранжевые, белые... Как цветы (у них и на участке их много — гладиолусы, флоксы, астры).

Сестра с мужем, приезжая, — всегда в белоснежных футболках, в ярких, разноцветных спортивных костюмах. Мы-то привыкли: раз дача — значит, можно натянуть что-нибудь древнее, заношенное, с оттянутыми коленками и дырками на локтях, почти неприличное. Перед кем красоваться-то? Да и не для того здесь, чтоб под ручку фланировать по улице, — не Сочи. Там перекопать, здесь подправить крыльцо, забор подлатать, без дела особенно не посидишь. У них же все иначе — словно они с какой-то другой планеты. Ходят по участку, как денди. Правда, муж сестры, молодой видный мужик, машину свою «ауди» трет всякий раз (вместе с Петром), как приезжает. Марафет наводит. Потом сядут с женой в красный свой лимузин и отбудут, аккуратноенько объезжая рытвины, по нашей раздолбанной дороге (а Петр будет стоять у ворот и смотреть вслед с неизменной дымящейся беломориной во рту).

Их аристократизм тревожит — будто они из иной жизни, хотя на самом деле все у них почти (кроме «ауди») то же самое, что и у нас. И синяя спецовка Петра не так уж режет глаз — вполне под стать их ярким фирменным одеяниям.

Иногда он приходит посидеть со мной на лавочке возле дома, глаза у него снова подозрительно красные, воспаленные, с запекшимся в уголках гноем. Некоторое время сидим молча, потом он спрашивает: «Серегу помнишь с Пятой улицы? Вчера с ним встретились, повспоминали, на его улице уже никого почти не осталось». Он долго рассматривает квадратные, с заусенцами, слегка зачерненные по краям ногти, руки — широкие в запястьях, сильные, привычные к лопате и топору. «Перемерли почти все, — говорит он и после некоторой паузы как бы отвечает на мой произнесенный вопрос: — Кого замочили, кто спился, кто от болезни какой... Ванька вон младше нас, а обширный инфаркт — в реанимации лежит. Вроде и не пил...»

И ведь действительно потихоньку помирать стали, даже и те, кто помладше. Это старшее поколение (некоторые) держится на удивление, крепкое — война не война, кризис не кризис, пенсия не пенсия... Тянут свой воз — ничего не скажешь. А из нашего выпадать стали. Смотришь — того нет, этого... Инфаркт. Инсульт. Рак. Еще что-нибудь.

Он сидит, согнувшись, утвердив локти на коленях, смолит папироску и то и дело беспокойно поглядывает в сторону своего участка, не появилась ли мать. Я

хорошо знаю эту женщину, когда-то она часто заходила к нам на участок, как бы инспектируя и давая разные полезные советы родителям (а потом и нам): когда что сажать, когда и чем подкармливать... У них-то на огороде всегда образцовый порядок, а если что вырастает, то отменного качества и объема: капуста так капуста, редис так редис, укроп так укроп, а не чахлые худосочные травинки, как у нас. Все грамотно, словно она профессиональный агроном, а никакая не медсестра в городской больнице.

Петр всякий раз сильно нервничает, стоит ему пересечь границу между участками. Эта граница вообще вызывает в нем какие-то сложные переживания. Подходя к ней или к забору, отделяющему их участок от улицы (даже и к калитке), он замедляет шаг, поглядывает беспокойно вокруг, словно собирается совершить нечто запретное, дыхание его учащается, лицо бледнеет. Его напряжение заметно невооруженным взглядом. Но, даже и пересекши границу, он не успокаивается, руки нервно мнут папиросу, на виске вибрирует набухшая синяя жилка.

Теперь, сидя со мной на лавочке, Петр смотрит туда, на свой участок, полускрытый яблонями и кустами смородины, где в любую минуту может появиться мать. И точно, не проходит пяти минут, как она выходит из дома, что-то делает во дворе, потом останавливается... Петра нет! Но он уже возвращается, пробирается боком, сильно сгорбившись, наклоняясь все ниже, словно надеясь, что его не заметят, будто совершил некую провинность. Пролезает под низкими ветвями яблони, между смородинными кустами — тут он, тут, никуда не уходил... Надо пойти мусор выбросить, слышишь? Еще бы не слышал. Покорно, с ведром в руке направляется к мусорному контейнеру в конце улицы — над забором проплывает его голова (седина в волосах).

А по утрам глаза красные, воспаленные: хорошо на даче — не то что в городе! Рублей десять не будет? До завтра...



Наша война

ИЗ «НЕЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»

В доме моего деда была большая военная библиотека с мемуарами командующих армиями, тактическими учебниками и другими почти научными книгами о войне. Среди этих книг выделялись несколько одинаковых красных томов, каждый толщиной как два, а то и три кирпича. Назывался весь этот тяжкий бумажный груз «История второй мировой войны». Когда я однажды подростком пролистал только одну из книг, то был поражен, найдя в ней отдельные карты сражений за маленький остров в Тихом океане и за вовсе ничтожный оазис где-то в африканской пустыне. Все время, сколько смотрел военные фильмы и слушал уроки истории в школе, война казалась только *нашей* — ведь и названа Великой Отечественной, все равно что родная, — но разорван был войной на куски, выходило, весь мир, даже неизвестные острова.

Вторая мировая война — своя у каждого народа. Историческая память народов о ней и сама ее история похожи на лодочки и реку. Про реку нельзя сказать «плывет». Она течет, ею движет неумолимая единая сила. Ну а лодочки, чужие друг другу, плывут по реке, хотя и кажется, будто б волокут за собой реку.

Что народы помнят и понимают о войне — только наплывает поверх исторических событий. Историю все равно подменяет память, и мы все равно в каждое время будем знать и понимать только то, что воспримем как свое и в чем увидим свой национальный подвиг. Постороннюю ж сторону воспринять почти невозможно, и она нам, естественно, чужда. Но чуждое и родное в отношении Великой Отечественной войны именно теперь, в новом времени, смешалось. Наше национальное достоинство оказалось унижено под конец века ощущением исторического поражения. Историческая память советских людей о войне во многом была воспитана тем, что называлось «пропагандой». Но не все, внушенное в советское время о Великой Отечественной, было фальшивкой. Фальшивки, то есть чуждое, никогда б не родили веры в образ войны святой и освободительной, не будь в самих людях толики этой святости и готовности к бескорыстной жертве.

Что же было внушено? Или иначе: что мы знали и помнили о войне всего десятилетие назад? Знали о вероломном нападении фашистской Германии. «Фашистской» — значило уже совершенное воплощение зла. Образ войны с фашистским злом будто б отменял политические расчеты и мотивы, свойственные вообще войнам. Наша война началась в одночасье, но словно в продолжение вечной борьбы добра со злом, где зло посягает на добро только по той причине, что, как и положено ему, хищно стремится овладеть всем миром. Наша страна, воплощающая идею всеобщего равенства и братства, — такое ж совершенное добро, встала препятствием на пути фашистского зла к власти над миром. Битва добра со злом всегда неравноправна, так как одна из сторон действует коварством, силой безжалостного расчета. Сторона же добра жертвенно принимает на себя ее первый крошечный натиск, и мы знали об огромном количестве людских жертв в начале войны, когда фашисты бомбили наши мирные спящие города и стирали с лица земли танковым валом одинокие, обреченные на гибель пограничные заставы. Знали о переломных битвах войны —

за Москву и за Сталинград, о блокаде Ленинграда и Курской дуге. Сражения же на европейских полях представлялись одним освободительным победным шествием. Победа как торжество добра. Суд над злом — Нюрнбергский процесс.

Каждый советский человек, рожденный после войны, знал и понимал о ней ровно эти заповеди. О войне узнавали из фильмов и книг, память о ней увековечена была в памятниках. Кто воевал, сами фронтовики, знали и понимали куда больше, но их горькая окопная правда не имела никаких прав, да и разве мыслимо было разочароваться в главном, в нашей Победе? Востребована оказалась советским обществом не правда, а миф о войне, и даже ее реальную политическую историю подменила мифология решающей схватки добра со злом, сакральной по своей сути, будто это был Армагеддон. Хотя зло все же не исчезло и демоны с их угрозой миру не перевелись, но именно после Великой Отечественной добро, то есть наша страна, наделяется уже силой и мощью, далекими от прежнего жертвенного, страдающего образа добра.

Окопная правда, правда страдания, была загнана в потемки солдатских душ. По всей стране — тысячи памятников победителям, но только Бабий Яр да Пискаревский мемориал в память о жертвах. Незахороненные останки погибших потому и оставлены тишком болотам да лесам, что источали не торжество победы, а страдания и слезы, которых чурались как напоминания о разгроме армий и огромных людских потерях.

Победа породила культ силы и бессмертного подвига. Того подвига, что не оставлял человека в живых, а был сознательным приношением своей жизни в жертву. О легендах войны надо сказать особо, ведь легендарным становился не всякий воинский подвиг и после войны воздвигались монументы не на каждой пяди русской земли, обогрешенной кровью героев. У нас легендой стали подвиги смертников. Сама человеческая жизнь на весах нашей войны ничего не стоила, а меж тем на войне человек не только нацелен на уничтожение врага, но и силится выжить, остаться в живых. Одно, по сути, — кромешно и бесчеловечно, да и оправдать убийство себе подобных, тем более массовое уничтожение людей людьми, может лишь война. Другое — человечно и полно живого содрогания, и в том нежелании умирать сквозит уже отвращение души человеческой к смертоубийству, которое никак не должно стать порядком вещей, иначе жизнь превратится в кромешный, бессмысленный ад. Твардовский в своей поэме «Василий Теркин» показал русского солдата, храбрость и героизм которого заключались в умении выжить на войне. Обнажил всю глубину его именно доброты и человечности. Но выжившие — это и раны, и сомнения, и боль, и страх. А бессмертные — это живые пули, пославшие сами себя как свинец в ненавистную, бездушную для них цель. Сознательность смерти — вот бессмертие и подвиг. Там же, где тыщи и тыщи с проклятиями и матом цеплялись как могли за свои жизни и не хотели умирать, но погибали в штурмовых бросках или котлах окружений, смерть не делалась подвигом. Смертоубийство войны вытравлялось из народной памяти, так как рушило миф о схватке добра со злом. Миф этот казался бесчеловечен. Он, как молох, требовал только священной жертвы и святой лжи.

Но ложь, какой бы ни была святой, слабее самой грешной правды. Она несвободна, и даже не само по себе желание знать правду, а стремление человеческое к свободе обратит ее рано или поздно в прах. Правда в этом смысле разрушительна, и если очищает, то как огонь — сжигая дотла. Стремление стихийное к свободе было скоплено десятилетиями безмолвной нашей веры в святую ложь и будто б невероятной усталостью от двойной жизни, на какую обречен был всегда несовершенный да грешный человек в стране, воплощающей совершенное добро. Советский человек возжаждал быть грешным, чтоб самому совершать естественный выбор между добром и злом, отвечать за все только своей совестью, быть неравным среди неравных, то есть свободным. Расплатой за утоленную эту жажду свободы было неожиданное унижение правды, когда великое в одночасье сделалось малым, а то и ничтожным, героическое — абсурдным, добро — злом.

Правда о тайных политических пактах, Катынском расстреле, власовской армии, штрафбатах и заградотрядах разрушила образ священной войны. С тех пор мы

знали и понимали о ней зеркально иное, и писались уже новые страшные книги о «проклятых и убитых», выходили новые покаянные фильмы о смертниках, которых гнали под пули свои же карательные войска. Разоблаченное и побежденное зло фашизма воскресло беспощадно в правде о советских концентрационных лагерях. Тем, кому десятилетиями внушали в книгах и кинофильмах ужас перед Дахау и Освенцимом с их иссохшими пленницами трупов, газовыми камерами, печами крематориев, поощряя не столько сострадание, сколько ощущение непричастности к извращенному чуждому злу, надо было лицезреть такое же собственное извращенное зло и униженно, потрясенно осознавать свою к нему причастность да и обманутость.

Великая национальная Победа и величайшее национальное поражение теперь еще долго будут неотделимы друг от друга. Но любовь к Родине и народная жертва во имя Родины все равно остаются святынями, потому что во все времена были правдой. И война Отечественная остается *нашей* войной, хотя история ее подлинная не уложилась даже в общественном сознании, а не то чтобы стала исторической памятью. Мой дед, Колодин Иван Яковлевич, участвовал в боях на Кавказе и в уничтожении на Украине бандеровских банд, считавшихся фашистским отребьем. Награжден боевыми орденами за мужество и отвагу. Служил. А уже ветераном был окружен уважением, как и все люди его поколения, обретшие себя на войне в служении родине. Похоронен в Киеве на военном кладбище Лукьяновском со всеми почестями, но не дожил до того времени, когда Семен Бандера стал на Украине национальным героем, а флаг с трезубцем — национальным флагом этой страны. Два года назад в квартиру в Киеве, где одна живет теперь бабушка, пришли якобы музейные работники и попросили награды деда для музея. Так как о деде давно никто не вспоминал, то она растрогалась, поверила и отдала весь его генеральский иконостас. После засомневалась, что ордена взяли, а орденские книжки даже не спросили. Вот так был обворован мой дед уже после смерти, как и многие другие, чьи награды вдруг сделались настолько прибыльным товаром, что ради них рискуют идти даже на воровство. Но ведь именно моральное опустошение так повысило в цене награды за честное служение своему Отечеству. Пока были в людях честность и уважение к подвигу, награды только того и стоили — человеческого уважения.

Вернется ли утраченное нами общественное состояние, когда люди были естественно честны, а зло подобное было невозможно? Когда станет снова ясно, где слава, а где позор? Когда русский солдат осознает в себе снова такую ж праведность, какую, без сомнения, осознавали в себе те, кто воевал и погиб на Великой Отечественной войне? Эти вопросы оставлены, как раны, ею самой, нашей священной войной со злом, сброшенной в конце века со многих пьедесталов и обкраденной мародерами, но и породившей зло: ненависть в освобожденных от фашизма народах, мертвящее безразличие тысяч и тысяч собственных нравственных уродов.

И все войны наши этого века — первая мировая, гражданская, финская, вторая мировая, афганская, чеченская, — понимаемые всякий раз как священные, то есть как войны с неким воплощенным злом, мучительны именно этими вопросами, и о каких-то из них в нашей исторической памяти остались мутные следы, а о других уже и вовсе забыто. Ради чего все это с нами было? Что было достигнуто этой чередой войн? Все исторические достижения этих войн отменяла сама история, повернув ход свершенных событий вспять. И это, наверное, правда. Однако история не отменяет подвига, не отменяет у России ее судьбы.

Наша война — это наша судьба. Мы не просто люди — мы народ. Наша война всегда есть и будет нашей войной, и воевать мы будем в исполнение своей судьбы, в силу причин вневременных и неизбежных, скрытых в нас пружинкой. Наша многовековая, затяжная война за собственную свободу, когда остановлены были нашествие за нашествием, порождала всякий раз череду мелких, порой самых бессмысленных войн уже за чужое национальное достоинство и свободу. Вал нашей священной освободительной войны заряжен такой силой, что спустя годы и годы она еще бродит и в крови, и в памяти народа, мобилизованного духовно и физически войной, как и жаждой справедливости, верой в свою правоту.

Почему русским вообще необходимо высшее моральное оправдание войны? Потому что веками война для русских была прежде всего непрестанной борьбой за собственную целостность. По той же причине, что Россия — страна огромных пространств, для защиты которых не было никогда средств содержать еще и наемную армию, под ружье шел и идет чуть не каждый. А было даже просто сословие, что жило войной, — казаки. И кто выбрал себе по доброй воле судьбу военного, и кто не выбирал такой судьбы — все равно поколение за поколением идут на службу и вбухиваются жизнями в нашу нескончаемую войну. Наша война похожа на круговую оборону. Но мы и ходим по ней, как по кругу. Ходим по войне, как по замкнутому кругу, а ищем мира, так что в советскую эпоху она, война, уже стала чуть ли не осознанной разновидностью борьбы за мир. Где хотели мира — там воевали.

Когда я теперь гляжу на тома истории только одной из мировых войн, то они все так же завораживают меня своими размерами, как и в детстве, но теперь не выходит из головы, что каждый из этих томов в два раза толще Библии, — и это значит, как я понимаю, что один год войны вобрал в себя столько разрушений и смертей, сколько не вместила книга судеб человеческих, проповедь мира и добра. Однако по этой истории убийств и разрушений нельзя строить жизнь. У каждой войны есть причины, есть собственный ход событий, но любая война учит людей только убивать.



Великий инквизитор на марше, или Культура как власть

Познавательные модели, чтобы стать действенными, должны быть строгими, ибо только тогда можно перейти от праведного гнева к законному протесту.

У. Эко. Отсутствующая структура

В 1871 году английским этнологом и антропологом Эдвардом Тайлором в научный обиход было введено определение понятия «культура» как комплекса «знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества». С тех пор многие пытались определить этот — как оказалось — загадочный феномен «культуры»...

И действительно, в чем, например, существо отличий культуры от цивилизации? Все знают, что в «культуру» в качестве компонентов входят религия, менталитет, наука, искусство, образование, бытовой уклад, материальное достояние и многое другое. Так что же, «культура» оказывается простой суммой компонентов? Ученые самых разных специальностей — от лингвистов до философов — стремятся обнаружить фактор целостности, обуславливающий некое духовное ядро в жизни общества, обнаружить то, что придает «культуре» системообразующий характер. Гипотезы выдвигаются самые разнообразные, потому что ключ к пониманию роли «культуры» в существовании людей исследователи ищут и в языке, и в социальной организации общества, и в господствующей в нем системе ценностей, и в художественных либо коммуникативных факторах, и в неких универсальных структурах сознания — символических, матричных, феноменологических. Более того, высказываются предположения о том, что искомая суть «культуры» может заключаться даже в механизмах социального подавления, в сублимации бессознательного, в системе социальной адаптации человека на основании усваиваемых им норм и образцов и т. д. По мнению американских культуроведов Альфреда Кребера и Клайда Клакхона, число одних только определений понятия «культура» сегодня измеряется четырехзначным числом.

Все это свидетельствует о двух вещах.

Первая. Если бы реальность, стоящая за понятием «культура», была очевидна, то его смысловое поле ученым было бы определить гораздо легче, и не было бы такого разногласия в точках зрения на природу этого не постижимого до сих пор явления.

И вторая — уже из области мотиваций при порождении текста. Все исследователи предлагают так называемые «положительные дефиниции» культуры (то есть мыслят ее как нечто реально существующее). Но есть сугубо психологическая закономерность: больше всего пишут, дискутируют о том, чего в наличии нет.

Однако, как бы то ни было, почти все исследователи сходятся в одном: «культура» — это некое идеальное единство, возникающее в результате сопряжения, координации нескольких компонентов. Их набор практически одинаков для всех авторов, пытавшихся понять существо «культуры»:

- 1) сообщество людей, разделенных на группы, и принципы их взаимоотношений;
- 2) созидательная деятельность человека, причем как в духовной сфере, так и в материальной, а также система институций, деятельность эту обеспечивающих;
- 3) материальные результаты этой деятельности и технические средства ее осуществления;
- 4) некие исторически и этнически конкретные, но при этом устойчивые координаты внутреннего мира человека;
- 5) совокупность психологических, интеллектуальных и духовных норм, предписаний, стандартов.

Возникающее в конечном итоге единство позволяет как индивиду, так и обществу порождать «нечто» вовне. Результатом этого «выхода» за пределы своей биологической и социальной природы в координаты собственно человеческого бытия становится появление некоей «ценности». Вот она-то и является смыслом и целью культуры, ее искомой сущностью. Что конкретно считать этой «ценностью» — вопрос иной: здесь исследователи друг с другом не сходятся. Загвоздка же заключается в той роли, которую «ценность» начинает выполнять в обществе, в ее функции. А она — и это всем очевидно — в историческом процессе в разных цивилизациях претерпела изменения.

Теперь о второй координате моих размышлений — о власти. Здесь все проще, потому что имеется, можно сказать, «каноническое» ее определение. В самом общем смысле «власть» — это способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность людей, их поведение. К основным формам проявления власти относятся господство, руководство, управление, организация, контроль. Господство предполагает абсолютное или относительное подчинение одних людей (социальных групп) другим, и руководство при этом связано с выполнением властно-принудительных функций избранного меньшинства по отношению к повинующемуся большинству.

Нельзя не ощутить, как неуютно, беспокойно нам становится в жестком языке политологических дефиниций, в особенности по сравнению с эмоциональными, зыбко-трепетными, обычно имеющими душеспасительный характер, беседами о «культуре»... о том, как ее оскверняют и разрушают в цинично-безнравственное время рубежа тысячелетий...

В двух очерках я попытаюсь обрисовать изменения, которые претерпела сущностная *ergo* ценностная сторона культуры, и новые роли этих изменений в современной западной цивилизации. В ее информационное поле входит сегодня и Россия. При этом нельзя не вспомнить, что традиционно феномен культуры — это искомое идеального свойства единство — человеком, обществом в целом оценивался «положительно»: в нем видели исток и залог позитивных изменений в цивилизации. Именно резонанс между реальным положением вещей и до сих пор лелеемым в современном гуманитарном знании «мифом культуры» побудили меня сконцентрировать свои размышления вокруг вопросов, сколь сложных, столь и тривиальных.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Вопросы вечные: «где мы?», «кто мы?», «куда мы идем?»

Если представителям гуманитарной — в самом широком смысле — среды сегодня задать вопрос, какая из созданных литературой XX века антиутопий точнее всего сумела спрогнозировать вектор реальных и пугающих изменений в западной цивилизации, то скорее всего мнение склонится к «Игре в бисер» Германа Гессе. Когда эта книга появилась, отечественный читатель был больше поглощен проблемами социально-политического противостояния. И никто не мог предположить, что интуиции Гессе проникали в сравнительно недалекое будущее: «мир журналистики» как реальной, «настоящей» жизни противопоставляется резервации Касталии, куда загнана созидательно активная — научно и художественно — часть гуманитариев. Обескровленная своим периферийным положением, она, вымирая, оказывается способной лишь на бесплодные игры с музейными раритетами смыслов и ценностей — все это удивительно напоминает положение дел в культуре рубежа тысячелетий.

Очень немногие из тех, кто посвятил свою жизнь производству ценностей в рамках гуманитарной традиции, готовы — интеллектуально, психологически, эмоционально — признать реальностью выморочные ландшафты антиутопии Гессе. Особенно в России, где представители интеллектуальных и творческих профессий приложили немало сил для того, чтобы войти в культурно-информационное поле, созданное мировым сообществом. Но после осуществления перестройки (как оказалось, не только политической) именно они, более чем какой-либо иной социальной слой, приняли основной удар в связи с изменением стратификации общества и роли интеллектуала в нем.

Если любого человека, даже минимально знакомого с проблемами культурной практики конца XX века, спросить: «Какое самое важное свойство привнесено в культуру Запада в конце второго тысячелетия и определяет ее отличие от прочих культурных фаз?» — то почти безошибочно можно предугадать ответ: «Тотальная релятивизация основных категорий и ценностей культуры». Что обозначается понятием «релятивизация», ставшим таким расхожим в исследованиях современной культуры?

На уровне здравого смысла с релятивностью нынче связывают прежде всего утрату ценностями западной христианской цивилизации абсолютного характера, то есть обретение ими относительного характера. В результате работа институций, нормы мышления и познания, поведения, общезнания, частных взаимоотношений, вплоть до облика человека, — все это регламентируется теперь посредством «общественного мнения», наиболее важные аспекты которого создаются средствами массовой коммуникации (в дальнейшем — СМК) и так называемыми «культурными фигурами» (еще недавно их именовали «властителями дум»). Такое мнение формируется отнюдь не на основаниях реального опыта людей или реального положения дел (политических, экономических, правовых, национальных, религиозно-конфессиональных, нравственных, других) в обществе. Эти — вполне достоверные — компоненты «объективной действительности» обретают релятивность посредством их *образов, концепций, знаков и символов, циркулирующих в культуре*, при обмене мнениями, суждениями, при формировании разнообразнейших точек зрения на события приватной и общественной жизни. Не менее важными оказываются и материально-технические средства, при помощи которых эта циркуляция осуществляется, — печатный текст, звуковая среда, изображение, реальное (на плоскости картины или киноэкрана) или электронное. *Преращение мира идей, символов, знаков, культурных фетишей в орудия власти над людьми, в средства манипуляций ими* в России свершилось практически за пять — семь лет (в развитых странах Запада этот процесс, начавшись раньше, занял двадцать — двадцать пять лет). По этой причине изменения в культурной среде нашей страны очень заметны.

Естественно, должен был появиться спектр научных дисциплин, «приспособленных» для изучения преобразований, происходящих в культуре. Отечественная наука откликнулась на запрос времени традиционно — в медленном темпе и не вполне по существу, так и не рискнув выйти за границы сугубо гуманитарного подхода, в рамках которого предмет изучения — наша искомая культура — трактуется как нечто застывшее, универсальное, а потому статичное. При таком подходе все сводится к единообразному знаменателю «ценности». Но, к сожалению, только в сказке реальность подчиняется желаниям главного героя: сегодня очевидно, что границы традиционных для гуманитарной науки воззрений на природу ценностей и духовной жизни общества не выдерживают натиска культурной практики.

Гуманитарные же дисциплины нового поколения, массированно заявившие о себе в 80-е годы — когнитология, медиология, коммуникология и информология (не путать с теоретико-информационным подходом), — нацелены на изучение динамичных, по своей природе изменяющихся объектов. Например, в неразрывной связи изучаются психические процессы, протекающие в сознании человека, и технические средства передачи информации; восприятие людьми облика популярного человека и экономические основания шоу-бизнеса; воздействие синтаксической структуры текстов, циркулирующих в периодике, на политическую ситуацию в стране и т. п. Очевидно, что новые дисциплины возникли «на стыках» — на рубежах гуманитарного знания с циклами естественных, социальных и точных наук.

В курсе поднимаемого вопроса об особенностях сдвигов, происшедших в культуре Запада последней четверти нашего столетия, очень важными оказываются разработки французского исследователя, основоположника медиологии

Режи Дебре. Медиология изучает преобразование концепций, знаков, образов, символов, имеющих хождение в культуре в качестве своего рода энергий, позволяющих управлять обществом. Эти «продукты» сознательной деятельности людей претерпевают — если угодно — «метаморфоз» в зависимости от того, какими техническими средствами они передаются от человека к человеку. Медиологические представления о процессах, протекающих в современной культуре, создают почти невообразимую картину: так, в результате синтеза психофизиологических и рациональных предпосылок возникновения мысли (суждения о чем-либо в сознании человека) появляется «нечто», уходящее вовне — в культуру — в виде «идеи». И это «нечто» благодаря техническим средствам воплощения и передачи обретает материальную форму (текста, звука или изображения), которая при повторном «пропускании» через сознание потребителей преобразуется в энергию, способные двигать цивилизацией и изменять ее социальный облик. Всё это вместе и составляет предмет медиологии. Дебре полагает, что в обществе всегда существовала связь между миром идей, знаков, символов и деятельностью человека.

Но «идеи» бывают разные — локально-научные и такие, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь каждого человека и общества в целом (к примеру, идеи христианства или марксизма). Когда последователи-практики внедряют аксиомы общезначимости в сознание миллионов людей, идеи обретают глобальный характер, а затем возникают специфические социальные структуры. Идеологу Марксу нужен был свой практик Ленин, идеологу Фрейдю нужен был свой практик Лакан. Но в результате именно идеи, а не конкретные персоны (Ленин с Лаканом) изменяют саму реальность — «переделывают мир».

Фундаментальные положения Дебре, «нормального исследователя», к сожалению, мало известны в отечественной гуманитарной среде, которая остро нуждается в комплексе новых теорий, объясняющих специфику процессов, характерных для культуры так называемой «эпохи постмодерна». В трудах «Власть интеллектуала во Франции», «Государство-искуситель», «Медиологические манифесты» и др. ученый пытается осмыслить (иначе не сказать) закономерности культурно-социальной революции, которая в последней трети XX века произошла в развитых странах Запада. Нынче она по-хозяйски топчет веси российской культуры. Ее осуществляет «медиаократия» — так Дебре называет сообщества специалистов в интеллектуальной сфере (но не интеллигенцию в традиционном для нашей страны смысле!), призванных организовывать постиндустриальное общество в единое целое при помощи новых технических и информационных средств, разработанных для более интенсивной циркуляции идей, сведений, мнений. Медиаократия, практически слившаяся с СМК и определяющая их деятельность, обладает неограниченным влиянием на умы и чувства людей, создавая собственные структуры власти, параллельные государственной. Раньше насаждение в обществе идеологических и политических стереотипов, сквозь призму которых основная масса граждан приучалась осмысливать окружающий мир и самих себя, было прерогативой государственной власти и СМК традиционно были рупором официальной идеологии. Но со второй половины XX века порождение стереотипов становится функцией коммуникативного обмена в культуре. В результате менталитет современного человека в большей степени определяется сферой культуры, нежели сферой государства. Как полагает Дебре, власть перехвачена медиаократами, и вопрос о приоритете какой-либо одной из этих «двух властей» можно считать чисто риторическим: полномочия культуры куда важнее для любого «частного лица», нежели полномочия государства. Наверное, и нам пора привыкать к мысли о том, что «четвертая власть» вовсе уже не четвертая, и для приобретения трезвого взгляда на роль, отведенную творческим и научным профессиям, необходимо понимание изменившегося существа культуры и ее новых полномочий в постиндустриальном обществе.

Сегодня ее роль: организация отношений, связей, информационного обмена, в широком смысле — коммуникации. Так что от культуры нынче защиты нет...

Для сотен тысяч носителей гуманитарного сознания во всем мире — от школьного учителя до профессора университета — ситуация складывается трагическая. Двадцать пять лет тому назад мало кто понимал, что за новыми концепциями и трактовками (забавлявшими почтенную академическую среду «экзотикой постмодерна») таких основополагающих координат для человеческого «я» и собственно культуры, как «язык», «текст», «религия», «менталитет», «миф», «традиция», «коллективная память», «ценности», «знания» и пр., скрываются глобальные **революционные процессы по «перестройке» западной цивилизации**. И если учесть сверхкраткий срок

радикальных преобразований при подобных масштабах, то становится понятным, почему *приход к власти медиократии* стал сильнейшим стрессогенным фактором в конце XX века.

Почему же академическая научная элита Запада оказалась не готовой дать отпор «новым идеям» определенной, малочисленной части своих коллег, которые в 70-е годы начали вводить в культурный обиход постулаты, внедряющие релятивистские воззрения на процессы, протекающие в обществе, и на основополагающие координаты человеческого существования? Речь идет о завоевавших репутацию «светочей мысли» постмодерна, культовых фигурах Ж. Лакана, Ж. Деррида, М. Фуко, П. де Мана, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза — Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотара, Ф. Джеймисона и многих других, имена которых, похоже, скоро будут знать у нас даже школьники. (Стоит вспомнить и о персонах калибром помельче, но зато отечественных — В. Подороге, М. Ямпольском, М. Рыклине и др., освященных авторитетом М. Бахтина.) Основных причин, на мой взгляд, три. Начну со второй.

В последней четверти столетия ученые-гуманитарии (в подавляющем большинстве), видя, что культурные процессы на глазах обретают какие-то новые свойства, тем не менее не стремились консолидироваться с правоведением и дисциплинами социального цикла. В результате не было обнаружено изменившееся *целенаправление процессов, протекающих в культуре*. Культурная практика теперь нацелена не на порождение ценностей и «вещей-артефактов» науки, искусства, образования, нравственности etc., а на интерпретацию, затем на организацию общественного сознания, разработку современных технологий, необходимых для этого, и построение структур власти нового типа. Естественно, деятельность такого рода могла начаться лишь при использовании такого веками проверенного средства, как «авторитет». Его двойственная природа может считаться одной из причин прихода к власти медиократии.

Очевидно, всем нам сегодня полезно помнить, что между двумя средствами достижения власти — легитимным правом и насилием — авторитет занимает буферную позицию. Ярче всего он проявляется именно в сфере духовной жизни общества — в культуре. Его функции в качестве средства достижения власти неочевидны. И мало кто сегодня — даже представители профессиональной научной среды, — слыша клишированные фразы типа: «В наше время это очень авторитетная теория...», или «Это очень авторитетная телепередача, потому что у нее высокий рейтинг...», или «Мнение этого ученого (тележурналиста) нынче очень авторитетно...», соотносят их с известным определением понятия «авторитет». А оно таково — *это способность лица или группы лиц (носителей авторитета) направлять, не прибегая к принуждению, поступки или мысли другого человека (людей)*. (Похоже, не зря языковая способность наших соотечественников нарекла лидеров преступных группировок именем «авторитет».) Получается, что появление фактора авторитетности в сфере культурной практики связано с ограниченностью возможностей человека рационально осознавать многие проблемные ситуации общественного и личностного плана, закономерно возникающие в опыте. Это порождается как сложностью самой реальности, так и сложностью осознания своего «я». Чем меньше мы знаем о мире и о себе, чем меньше причастны к наиновейшим событиям, тем больше мы начинаем ценить тех, кто нам эти сведения представит.

Так проясняется исток двойственности, заложенный в «авторитете» как средстве осуществления власти. Если любой человек понимает, почему та или иная институция, то или иное лицо, та или иная «идея» (теория, концепция, доктрина) для него и для общества в целом значимы, то такой — авторитетный — элемент культурной практики является *легитимным*. Например, авторитет Третьяковской галереи или Эрмитажа, университетского или консерваторского образования, идей синергетизма И. Пригожина или школы «Анналов» в исторической науке, офтальмолога С. Федорова или академика Д. Лихачева, альтиста Ю. Башмета или Мариинского театра вкупе с его художественным руководителем, дирижером В. Гергиевым — все это понятно и очевидно. В данном случае авторитет в культуре начинает обладать статусом *права*, смыкаясь с его инструментальными формами.

Но иногда мы, наблюдая со стороны, не понимаем, почему и на каких основаниях приобретают авторитет человек, институция или система воззрений на мир. А если же эти основания к тому же принципиально укрывают от общественного мнения, это указывает на то, что ценностные предпосылки культурной деятельности носят отрицательный характер. Следовательно, они нелегитимны. В данном случае перед

нами не что иное, как сугубо **силовые инструментальные действия по обретению власти**. В традициях правовых норм западной цивилизации они квалифицируются как **насилие**.

Так для цивилизации еще раз (и в который!) становится актуальным урок, преподанный человечеству гением Ф. М. Достоевского. Созданный им образ Великого инквизитора демонстрирует природу и причины расхождений между «истинным» и «ложным», между идеалом и его воплощением в практике, не говоря уже о механизмах обретения власти над сознанием людей посредством насилия. Вот они, поразительные по откровенности строки, в которых зафиксирована единая во все эпохи логика узурпации власти:

«И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что и могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы впрямь были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете».

Заложенная в «авторитете» двойственность на нивах культуры наиболее внятно раскрыла свой провокативный и разрушительный потенциал в теоретически «вроде как» понятном, но недоступном в своей эмпирике факторе «релятивности». Полагаю, именно с ней связана первая — и основная — причина, по которой гуманитарная наука растерялась перед новыми тенденциями в культурной практике.

Как только сопрягаешь способность авторитета к превращению как в правовые формы, так и в насильственное осуществление власти, становится очевидным именно социальный потенциал «идеи» релятивизма. Мне представляется, это — следующая стадия развития марксовской «идеи» отчуждения. Разумный человек — биологическое, а потому конечное существо — всегда будет утверждать **абсолютный характер своей жизни, своего опыта**. В этом ракурсе концепция тотальной релятивности современного мира (в сфере культуры, действительно оказывающейся сегодня во многом продуктом технической деятельности человека) становится предпосылкой **отчуждения самой жизни человека от ее смысла**. В мире циркуляции культурно-информационных мнимостей реальное существование людей «во плоти и во крови» — не более чем симуляция самих себя. В истории западной цивилизации продуктивное развитие общества шло по линии вытеснения фактора смерти на периферию опыта (персонального и социального), сознания, философской рефлексии, художественного творчества. Смерть стремились привести к знаменателю лишь печальной биологической закономерности. А ведь этот общеизвестный вектор западноевропейской социальной практики удостоился самых «убойных» филиппик Бодрийара в адрес нормативного самосознания культуры. В середине 80-х годов никто не предполагал, что в труде «Фатальные стратегии» он пишет «сущую правду» о политических основаниях власти медиократии. Именно в культурной практике «идея» релятивности превращается в нечто иное: она, **инверсируя целеполагание человеческой деятельности, шире — человеческого существования, становится социальной установкой на вытеснение жизни**. Но разве подобное целеполагание присуще только постмодернистскому менталитету? На этот вопрос пытаюсь ответить далее, но замечу: невозможно точнее назвать подобное целеполагание, чем это сделал М. Хайдеггер — **БЫТИЕ-К-СМЕРТИ**. Сегодня, как оказалось, для воплощения в практику «идеи» вытеснения жизни вовсе не нужно угрожать человечеству физическим уничтожением. Куда продуктивнее становятся фиктивность, симуляционность, которые доминируют нынче в мире культуры.

Они создаются новыми сферами деятельности, выполняющими сугубо социальные роли. В самом широком смысле такие роли обуславливаются профессиональной компетенцией маке'ров — «делателей». Это уже хорошо известные представители **СМК** — «делателей» коллективного сознания; **моды** — «делателей» образа жизни; **рекламы** — «делателей» потребностей; **шоу-бизнеса** — «делателей» ценностей; **новейших компьютерных технологий** — «делателей» симуляционной виртуальной реальности. Кроме них, появилась быстро набирающая обороты сфера, которую можно назвать **«гуманопластикой»** — «делателей» человека. Специалисты, представляющие гуманопластику, занимаются всесторонним преобразованием человеческого «я». Причем речь идет не о внутренних изменениях, закономерно сопровождающих развитие личности. На уровне «делания» индиви-

дов в центре внимания оказывается создание-производство такого искусственного облика человека, который наиболее целесообразен для представительства в той или иной культурно-коммуникативной ситуации. Стилисты и визажисты занимаются внешностью, однако не в эстетических целях, а в социальных. Имиджмейкеры создают «напоказ» нужный (другой) тип личности и его психологические особенности. Спичрайтеры пишут речи, а тот, кто их «вроде как» заказал, потом прочтет, но уже контролировать смысл своего выступления не сможет, ибо не ориентируется в технологиях речевого воздействия, которыми владеют специалисты в этой сфере. Дизайнеры изменяют восприятие зрителем пространственной среды, и... вопрос о соответствии самому себе человека, которого видят на экране миллионы людей, становится неактуальным. Довольно широкий разброс гумано-пластических технологий существует и для более грубого — группового — перестроения, начиная с нейролингвистического программирования (НЛП) до прокатившейся по всем крупным городам России и СНГ волны школ «Life Spring» (кстати, заметно пополнивших число пациентов в нейрофизиологических и психиатрических стационарах: дело симуляции личности, похоже, простое и опасное).

Возглавляет же эти новые социальные структуры «среднего звена» элитная группа *медиа-технологов*, деятельность которой сложно описать в традиционных представлениях о «работе» и «профессии» вообще. Более того, есть основания полагать, что культурная элита в медиократическом обществе вообще не выстраивается по привычному нам корпоративному принципу, объединяющему реальных персон на основе согласованных общих целей, взглядов, идей, убеждений. Речь может идти лишь о причастности неких «избранных» к циркуляции наиболее важных потоков информации разного рода — экономической, политической, художественной или научной и при этом специализированной для разных слоев общества. «Избранность» здесь — это сама *способность и возможность вносить изменения в культурные коды, уже наличествующие к данному моменту в информационно-коммуникативных сетях*. По этой причине медиа-технологов нельзя назвать «вершиной» власти: в мире симуляций иная структура пространства, в том числе и социального. С одной стороны, медиа-технологии связаны с теми, кто изучает культурные коды, — с миром *гуманитарной науки*. С другой — с миром *современных технологий для передачи-трансляции-циркуляции* самого разного рода сообщений, «упакованных» в недоступные пониманию большинства потребителей информации «оболочки» культурных кодов. Здесь значимым становится все ускоряющееся обновление технических средств: оно исключает привлечение людей к раздражителям. Ведь адаптация позволит в конце концов обнаружить основной инструмент управления — искомые коды. И, с третьей стороны, медиа-технологии связаны с *транснациональными финансовыми корпорациями*, оплачивающими подобное международное культурное «правительство».

Власть медиократов связана с определенными психологическими состояниями, возникающими у любого человека, когда он увлечен каким-либо занятием и все его внимание поглощено им. Не будет преувеличением сказать, что любые сферы жизни современного человека, связанные с *максимальной концентрацией внимания, трактуются медиа-технологами как поле своей деятельности*. Только в приватной и интимной сферах человек (и то относительно) закрыт от внешнего воздействия, в нашем случае — от воздействия культуры. Во всех же остальных ситуациях каждый его поступок, намерение или состояние могут быть трактованы с точки зрения наиболее ходовых метаязыков культуры (социального, архетипического, сексуального, мультикультуралистского, экономического, феминистского, психоаналитического и др.). Поэтому медиа-мейкерами разработано множество форм, приемов, средств, в которых граждане всех развитых стран осуществляют свое вхождение в коммуникативные сети. Фрагментом такой сети, например, может быть *связь с определенной группой людей* (в бытовом обиходе подобные образования зафиксированы новым словом «тусовка»). Это могут быть и ежедневные походы в определенную кофейню, и участие в телеиграх или аферах «МММ», принадлежность к редакции определенного журнала или команде «фанов», причастность к политической партии или к группе любителей аквариумных рыбок и т. п. Главное — наличие заинтересованности в совместном времяпрепровождении, существо которого заключается в самооценности связей по «внешнему» — предметному — стимулу и по «внутреннему» — достижению самоактуализации в коммуникативном обмене.

Неужели в обществе до культурно-информационной революции не было коллективных и персональных форм деятельности, активизировавших внимание? Разумеется, были, и замечательные: доставляющая удовольствие работа, научный труд, творчество, разговор «по душам» с глазу на глаз и многое другое. Главным отличием традиционных ситуаций, активизирующих внимание, является *неразрывная связь с созданием*, продуцированием «вещи» или взаимопонимания. Внимание же, эксплуатируемое медиа-мейкерами, иное по своему целеполаганию: возникая только *в ситуации досуга, оно в принципе не связано с продуктивной деятельностью*, но при этом интенсивно поглощает время человеческой жизни. Я полагаю, нет нужды объяснять различия между осознанным (рациональным или волевым) и автоматическим (потребностным) использованием компьютеров, телевизоров и прочих атрибутов современной культуры: дело не в технике, а в человеке.

Как можно заметить, сегодня все люди без исключения обречены жить в плотной сети культурных коммуникаций. Но шанс войти в элиту медиа-технологов ничтожен: для этого нужно владеть основными культурными кодами, чтобы получить доступ к сознанию других людей (а это требует солидной образованности); для этого нужно понимать, как действуют новейшие технологии и каковы их ресурсы; для этого нужно иметь доступ (профессиональный или на основании личных связей) к крупным финансовым структурам. И если соответствие этим трем основным критериям «элитарности» достигнуто, то остается последний барьер — этический: нужно обладать определенными личностными чертами, чтобы стремиться к власти над сознанием людей.

Даже по этому небольшому перечню ведущих направлений в политике симуляций нельзя не заметить, насколько точно «схвачены» наиболее значимые стороны человеческого существования. Отчуждение возникает именно на основании сопоставления реальной, подлинной жизни с ее фикцией в зеркале культуры. Но если все новейшие социокультурные институты навязчиво наделяют отражение большей значимостью, большей ценностью, а те, кто над этим работает, получают поощрения вполне материального свойства, то и массовое сознание, и индивидуальное начинают в конце концов считать присутствие человека в этом мире относительным. Таким образом, социальная стратегия вытеснения жизни неразрывно связана с релятивностью — идейной доминантой современной культуры. Разумеется, культура рубежа тысячелетия неоднородна. В самом общем приближении она делится на две взаимопроницаемые области: одна — это территория власти медиократии, а другая, развивающаяся в русле традиционных ценностей западной цивилизации, — это — увы! — не что иное в современном мире, как территория Касталии. И снова поражаешься прозорливости интуиций Достоевского: они касались не только «конечных», а потому «проклятых» вопросов человеческого существования, но и проецировали их на сцену социальных катаклизмов, независимо от того, как на ней сменялись исторические декорации:

«...он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми».

ОЧЕРК ВТОРОЙ

Вопросы российские: «что делать?» и «кто виноват?»

Так общественная практика последней трети XX века породила оппозицию «реальность—культура». Подобное до недавнего времени не могло присниться «нормальному» гуманитарии даже в самом страшном сне. Конечно, дело прежде всего в пресловутой релятивности, закономерно девальвирующей ценностный потенциал, носителем которого традиционно полагалась культура.

Но, как очевидно, не мир релятивен, а наши представления о нем. К сожалению, именно из них складывается нынче тело современной культуры, едва ли не «опредмечивающей» постулаты Великого инквизитора об универсальных на все времена средствах осуществления власти. Поэтому сегодня, в наше прагматичное время, нужны «авторитеты», постоянно прокручивающие шлягером «идею» релятивности. Нужны поражающие (в прямом смысле слова) восприятие «чудеса» разного свойства — на экранах телевизоров и мониторах компьютеров, на подмостках сцены и подиумах, в научных текстах и бульварных еженедельниках. Нужна, конечно же, и «тайна». Но она теперь — вовсе не мисти-

ческого или метафизического свойства, а откровенно утилитарная, запрещающая разумным и любопытным изучать инструмент, на клавишах которого медиократия раззвывает пьесу насилия. И есть кому слушать — на то и массовое сознание, всегда готовое подчиниться сильнейшему. На постсоветских пространствах уже созрели в культурной практике претенденты на эту роль — невесть откуда взявшиеся «элиты». Их самозванство, беспочвенность притязаний на крайне тяжкое, опасное ответственностью бремя лидерства в культуре очевидно любому, заглянувшему в содержимое (естественно, как во всяком культурном прецеденте ценностно и смыслово акцентированное) что «ПТЮЧ»а с «ОМ»ом, что в публикации благополучно почившего московского «ПУШКИН»а и ныне здравствующего питерского «ДАНТЕС»а. Различия в жанрах изданий для новых элит, право, не принципиальны: ценности-то общие. Но когда мы начинаем понимать, что перед нами вполне умопостигаемая стратегия медиа-технологов, которая осуществляется хорошо организованным и хорошо оплачиваемым отрядом представителей нижнего социального яруса СМК, то все начинает видеться в ином свете.

Здесь оказывается затронутой одна из основополагающих координат западной христианской цивилизации — *право свободы выбора*. Если оно есть — значит, власть ориентируется на нормы и стереотипы свободного демократического общества. Если же право выбора отсутствует — а в случае «тайны» оно демонстративно попирается, — то перед нами режим тоталитарного типа. Но, чтобы выбрать, нужно знать, что ты выбираешь. С детского возраста потребителей информации необходимо обучать самоконтролю при вхождении в культурные коммуникации. И только тогда каждый человек сможет — потому что сумеет — осознанно выбирать для себя те продукты культурного обмена, в которых он нуждается.

О подобной ситуации сегодня можно только мечтать.

Ничтожно мало известно науке о том, что происходит с внутренним миром человека, когда он читает книгу, слушает музыку, глядит на экран телевизора. Сегодня особенно трагичным видится отставание от запросов времени комплекса психологических и социологических дисциплин, в широком смысле — знания о человеке, а не о «вещах», его окружающих. Изучать же особенности и закономерности массового потребления продуктов культуры — совсем не то, что интерпретировать произведение искусства или создавать очередную схему культурных циклов.

Именно по этой причине вопрос разработанного, проверенного практикой узкой специализации научного инструментария, необходимого для анализа, играет первостепенное значение, хотя время и упущено. Ведь только профессиональный историк может обнаружить фактологические подстановки в трудах М. Фуко или Ф. Ариеса; только литературовед сумеет указать на деструктивные изменения, происходящие с такими основополагающими категориями для этой дисциплины, как «текст», «автор», «литература», др. в работах Р. Барта или Ж. Деррида; только лингвист способен к анализу семантических особенностей, возникающих в том типе языка, которым пользуются представители деконструктивистской школы; только психиатр-клинист, объединив свои усилия с нейролингвистом, может аргументированно доказать несостоятельность главной идеи Ж. Лакана — трактовки бессознательного как языка; и т. д.

Но от выполнения подобной — сугубо экспертной — роли гуманитарная наука четверть столетия тому отмахнулась, и необходимые для решения этой задачи междисциплинарные синтезы не возникли. Это третья причина, позволившая медиократии перехватить власть у государства. Похоже, научное сообщество не могло даже предположить, что внутри академической среды под эгидой «нового стиля философской рефлексии» возникает очень утилитарное по своим задачам движение: используя *авторитет науки*, высоко ценимой в западной цивилизации, дискредитировать в коллективном сознании приоритеты рациональности, обеспечивающие ее существование, развитие и роль в жизни людей. При этом под ударом оказалось отнюдь не все научное знание, а лишь те исследовательские области, которые изучают человека (в первую очередь его мыслительную и творческую способность), общество, продукты их духовной деятельности и ценностные ориентации. Разрушение остальных наук (экономических, естественных, технических и точных) не входило в задачи глобального проекта постсовременной эпохи — «критики рациональности». Но традиционная для западной цивилизации апологетика индивидуализма в сочетании с презумпцией свободы научной мысли наложила и нравственный, и корпоративный запрет на рассмотрение «идей» своих коллег сквозь призму социального целеполагания новых «научных концепций». Отечественные же гуманитарии, существовавшие долгие годы в условиях идеологической

цензуры, установленной тоталитарным режимом, в принципе воспитаны на неприязни к любым координатам научной мысли, допускающим резонансы политологического свойства.

На этом фоне выглядит титаническим по героизму поступок Дж. Р. Серля, открывшего еще в конце 70-х годов публичную дискуссию с Ж. Деррида на страницах философского журнала «*Gliph*», издаваемого Джонс Хопкинс университетом, которая в октябре 1983 года завершилась выходом сенсационной статьи «Мир вверх ногами» в «Нью-Йорк ревю оф букс», посвященной критике основной деконструктивистской позиции по отношению к знанию в широком смысле. Ну и что?.. Как могли убедиться наши соотечественники во время приездов в Россию высокого гостя, Деррида, ставший в академической научной среде притчей во языцех из-за, мягко говоря, пренебрежительной манеры вести полемику со своими оппонентами, в жизни — человек светский, деликатный, не без куртуазности. Но читать материалы этой дискуссии — тяжелейшее испытание для нервной системы. Вождь деконструктивизма, не говоря уже о тоне, принципиально не желает считаться с серьезными, вполне обоснованными философскими и лингвистическими традициями, вопросами Серля, потенциально готового, как и вся наука Запада, принять любую новую философскую мысль — была бы такова, то есть был бы смысл в ней. Смысла-то было с избытком, но только не философского. И лишь теперь становится понятным, почему Деррида осмелился попить принятые в западной науке нормы полемики в столь откровенно циничной форме. При чем тут «высокая наука»? Кто такой в сравнении с идеологическим столпом новой власти медиократов какой-то ученый Серль? Пусть даже он один из крупнейших лингвистов современности.

На самом деле гневное отрицание «наделанного» деконструктивистами в гуманитарном знании, равно как и стремление сохранить олимпийское спокойствие, не замечая происходящего, — позиции непродуктивные.

В подобной ситуации, как мне кажется, было бы неплохо позаимствовать кое-что из опыта коллег-естественников. Не помешала бы узкоспециализированная экспертная работа с «новыми идеями» (начальная стадия реакции научных сообществ), намерение адаптировать новации с последующим введением их в обиход гуманитарного знания. Если же экспертиза установила факт несовместимости, то почему не отнестись к проблеме так, как это принято, например, в медицине, когда возникает опасность отторжения пересаживаемых органов? Ведь, прежде чем заняться трансплантацией, тщательнейшим образом изучается совместимость тканей. С давних пор одной из авторитетнейших областей физиологии являются исследования т. н. «тканевого барьера» — системы физиологических механизмов, обуславливающих жизнеспособность, индивидуальные особенности и суверенность человеческого организма, а также его защиту от вредных воздействий. Вначале реальность отторжения «чужих» тканей, приводившая к гибели тысяч и тысяч людей, а затем и научная концепция «тканевого барьера» доказали: у каждого человека есть «своя» избирательность по отношению к трансплантируемым от другого человека или животного тканям. Причиной отторжения — причем закономерного отторжения — является существование антигенных различий между человеком и донором. (Sic! — нервные клетки являются одним из четырех различаемых физиологией типов тканей организма.)

Так неужели персональное сознание не входит в органическое единство, именуемое «человек»? И неужели нет определенного *сходства в «поведении» тела и сознания, сталкивающихся с внедрением вовнутрь генетически чужеродной информации?* Например, психологии общения давно известен механизм персональных «цензор-процессов», выполняющий при контакте сознания с новым культурным материалом («чужим» мнением, суждением и т. п.) роль, сходную с «тканевым барьером». Если же возникают мутации в массовом масштабе (в коллективном сознании культуры), значит, сквозь персональные цензор-процессы миллионов людей пробилась чужеродная по ценностному потенциалу информация.

Сегодня каждый, даже поверхностно знакомый с историей гуманитарной мысли в XX веке, знает, какое место уделяется рефлексии о «другом», о «чужом», об «ином», о дроблении человеческого «я», принятом в психоаналитической традиции (которое почему-то расходится с научными психологическими представлениями о множественности «я-ролей»), об «аутсайте», о «нигде» и т. п. Поскольку «новые идеи» продуцируются людьми, живущими рядом с нами, то резонен вопрос: что это за мир, почему в нем так необычно являют себя сознание человека, его мысль, его личность?

Критика постмодернистской научной и художественной деятельности яростно обвиняла причастных к ней в чем угодно: в абсурде, в циничном разрушении ценностей западной цивилизации (рациональности, искусства, нравственных устоев), в апологетике Зла и Лжи и т. д. Но ни разу, насколько мне известно, не было публично высказано допущение, что вся эта когорта крупных мыслителей современности пытается, *исходя из присущих авторам познавательных возможностей и способностей, исходя из персонального опыта — каждого конкретно — очертить в своих трудах координаты той реальности, в которой они — сами — живут*. И всё введенное в культурный обмен носителями подобного сознания (от философской или социальной концепции до журналистской статейки) — *это есть ПРАВДА о реальности, сформированной сознанием, О СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, которая вытеснила из опыта внеположный сознанию мир*. (Истинностные суждения в подобной ситуации, разумеется, невозможны, и потому так популярен сегодня тезис о релятивности истины.)

Как только начинаешь входить в эту («чужую») систему представлений о мире, сам будучи ей «чужим», возникает ощущение, будто ты снова с головы становишься на ноги, а под ногами — нормальная, привычная земля рационального познания. Исчезает релятивность, возникающая из-за «наложения» в культурном обмене двух, по-разному ориентированных, познавательных интенций. Становится отчетливой альтернативность ценностей.

«ТАМ» они тоже никуда не деваются — просто «значимое» и «ценное» диаметрально противоположны таким же установкам «здесь». В сравнении со сложившимися представлениями о важнейших факторах существования «ТАМ» практически сnivelированы временные координаты (отсюда общеизвестный «конец истории», абсурдность которого до сих пор нельзя привести к знаменателю умпостигаемости), но зато более дифференцированно воспринимаются пространственные аспекты (отсюда террасообразные ландшафты «нарративов» в теоретических конструкциях Ж.-Ф. Лиотара).

«ТАМ», похоже, познавательная деятельность в принципе подчиняется закономерностям микропроцессов — а эту территорию исследований гуманитарная наука только-только открыла для себя (примером может служить появление концепции «микро-истории»), хотя самые авторитетные области для культуры (филология, искусствоведение) еще не отреагировали на ее появление.

«ТАМ» фактор времени девальвирован, и для человеческого сознания охват разумом такого мегалита, как целостность произведения, по природе невозможен. Отсюда предпосылки (причем вполне рациональные) теории деконструкции Ж. Деррида, как способа расчленения реальности (текста, артефакта, систем философствования, др. — любых внеположных сознанию целостностей) для того, чтобы сделать ее масштабы умпостигаемыми.

«ТАМ» основополагающим для познания становится давно изжитый наукой в зрелой цивилизации архаический принцип «единства». Его результаты всегда обладают мифотворческой направленностью. Это объясняет пресловутую «художественность» текстов, которые «здесь» претендуют на статус научных, но при этом не являются и художественной прозой. И наоборот: художественная продукция индивидов с подобным состоянием сознания ориентирована на жесткую утилитарную рассудочность, исключаящую образность и эмоциональность (концептуализм).

«ТАМ» отсутствует граница между произведением искусства и подлинностью вещи (вектор реди-мейд практик); наивысшей художественностью обладает сам человек и его действия (вектор акционизма и перформансов), а не им созданное произведение; уродливое закономерно считается прекрасным, а созданием полагается разрушение (вектор деструкций выразительных средств в каждом из видов искусства); новаторством считается повторение и тиражирование, а «своим» вкладом в творческую практику является присвоение «чужого» (вектор цитаций, римейков, ремиксов); наиболее же полным воплощением-наличием произведения искусства оказывается его абсолютное отсутствие.

Для тех, чьи познавательные действия всецело принадлежат «здесь», где необходима дистанция познающего ratio от познаваемого предмета, невозможно помыслить даже, что:

«ТАМ» предметом познания оказывается наш разум (трактуемый как «вещь») и результаты его деятельности. Орудием же познания становится вполне материальное наше тело и его опыт. (Становится понятным, почему возведена в интеллектуальный культ пресловутая «телесность», и это отнюдь не давно известный науке

первичный этап познания — чувственно-эмпирический.) Всё, сотворенное за тысячелетия в западной цивилизации в сферах науки и искусства, для тех, кто обитает «ТАМ», и является настоящей «объективной действительностью». Но в процессах познания с ней надо «телесно» слиться, а не дистанцироваться, как это происходит «здесь» в любой научной отрасли и как это осмыслено теорией познания и эпистемологией. Вот истоки появления в трудах, претендующих на ранг философских, всех этих невозможных (в любых смыслах — от научного до этического!) генитальных проекций.

В качестве важнейшего условия существования «ТАМ» принципиально необходимо безумие, прежде всего вялотекущая форма шизофрении («естественное» состояние психики, так сказать). Сложному и тщательному обоснованию подобного, немислимого для нормативного познания «контекста научной деятельности» «ТАМ» посвятили свою жизнь Ж. Делез и Ф. Гваттари. Способность к раздвоению личности обеспечивает жизнеспособность носителей подобного сознания: ведь биологическая и социальная сторона человеческого «я» — она-то по-прежнему «здесь». Нужно читать в университетах лекции, зарабатывать на хлеб насущный, активно вести общественную жизнь, участвуя в деятельности традиционных институций. И т. д.

Как принято говорить: все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь за этой ситуацией, которую я, чтобы окончательно не впасть в трагизм, постаралась свести едва ли не к гротеску, стоит утрата смысла реального существования. Именно ее прозрел Ф. М. Достоевский, когда писал:

«Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы».

Ничего не постулируя, обращаюсь только к здравомыслию: неужели не продуктивнее для гуманитарной науки признать наличие **РЕАЛЬНОСТЕЙ ДВУХ ТИПОВ, а также им соответствующих двух состояний сознания, мышления и двух концепций личности**, нежели обречь себя в результате начавшихся культурных процессов на вымирание в Касталии? Ведь только после этого можно будет начинать фронтальные исследования «невидимой» рациональностью обратной стороны гуманитарной мысли. И неужели только «коммерческая продукция» для презируемого, но используемого культурной элитой массового сознания оказалась способной диагностировать болевые точки западного мира? В бесчисленных фильмах-боевиках, в бестселлерах «фэнтези» муссируются отнюдь не тривиальные темы-клише: нарастание агрессивности в мире в связи с его варваризацией, противостояние человечеству техники, вышедшей из-под контроля; нашествия «чужого» в самых разнообразных модификациях и наконец важнейший симптом — «сон разума, порождающий чудовищ», — фантомы, которые прячет обратная (недоступная контролю со стороны рациональности) сторона нашего сознания. А ведь путь от первобытности к цивилизации закономерно связан с вытеснением всего, что враждебно жизни, на периферию и сознания, и социальной практики.

Вполне возможно, что культурно-семантический троп «чужого» (со всеми контаминациями философской мысли) возник в глубоком прошлом, когда человечество обнаружило в своей среде наличие людей, предлагающих взамен принципа «вытеснения смерти» установку на «вытеснение жизни». Человеку — биологическому существу — она по очевидным причинам «чужая», в особенности если не понятно, какими факторами подобное целеполагание вызвано. Как показывает опыт цивилизации, подавляющее большинство людей его отвергало, хотя в обществе порой возникали социальные катастрофы, порождаемые «смущением умов». (Конфронтация альтернативных жизненных установок и ее механика блистательно описаны Умберто Эко в «Имени Розы», а также в специальных исследованиях, посвященных психологии сектантских движений.)

На своих предшественников постмодернистские авторы указали сами, окружив эти персоны и плоды их философской или литературной деятельности нежной, можно сказать, сыновней любовью и почтительностью. По этой причине в культуре XX века произошла реабилитация не только Ф. Ницше или маркиза де Сада, но и «громких» фигур уголовного и оккультистского мира, которые «здесь» удостоивались исключительно обструкции, а то и наказания. Ясно, что высокая оценка деятелей такого рода связана с желанием «укорениться» в истории западной цивилизации. В соответствии с этим и у традиционной науки появ-

ляется возможность ввести исторический план при исследовании проблемы «второй реальности». Поскольку этот ракурс сложнейший и требует специального разговора, укажу лишь на следующее: сохранившиеся сегодня письменные источники неевропейского происхождения, которые содержат описание культурно-корпоративной деятельности людей, воспитывавших в себе установку на «вытеснение жизни», появились задолго до расцвета Античности. Здесь возникают вопросы сохранения этой традиции в миграциях и приобщения к ней в позднейшие времена. Однако анализ биографий некоторых исторических персон прошлого показывает: возможны «органические» преобразования личности и ее сознания без воздействия «ученой» традиции. Подчеркну: сказанное — не более чем предположение.

В истории Западной Европы подобное «брожение в умах» отдельных персон, зафиксированное в источниках, практически всегда выносило на поверхность потребность (удивительно устойчивую) навязать другим это «обесценивание жизни». Когда же дрожжи «новых идей» приводили к массовому «смущению умов», то возникали глобальные идеологические системы. Попытки их воплощения в практику носили характер радикальных революционных сдвигов (продуктивное же развитие общества носит поступательно-эволюционный характер). В каждую эпоху появление «сдвигов» мотивировалось различными факторами, в зависимости от которых «идеи» (внедренные в социальную практику) приобретали характер религиозно-конфессионального (Реформация), государственно-политического (Французская революция), политико-экономического (большевистская революция в России), информационно-экономического (транснациональная культурная революция последней трети XX в.) переворотов. Этой традиции нет пока названия, но уже очевидна необходимость уточняющих оговорок типа «сегодня именуемой постмодернистской», потому что стратегия «вытеснения жизни» — отнюдь не изобретение нашего времени. Крайне важно подчеркнуть и отсутствие какой-либо национальной специфичности в появлении носителей подобного сознания. Как шаман племени, живущего на уровне первобытно-общинного строя, «духовные» способности которого К. Леви-Стросс назвал своего рода психическим недугом, так и цивилизованный модный писатель или философ, апологетизирующие смерть в качестве смысла существования, — феномены, скорее, антропологического и психологического плана, но не этнического или национального. Не так важны и факторы происхождения: полагаю, что реальный социальный статус носителя установки на вытеснение жизни, среда, из которой он вышел, в сравнении с факторами психологической уязвимости или маргинального положения в сфере духовной жизни общества, уходят на второй план.

Еще одна сторона существования в обществе подобных людей связана с самим процессом преобразований личности, открытие для себя «нового мира» — внутренней реальности. Коренные изменения в сознании человека могут протекать по-разному. Причинами изменений, по всей вероятности, являются: перенесенная психическая травма; осознанное вхождение в корпорацию (сообщество единомышленников), где неопита «приобщают», «инициируют»; медленное и незаметное преобразование личности и подчинение сознания циркулирующим в культуре концепциям, мнениям, суждениям, идеям. (Именно этот тип управления сознанием народ метко назвал «промывкой мозгов».) В случае «травмы» изменения практически не осознаются человеком (осознание происшедших изменений фиксируется в фразах типа: «Вдруг я так начал видеть», «Я теперь это так понимаю», «Я это открыл для себя»). Во втором же случае, обычно под воздействием точно сформированного культурной средой интереса и разного рода корыстных мотивов, человек сам — добровольно приобщается к «новым идеям» (курс лекций, школы, семинары, лаборатории, редакции журналов, секты), не предполагая, правда, что его ждет. «Промывка мозгов», третья форма преобразования внутреннего мира потребителя культурной информации, предназначена для массовой аудитории, которая в принципе ничего и не должна понимать — для этого тоже существует разработанная система коммуникативных механизмов.

Следующий — и утилитарно важный — аспект осуществления власти идей связан, так сказать, с технической стороной. Здесь нет никаких чудес, за исключением, быть может, появившихся в последнее время новых компьютерных технологий. Они вполне умопостигаемы для тех, кто хочет понять их «механику» (как раз с машинками проблем нет). Но кто из авторитетнейших ученых может с уверенностью заявить, что он постиг, например, сущность мифа? Поэтому инструментами для осуществления власти в коммуникациях становятся проверенные историей цивилизации, а пото-

му «незаметные», средства: миф, язык, текст и ресурсы, которыми они обладают, позднее — изображение. В XX веке к ним добавились звуковые и информационные средства. Сложность лишь в том, что в «орудия власти» они превращаются, лишь вступая во взаимодействие с теми или иными сторонами сознания потребителей. Потому зафиксировать «эмпирику» подобных взаимодействий возможно, только не упуская из вида, во-первых, инверсированный характер «второй реальности» по отношению к той, в которой мы существуем; во-вторых, целесообразно соотносить инструментарий власти с уже перечисленными выше социальными структурами нового типа (СМК, шоу-бизнесом, модой, гуманопластикой и др.), поскольку в каждой из них существует своя «прагматика».

И наконец, последний аспект — крайне неприятный. В чем здесь дело и почему завершение разговора предполагает определенную болезненность?

Я полагаю, что ни у кого не возникли сомнения в том, что содержательная сторона этого текста, равно как и все его коммуникативные аспекты — прагматика, стилистика, риторика, др. — предназначаются читателям *«ОТСЮДА»*. Бегло обрисованная ситуация подталкивает к выводу, что интенсивная циркуляция сообщений, мнений, суждений, образов, концепций и т. д., а также отношения, возникающие между ними и потребителями информации (то, что Р. Дебре и полагает существом современной культуры), — *это не знания о мире, а представления о нем*. Они могут быть не только приближительными или ошибочными, но и заведомо ложными. Не зря в западной цивилизации так высоко ценилось рациональное познание: в понимании мира и себя человечество всегда обретало ключи к свободе в жизни личной и социальной. А посредством принявшей катастрофический размах политики симуляций человечество лишается такой возможности, само не ведая о том. Но если ставить традиционно российский вопрос «кто виноват?» — то негодующе указать перстом на очередного «внешнего врага» нельзя. Нет его!

Величайшим и бесценным подарком классиков постмодернистской мысли гуманитарной науке следует считать наивно-откровенное «обнародование» механизмов обретения власти над умами. Это — *провокация, соблазн, извращение* (сущности, мысли, намерения, поступка), *приключение* и лишь затем *насилие*. Личный вклад Ж. Бодрийара в данный интеллектуальный подвиг сложно переоценить. Перед нами не что иное, как очень емко, стереоскопически для всего гуманитарного знания сформулированные *предпосылки мотивов самоутверждения человека за счет других людей с последующим обретением власти над ними*. Исследования мотивации человеческой деятельности — достаточно специализированная область психологии личности, сугубо теоретические сложности которой вызваны неразрывной связью мотива и потребности. Чтобы человек начал действовать в том или ином направлении, должен появиться внутренний мотив, вызванный внешней потребностью. Каждому из нас очень непросто разобраться в запутанном клубке самых разнообразных побуждений, желаний, намерений до тех пор, пока нам не покажут наиболее привлекательную и потому вожаделенную «морковку», за которой мы можем бежать всю жизнь и никогда не схватить, — то есть цель.

Все, естественно, хотя, как в известной пословице «быть богатыми, здоровыми и счастливыми», но как этого достичь — единственно верного рецепта не было, нет и никогда не будет. Чтобы бег человечества совершался в нужном направлении и за вполне определенной «морковкой», следует всячески убедить стартующих: ученый лишь тогда станет «современно» мыслить, когда примет навязываемую ему культурой систему взглядов; художник лишь тогда обретет славу, когда займется поисками «мусора жизни» для у всех одинаковых «реди-мейдов»; наше общество лишь тогда откроет новые горизонты свободы, когда все начнут всерьез задумываться о легализации наркотиков; ни один поэт, озабоченный спросом на свои творения, теперь не сумеет обойтись без грубой брани или утробных рыканий; барышни в очередной раз должны поменять имидж, и т. п. Все это существовало и раньше, только формы донесения и «морковки» были иными и, пожалуй, более наглядными. *Провокация, соблазн, совращение, приключение и насилие — и являются «тайными» приемами убеждения ergo механизмами власти в культуре, действуя исключительно на уровне внутренних психологических факторов*. Потому каждый из нас (ибо нет человека, существующего вне коммуникативного обмена) виноват в том, что позволил себе чего-то желать по подсказке со стороны, не довольствуясь приобретенным в естественном и трудном развитии своей судьбы. В этот момент он становится, сам того не осознавая, ничтожнейшим из винтиков во всемогущей машине власти культуры — власти

«идей». И винить в нынешнем состоянии общества-культуры некого, потому что во все века продавцы рекламировали свой товар. Но верить им было вовсе не обязательно.

Итоговые вопросы — сложные и болезненные — не будут даже поставлены. Они касаются главного для всех гуманитариев сегодня: как жить дальше? Очевидно: складывается режим тоталитарного типа. Массовое сознание винить за то, что оно «массовое» и не понимает, как воздействуют на него слова и изображения, нельзя. Только представители гуманитарной среды, в силу своих богатейших, накопленных традицией профессиональных умений и знаний, способны не только осмыслить происходящее, но и вести экспертно-исследовательскую работу — больше некому. И каждый столкнется с ситуацией выбора, который, по вполне понятным причинам, сделать непросто. Во-первых, уже дискредитированы ценности, традиционно наделявшие гуманитарную сферу «правом мнения», подкреплявшимся авторитетом знаний о человеке и обществе. Теперь же, когда «мнение большинства» формируется СМК сообразно стратегии вытеснения жизни, то выбравший позицию и ценности «**ЗДЕСЬ**» отнюдь не будет окружен ореолом благородного героя, не говоря уже об элементарной материальной нужде. Любая власть, а в особенности тоталитарная, жестоко карает тех, кто ей сопротивляется, — они будут скомпрометированы в общественном мнении.

Как? (Это во-вторых.) Будет использован фактор релятивности, которая сейчас во многом определяет прагматику языка. В ситуации господства в культурном обмене представлений о «вещах», процессах и действиях, а не знаний о них, изменяется семантический уровень (словами Дж. Р. Серля, из языка «вымываются референты»). А сфера дополнительных смыслов очень легко инверсируется. Поэтому без всяких доказательств, на уровне тривиальнейших, набивших оскомину пропагандистских клише, любой, кто рискнет высказать свое компетентное и аргументированное мнение о процессах, характерных для современной культуры, будет тут же обвинен не только в щадящих «консерватизме» и «неактуальности», но и в «борьбе со свободомыслием» (а то и вовсе — в «тоталитаризме»). К сожалению, подобное стало возможно только в силу прихода культуры к власти. Ведь «идеи», будучи по своей природе релятивными, еще со времен Платона противостояли смыслу. Впрочем, и реальная жизнь тоже.

Что можно еще сказать по этому поводу?

Ничего.

Потому что остальное уже сказано Ф. М. Достоевским:

«Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. ...Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить».



Кирилл КОБРИН

Письма в Кейптаун о русской поэзии

В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту... Бог мой, кто бы мог подумать. Уж явно не те развеселые мэнээсы в грубой вязки свитерах, помававшие шкиперскими бородками в такт этой песенке... Кто вообще мог помыслить о некоем Кейптауне не как о «некоем», а как о конкретном, настоящем, зримо осязаемом, с белым, черным и индийским кварталами, с колониальной архитектурой под охраной корбюзьянских коробок, с настоящим портом — шумным, грязным, полным мышцатой матросни, будто сошедшей со страниц комиксов Тома-Финляндца? Что само слово «Кейптаун» имеет отношение не к строчке, а к точке, географической точке, расположившейся чуть выше 34-го градуса долготы, в бухте «Столовая», километрах в сорока от легендарного мыса Доброй Надежды? И что заплывет сюда не романтическая «Джанетта» с коварной пробоиной в деревянном боку, а остатки экипажа потонувшего сверхлайнера под названием «СССР»? На берег был отпущен экипаж...

Среди нас, отпущенных последним генсеком на все четыре стороны, был и мой друг Петя Кириллов. Мы — последние везунчики Советского Союза, 1964 г. р. Последние, кого не брали в армию из институтов и университетов, кто получил заветный (и уже почти бесполезный) диплом в восемьдесят шестом; последнее поколение, выросшее при настоящем совке, вступившее в жизнь при совке упадочно-декадентском, сделавшее рывок (или павшее, или заснувшее навек) при совке агонизирующем. Вот как сделали этот рывок, так и бежим, остановиться не можем. Петя вот добежал до Кейптауна. Впрочем, обо всем по порядку.

Мы учились в одной группе на истфиле университета, травились одним и тем же портвейном, влюблялись в одних и тех же девиц, спали с одними и теми же, только с другими. Читали, естественно, одни и те же книги. Можно было бы считать его моим «alter ego», если бы не весьма важное обстоятельство: Петя стремился стать скорее «художником жизни»; я — скорее просто «художником». Уже тогда, в середине восьмидесятых, я стал сочинять нечто невообразимое в стихах и прозе; друг мой презрительно оставался лишь читателем. Читателем он был явно лучшим, чем я — писателем. Ближе к концу того ацетатного десятилетия обстоятельства наши стали несколько различаться: я завалился в полуанонимную педагогико-академическую нишу, он же ушел из школы и предался непрочным радостям тогдашнего кооперативного движения. Общаться мы не переставали; обсуждениям скудной читательской добычи не было конца — левкинский «Родник» (в нашем провинциальном городе, как выяснилось, было лишь два его подписчика; догадайтесь, кто), странная «Даугава», отвязный «Гуманитарный фонд», — все это обсаживалось до последних косточек, из которых потом мы возводили памятники новым литературным иерархиям. Петя (в отличие от меня) особенно любил современную поэзию: каждую неделю он заболелвал то приговским идиотизмом, то католическими заговорами Елены Шварц, то монотонным кононовским бормотанием. В конце девяностого все это кончилось. Петя вдруг пропал на пару месяцев, видеозальчик свой передал еще одному нашему одгруппнику (тогда недурному рок-певцу; ныне — зам. начальника Пенсионного фонда где-то в Калмыкии), с квартиры, которую снимал, съехал. Затем все-таки объявился и сообщил, что завербовался ехать в ЮАР. Тогда многие уезжали в эту страну капитана Сорви-голова; хотя в расползающейся империи уже тлело с десяток англо-бурских войн, «Копи царя Соломона», «Трансвааль, Трансвааль, земля моя в огне» и рок-

шоу в пользу великого чернокожего сидельца выглядели явно романтичнее. Вот Петя и отправился в противоположное полушарие то ли укреплять треснувший аппарат, то ли вызволять Манделу с острова Иф. Широкий русский человек.

С тех пор он не писал и не звонил почти десять лет. Для нас, оставшихся разбирать руины Третьего Рима, ухнула целая эпоха; в ЮАР, кажется, тоже. Здесь от жизни десятилетней давности не осталось почти ничего, кроме разве что вечнопрекрасной Пугачевой на концерте в День милиции. О Пете я и вспоминать перестал, зато наше увлечение восьмидесятых — литературу — превратил в (увы) малоприбыльную профессию. И вот месяца два назад по моему электронному адресу приходит послание, начинающееся как ни в чем не бывало словами: «Кирилл, привет, это Петр. Как дела?» Сначала я страшно разозлился. Затем — развеселился. Наконец решил внимательно прочесть письмо. Петя сообщал, что у него все хорошо; что не писал он потому, что было очень трудно и не хотелось жаловаться, что сейчас он писать может, так как завел собственный бизнес, разбогател, нашел хорошего управляющего и *have a lot of time to read & write letters*. Что пять лет учился в Австралии на винодела, выучился, и сейчас у него виноградники и заводик, где разливают недурные «Cabernet-Sovignon» и «Riesling». Что плантации, заводик и его собственный дом располагаются под Кейптауном, в Дарбонвилле. Так-то вот. На берег был отпущен экипаж.

Но самым удивительным был вовсе не спокойный тон письма с того края Земли, не сногшибательное его содержание, а содержащаяся в нем просьба. Петя писал, что обнаружил меня посредством Интернета (откуда и адрес взял), на неких литературных сайтах, где меня аттестовали как «критика и эссеиста» (со вторым согласен полностью, с первым — никогда!). Так вот, не могу ли я раза два-три в год посылать ему по эл. почте некие «письма о современной русской поэзии», где бы назывались некие имена, которые, в свою очередь, он мог бы отыскать запутавшимися во всемирной паутине. Выписывать «бумажные журналы» в Капскую провинцию Петя наконец отказался.

Честно говоря, я даже не возмущился. Причуда вполне в кирилловском духе. Пошел он куда подальше, Дон Периньон. Но забыть это письмо я так и не смог. Идея излагать южноафриканскому виноделу свои соображения по поводу современной русской поэзии показалась мне слишком безумной, чтобы от нее просто так отмахнуться. В конце концов разве нынешняя отечественная публика — не тот же самый Петя Кириллов, за десять лет не заглянувший ни в одну новую русскую книгу (истинно художественную, конечно)? И вообще, кто сейчас оный «русский читатель» — бур-африканер, зулус, ковбой, танцор фламенко, исламский программист, дублинский городской? Кто вообще его, «русского читателя», видел? Так что та пустота возлюбленного Отечества, в которую вываливаются новейшие романы и рассказы, стихи, эссе и критические статьи, ничем не отличается от запредельной, черной, глухой пустоты южной оконечности того самого континента, где располагается самая сердцевина тьмы, где бывшие русские мальчики выращивают виноград, а бывшие пожизненные узники принимают подношения от супермоделей и королей поп-музыки. Не «ниоткуда с любовью», а «никуда с любовью».

Думаю, Петя будет не против, если я (по неискоренимой гнусной привычке литератора) буду периодически печатать свои «письма о русской поэзии» на страницах «Октября». Впрочем, был бы и против — все равно. В этих письмах не будут выстраиваться никакие новые поэтические иерархии, не будут рушиться никакие старые. Автор не претендует на объективность и сколько-нибудь полный охват (невозможный, впрочем, и сам по себе). Концептуально автор бездарен. Литературной политикой не занимается, будучи сугубо частным лицом, проживающим в сугубо провинциальном городе. Хорей от ямба, пожалуй, отличит.

Что же, с Богом!

(Нижеследующие письма, сколько бы их ни было напечатано, есть сокращенные варианты электронных писем, посылаемых автором Петру Кириллову. Сокращению и исключительно подверглись только те их части, где речь идет о материях совсем не поэтических.)

Письмо первое

17 февраля 2000 г.

Дорогой Петр,

трудно передать, как ты позабавил меня своим посланием (не говоря, конечно, о радости получить весточку от человека, исчезнувшего в Африке десять лет назад). Так и вижу тебя там, в твоём трансваальском (капском?) далеке, у компьютера (что там у вас висит, Windows?), по моей наводке набирающего в окошечке искалки: «Сали-

мон», или «Седакова», или «Померанцев», или «Амелин»... Под рукой початая бутылочка собственного винца, пепельница, пачка не-знаю-чего-там-у-вас-курят. Наконец нужная страница открыта, урчит принтер, из него медленно выползает белый листок с русскими буквами. Ты вынимаешь его, прочитываешь, в этот момент тебе звонит управляющий и срочно призывает в офис. Сменив рубашку, ты исчезаешь из кабинета; на оставленном листе незримый подглядыватель (в данном случае — я) читает:

.....?

Что читает?

Вот вопрос из вопросов. Честно говоря, не знаю, о чем тебе писать. Перечислять, что произошло в русской поэзии за эти десять лет? Называть «основные тенденции»? Обозначать «мэйнстрим»? Вряд ли я смогу сделать это; и не только по причине невозможности и нежелания (не собираюсь же строчить диссертационное сочинение), сколько от отвращения к любому «мэйнстриму» и к любым «основным тенденциям». Помнится, раньше, десять — пятнадцать лет назад, ты это мое отвращение разделял. Так что не обессудь.

Впрочем, два слова о мэйнстриме скажу. Там все по-прежнему; Пригов тот же, что и десять лет назад, Кушнер тоже. Елена Шварц безуспешно пытается подтвердить закон гегелевской диалектики о переходе количества в качество, но на этих путях она никогда не угонится за полноводным Рейном. Кому-то из них дали какие-то премии, но не помню — кому что. По-прежнему на столицы методично насаждает провинция: Кальпиди и Кекова стали классиками. Урал и Волга ликуют. Сейчас их успех развивает Елена Фанайлова из Воронежа. Были и неожиданности. Битов выпустил книгу стихов, а Гандлевский получил премию за отличную книгу прозы. Впрочем, денег в конце концов не взял. Рубинштейн оказался недожиданным эссеистом. Как ты знаешь, четыре года назад умер Бродский. Теперь в провинции молодые поэты пишут не под него, а под Тимура Кибирова. Либо — под Ивана Жданова. Кстати, о Кибирове. Года три прошло, как один культуролог объявил его новым Пушкиным и заявил, что ждет от поэта нового «Медного всадника». Пока не дождался.

А теперь расскажу о других, тех, кого всегда любил, — о поэтах «нетипичных», об «упрямых консерваторах», о «махровых поэтических реакционерах». Одним из важнейших событий в последнее поэтическое десятилетие стало для меня появление стихов Владимира Гандельсмана. Десять лет назад мы и знать не знали о его существовании; до эмиграции в США (на рубеже 80-х — 90-х) он напечатал на Родине одно стихотворение. И за границей — еще несколько. Его книги стали выходить, его подборки стали печататься сразу после того, как ты занялся виногодарством в Южном полушарии. В 1991-м появилась публикация в «Континенте», в 1992-м в «Октябре». Первую книгу стихов издал нью-йоркский «Эрмитаж», в 1993-м там же вышел в свет его изумительный (и, к сожалению, почти не замеченный) роман в стихах «Там на Неве дом». Лучший, на мой взгляд, издатель стихов Г. Ф. Комаров («Пушкинский фонд») переиздал роман в России, он выпустил и «избранное» Гандельсмана «Долгота дня». И все-таки первой книгой поэта, выпущенной в России, была «Вечерняя почта» (1995) в очень достойной серии (хотя и с несколько двусмысленным названием) «Мастерская» издательства «Atheneum/Феникс». Года полтора назад вышло новое «избранное» — «Эдип».

Первые стихи (из опубликованных) Владимира Гандельсмана датируются 1973 годом. Он — поэт сложившийся, с большой историей, долгим путем. Я бы сказал, что Гандельсман появился в русской поэзии 90-х, как Афина Паллада из головы Зевса, — во всеоружии. Его движение — от ранних, по-пастернаковски избыточных, полных криками, запахами, цветными кадрами стихов к более монотонным, скорее — черно-белым, изобилующим намеренными повторами, — все оно сконцентрировано до невероятной плотности в этих нескольких книжках, выходящих с разницей в год-два. Скажу пошлость, но Гандельсман — поэт совершенно «отдельный» (как и положено истинному поэту). Во-первых, он серьезен, серьезен онтологически, червячок модной нынче иронии не смог завестись в плотной плоти его стихов. Поэт сосредоточенно серьезен — в воспоминании ли, в наблюдении, в рассуждении; мне кажется, что серьезен он от осознания трагичности (а не драматичности, заметь!) мира. Трагедия эта многоословна и заключается не в страстях африканских (есть ли у вас такие в наличности?), а в постепенном и обреченном распаде самого мира, его картин, языка, вещей, людей. Остается только полусвязное, назойливое, повторяющееся бормотание:

Шел, шел дождь, я приехал на их,
Я приехал на улице их, на их,
все друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

(«Баллада по уходу»)

Гандельсман смотрит на все это с некоторой дистанции (он сам пишет в прозаических заметках: «Стихи образуются из той дистанции, которую поэт держит между собой и миром»), с дистанции взирает на горькую красоту полураспада окружающего мира, вместе с которым полураспадается и речь («Не слишком красивая пара/ целуется у окна,/ короткие пальцы пожара/ любовного на затылке его она». «В Блумингтоне»), сам будто дистанцируется от полураспада собственной памяти (в изумительном стихотворении «Воскрешение матери»). Куда уж серьезнее!

Во-вторых, в его стихотворениях происходят удивительные вещи. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать одно из последних:

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть как сверкает ярко та

елочная, увидеть
сквозь еще полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимися сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубую
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденного дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуособье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на елке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня-дня,
из сегодня-распри —

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирианды капли света.

Прочитал? Еще раз перечитай! Знаешь, кого я вспоминаю в связи с этим стихотворением? Нашего любимца восьмидесятых Тома Уэйтса. Я долго не мог понять, почему; теперь наконец-то смогу артикулировать — при чем здесь дяденька Томас. Стих построен так (я первый раз с этим сталкиваюсь), что рифмы — ложные; то есть они, конечно, есть, но в потенциальном состоянии. Рифмы есть графически: «ут-

ром — нутром», «длинноты — темноты» и т. д. Но на самом деле их нет — чтобы они были, нужно менять ударение. А значит, ломать ритм и метр. Получается, что скрытый сюжет стихотворения — война ритма с рифмой; стих начинает хромать и опираться на всякие костыли в роде внутренних рифм: «длинноты — ноты, ноты — позолоты». Описать такую походку в логических понятиях невозможно: так же, как игру Уэйтса на пианино (помнишь наше любимое алкоголическое: «The piano has been drunken, not me»?). Ведь так не играют! А он играет! Весь фокус в том, что, читая это стихотворение, все время ожидаешь «правильную» рифму, а она не вылезает. Начинаешь присматриваться к тексту. Визуально, буквенно она наличествует. Хорошо. Попробуем прочитать с другим ударением. Получается совсем никуда. Снова тормозишь. А если еще вспомнить, что все стихотворение — одна большая фраза, закольцованная, прихватывающая в своем движении два временных пласта, то эти отступления, паузы, прикидки так-сяк с ударением и рифмами, делают его бесконечным. И все же движение происходит, наркотическое, вальсирующее, дразнящее обманутыми ожиданиями гармонии. Действительно, бесконечный такой вальс — именно в духе Уэйтса. И вот что еще очень важно: все это кружение, кружевание, отступления и наступления на месте — происходят на пороге Нового года, будто автор никак не переступит роковую черту, отделяющую один год от другого, одну свою жизнь от другой. Такая вот «Blue Happy New Year Card»...

А теперь о другом моем читательском открытии — только не последнего десятилетия, а последнего года. О поэте молодом и имеющем все шансы стать модным. Пока он таковым не стал — несколько слов.

Вообще-то я считал, что Борис Рыжий — это псевдоним вроде Андрея Белого и Саши Черного. Выяснилось — нет. Борис Рыжий — настоящее имя молодого екатеринбургского поэта со шрамом на лице и чуть приблатненным прищуром в стихах. Он счастливо набрел на давно ожидаемую интонацию: отчаянного парня, сентиментального, душа нараспашку, природного поэта, не испорченного всяческой витиеватостью и центонностью. Прямая речь — и все тут. Есенинская челочка у парнишки из пролетарского гетто:

Выхожу в телаге, всюду флаги.
Курят пацаны у гаража.
И торчит из свернутой бумаги
Рукоятка финского ножа.

Тут, конечно, не только Есенин. Рыжий (перифразируя Гумилева) поддерживает воспоминание о некоторых традициях советской поэзии, учась у ее второстепенных представителей; особенно интересно то, что учится он у них — у Луговского, например, или Смелякова — посредством медиумического Рейна. Рыжий — прежде всего ученик автора «Алмазов навсегда» и «Нинели»; смесь романтического отщепенства с форсированной сентиментальностью, безусловно, от него; только вот у пролетария побольше энергии, чем у интеллигента:

Жизнь, сволочь в лиловом мундире,
гуляет светло и легко,
но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико.

Столичной литературной публике очень понравился этот «новый Есенин». Рыжему дали поощрительный вариант одной из литературных премий за (действительно удачную) стихотворную подборку в «Знамени». О нем переговариваются в Интернете. Одного боюсь. Помнишь, Петя, фотографию прилизанного пейзажника в смазных сапогах, в косоворотке, с гармошкой в руках? Подпись «Сергей Есенин в салоне Мережковских. 1915 год»? Был бы я знаком с Рыжим, сказал бы ему: «Избегай, Боря, смазных сапог! Опасайся косоворотки! Не дай Бог Мережковские прибудут тальянку к твоим рукам!» А поэт он настоящий. Чего стоит одна только многозначительная пауза в чудном стихотворении «Восьмидесятые, усатые...»:

13 лет. Стою на ринге.
Загар броню на узбеке.
Я проиграю в поединке,
Но выиграю на дискотеке.

Петя, ты чуешь в своей виноградной Африке это интонационное зияние: «Я проиграю в поединке, / Но выиграю на дискотеке»? Биографическая справка в «Знамени» сообщает: «...в 1989 году был победителем городского турнира по боксу среди юношей...»

Мой эпистолярно-поэтический предшественник Гумилев замечал: «Любовь к сонетам обыкновенно возгорается или в эпоху возрождения поэзии, или, наоборот, в эпоху ее упадка». Трудно беспристрастно сказать, какую из этих эпох мы пережи-

ваем сейчас (я-то уверен, что «возрождения»!), но в этой связи симптоматично появление книги стихов, открывающейся сразу пятью сонетами. Книга называется «Над черным зеркалом», имя ее автора — питерского поэта и переводчика Алексея Кокотова — к сожалению, почти ничего не говорит читателю. А зря. Обрати внимание, Петя, на этого поэта; он как раз в нашем с тобой вкусе (если твой не изменился) — «махровый реакционер», «упрямый консерватор». Изящество и тщательность поэтической отделки, истинная (без манерности) культурность его стихов, тонкое чувство ритма, форсированная традиционность, даже старомодность — все это выдает в нем истинного маргинала, бережного ученика Ходасевича:

Оставь, не тронь пустой страницы,
Ты будешь смят в стремнине слов
Сопротивлением традиций,
Чужих ночей, чужих голов.

В четырехстопном ямбе стертом
Каких еще открытий ждать?
И рифму на стопе четвертой
Легко по первой угадать.

.....
Но звуком, средь строфы распятым,
Где пара рифм, как пара рук,
Я откликаюсь, чуткий атом,
Звучанью бубна звездных мук.

Как ты понимаешь, мережковские смазные сапоги Алексею Кокотову не грозят.

Ну вот, пожалуй, Петя, и все. Таково мое первое письмо к тебе о русской поэзии. Читай. Выделявай винцо и попивай его себе в удовольствие, счастливый ты человек. До следующей весточки.



Ольга СЛАВНИКОВА

Шествие голового короля

Представим себе, что в лукавой сказке про новое платье короля все немного не так, как мы привыкли думать. То есть король, конечно, ни во что не одет (хотя приезжие кутюрье совершили вокруг него некоторые воздушные манипуляции); однако на самом деле этот персонаж *знает* про отсутствие на собственном теле чего-либо материального. Персонажу зябко; ветер чувствительно тербит кудельку, пупырышки на коже таковы, что их хочется клевать воробьям. И все же в виду демисезонной толпы из 10 000 человек с чадами и домочадцами (плюс кучка фотокорреспондентов со своими щелкающими скворечниками) персонаж ведет себя, как облаченный в парчу. Ему и весело, и интересно; он взбудоражен, тайне гордится некоторой мускулатурой; он жаждет сравнений в собственную пользу. Однако, белея издалека, он не видит себя со стороны: в этом заключен нарастающий дискомфорт. Персонаж уже с нетерпением ждет, когда же из толпы раздастся освободительный вопль познания истины, но толпа, одетая плохо, зато хорошо застегнутая, никак не раскачается. Наконец у персонажа лопается терпение; однако тут он обнаруживает, что раздеться еще более догола никак не получится. Теперь, будучи исчерпанным открытием, он делает русский жест: рвет на груди несуществующий кафтан.

Такие нехорошие ассоциации вызывает у меня книга Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», выпущенная в 1999 г. московскими издательствами «Подкова» и «Деконт+» тиражом в 10 000 экз. Известный с молодых ногтей благодаря участию в славном «Метрополе», этот модный писатель никогда не был обойден вниманием публики. Новая книга тоже получилась во всех отношениях *модной*, причем совместила несовместимое. Как старшина из анекдота соединил пространство и время, отдав приказ копать канаву от забора и до обеда, так и Виктор Ерофеев в своем литературном труде органически срастил элитарность с масскультом.

С одной стороны, энциклопедия сегодня — жанр не столько академический, сколько прилавочный. Масскультовая «потребительская корзина» содержит немало псевдоэнциклопедических курьезов, где «от забора до обеда» — основной структурный принцип. Энциклопедии для юношей, для бабушек, для садоводов, энциклопедии причесок и юбок, наконец, псевдосолидная, минского производства «Энциклопедия военного искусства» с грамматическими ошибками и перевернутыми как Бог на душу положит биографиями полководцев, — энциклопедизируется все, почему бы не подвергнуть процедуре такую всем известную вещь, как русская душа? Тоже распространенная, каждому читателю необходимая вещь.

С другой же стороны, книга Виктора Ерофеева продуманно заигрывает с такими могущественными моделями построения современного текста, как расфасовка частей по принципу словаря и подключение читателя к сборке собственной книги из предложенного автором материала. «Энциклопедию русской души», как и «Хазарский словарь» (неизбежный к упоминанию в данном контексте культовый роман), можно читать с любого места и в любом направлении, только — желательно — слева направо и сверху вниз. Подзаголовок книги Ерофеева гласит: «Роман с энцикло-

педией» (кокаин отдыхает). И действительно, перед нами вещь, построенная на внебрачных связях скупающих фрагментов. В сущности, любая литературная модель для сборки есть игра в «объять необъятное» — что так же возможно в пределах одного отдельно взятого текста, как и построение коммунизма в одной отдельно взятой стране. Однако игра увлекательна, поскольку конечность ее читателем не просматривается (лауреат Букеровской премии Михаил Бутов обломался, добросовестно *проделав* то, что «Хазарский словарь» заявил как интеллектуальный принцип); у автора при этом имеется надежда на автоматическую работу модели, то есть на самопроизвольное зарождение в тексте-трансформере дополнительных смыслов. Между прочим, именно такого типа элитарность (честно говоря, слово «постмодернизм» употреблять не хочется, какое-то оно уже заношенное до желтизны и до простодушной дыры на пятке) как раз и тяготеет к низовым проявлениям словесности: триллеру, порно и т. д. Так что двусмысленность положения энциклопедии как типа издания полностью сработала на автора. Можно сказать, что Виктор Ерофеев знал, чего хотел, когда затевал свой беспроектный (как и большинство единиц сопродной литературы) «русский проект».

Насколько ясна писательская метода Виктора Ерофеева, настолько же понятна сверхзадача, якобы присутствующая в тексте. С живостью необыкновенной я представляю себе «положительную рецензию» добросердечного критика, охотно принимающего желаемое за действительное, как только автор подает к тому тематический повод: «Самая трудная любовь, с какой нам только приходилось справляться, — это наша приватная, а не общеполитическая любовь к России. На нее мы обречены как фактом рождения на этой земле, так и более счастливым окружением, отрицающим нашу принадлежность к чему-то за пределами государственных границ. Мы не можем объяснить добровольно-принудительную любовь к стране ни себе, ни другим, — но мы словно обязаны давать объяснения любой организации и любому лицу, пожелавшему сделать запрос. Мы изначально виноваты в наследственной русскости; мы по-прежнему живем за железным занавесом своей принадлежности к этой стране. Однако без любви к России, которую надо вырастить из сора, как стихи, мы вообще ничто. Книга Виктора Ерофеева, полная антирусских кошмаров, напоминает страшный сон, в котором человек убивает самое дорогое для себя существо. Такие парадоксальные кошмары втайне знакомы каждому читателю: «Энциклопедия русской души» дает возможность заглянуть в пыточные подвалы подсознания, где изувеченные жертвы страшнее палачей. Причудливая постсоветская сказка, созданная Виктором Ерофеевым, шокирует натуралистическими сценами, кишит ужасными монстрами, и все это создает у читателя ощущение погруженности...» И так далее, и так далее.

Удивительный это дар — побуждать читателя принимать ненаписанную книгу за написанную. Наш добросовестный рецензент был бы совершенно прав, имея у Ерофеева не только литературные цели, но и литературные средства для их достижения (впрочем, целеполагание в этой тонкой области тесным образом увязано с возможностями, так что вполне вероятно, что рецензент промахнулся). На самом деле «словарные статьи» его душеведческой энциклопедии своей говорливой динамикой более всего напоминают эстрадные скетчи. Так и кажется, что текст произносит Михаил Жванецкий, только вряд ли луноликий всеобщий любимец согласился бы все это озвучить. И не потому, что непристойно, а потому, что плоско: банальность не просто проходит открытым текстом — она тотальна, то есть заключает сама в себе всю многозначительность, на какую только способна. «Русские, как правило, неэстетичны. Неряшливы. С пятнами»; «Тоска — это русская медитация»; «У русских яркие свистульки»; «Анекдот — единственная форма русского самопознания»; «Богоносец — это такое животное, вроде свиньи». Не важно, ошибочны или нет приведенные здесь, выбранные из большой гирлянды им подобных амбициозные афоризмы. Важно то, что они — *бесспорны*. То есть спорить, возражать, возмущаться, вообще хоть как-то оценивать качественную сторону высказывания абсолютно бессмысленно. Просто есть определенный уровень человеческого сознания (нередко именуемый обывательским), где востребовано именно такое красное слово. Оно не возбуждает, но намертво припечатывает мысль — что и требовалось доказать. Не добываясь до подлинной душевной боли (а душа болит у всякого человека), оно приятно, даже иногда до кисленькой крови, расчесывает зуд.

Вот чего я искренне не пойму, так это причины, по которой Виктора Ерофеева называют «спорным писателем». Видимо, его персональная «спорность» восходит к более общей проблеме, можно или нет употреблять в художественном произведении ненормативную лексику и описывать то, что обычно происходит за закрытыми дверями — в туалете и спальне. Десять лет назад — Боже ты мой! — «Russkaja красавица» сделала то, чего было категорически нельзя, и оказалась прочитана буквально всеми, кто хоть как-то следил за эволюциями новейшей словесности. Сегодня, когда эксперименты в бывшем заповеднике дошли до последнего — не столь уж отдаленного — предела, спор этот кажется ровесником конфликта между физиками и лириками, благополучно синтезированными последующей историей в образ хакера. Да можно, можно! Было бы даже как-то странно для литературы обходиться, скажем, без эротики: все равно что принципиально не показывать, что горожане ездят в трамваях (впрочем, тотальное изъятие из прозы некоторых базовых реалий могло бы породить любопытный литературный прием). Однако же отсутствие общего запрета неизбежно порождает ситуацию, когда каждый за себя, один Бог за всех — последнее, впрочем, весьма проблематично. Вопрос, таким образом, уже не в «употреблении» или «неупотреблении», а в насущных требованиях текста, а также в мере вкуса и, я прошу прощения за бестактность, таланта каждого данного автора. Как-то так получилось, что говорить про талант стало более неприлично, чем про усилия человека на унитазе. Тем не менее говорить придется: не все то золото, что входит в компетенцию золотара.

Из всех явлений «длинной» родины наивысшее творческое волнение вызывает у Виктора Ерофеева станционный сортир. Почему-то цветком зла в его поэтике считается естественный предмет, что остается после человека рядом с пропечатанной бумажкой. В этом простом интересе к природе было бы даже что-то трогательное, если бы автор, скажем так, проявлял в разработке темы минимально необходимый артистизм. То же касается любимой Ерофеевым темы кровопролитий: если по телевизору ежедневно крутят ужастик под названием «Так выглядит под микроскопом трудновыводимое пятно» — нам ли пугаться разбрызганного кетчупа? Между прочим, наряду с «положительной рецензией» добросердечного критика очень легко представить и рецензию «отрицательную», не менее для автора лестную. Видимо, когда-то Виктору Ерофееву ретрограды определили вектор развития, обличив его как «сатаниста и порнографа». Такие обличения даром не проходят: мне знакома одна невиннейшая особа, которую только однажды в жизни в сердцах обозвали «ведьмой» — с тех пор бедняжка неизменно красится под брнетку, что делает ее похожей на крашеного кролика, и дополнительно страдает на штыках двенадцатисантиметровых каблуков. Вот и Виктор Ерофеев держит марку «плохого» (тем более что это способствует молоджавости писательской манеры): присутствующая в «Энциклопедии» незадачливая «невеста с зубами» хоть и малоэротична как таковая, зато если заменить слово «невеста» на другое, покороче, то получится такой устрашающий Чужой, которого почему-то не сняли до сих пор ни Спилберг, ни Кубрик. Апеллируя к первобытным страхам перед *этим* Чужим, Виктор Ерофеев вступает с читателем в контакт поверх любой возможной художественности собственного текста. Прочие сатанистско-порнографические находки «Энциклопедии» примерно такой же вышины и такой же глубины.

Центральный же образ книги, мистический товарищ автора по играм в новейшую русскую сказку, явно восходит к роману «Russkaja красавица», о котором все равно придется сказать несколько ностальгических слов. Сегодня, несмотря на то что по роману итальянцы снимают какой-то фильм (там героиня, как отличившийся солдат у знамени части, фотографируется на фоне красного флага), сам роман как факт литературы представляет скорее экскурсионный интерес. Освежая в памяти произведение, выкопанное из дачной стопы пожелтевших и подернувшихся паутиной перестроечных журналов, обнаруживаешь, что если что-то в нем и пропустил стгоряча, то разве тот неожиданный факт, что «Russkaja красавица» удивительно плохо написана. Однако выяснять свои непростые отношения с Россией и рускостью Виктор Ерофеев начал именно тогда, в 90-м, — в каком-то смысле «Энциклопедия русской души» есть очередной подход спортсмена к снаряду. Потому любопытно отметить, что «метафизический деятель», получивший в «Энциклопедии» прозвание Серый, в «Russkoj красавице» также присутствовал.

Если для политолога вряд ли простительно заниматься поисками тайного врага, о козни которого разбиваются российские попытки выйти из кризиса, то для художника выдумать колдуна, усыпившего страну, — задача не хуже других. Однако роман о красавице, как бы это удобнее сказать, заморочил автора погоней за двумя разными Чужими. Главная героиня выступает как Чужая по отношению к прочим представителям мужского и особенно женского пола: этих автор заранее слегка пришиб, чтобы они оставались под контролем и не нарушали хода сюжета каким-нибудь внезапным самодвижением образа. Собственно, сама русская красавица также недугоспособна. Тонкая разница между героиней прозы и героиней эротической фантазии заключается, видимо, в том, что если вторая есть идеальная любовница, то первая ведет себя по отношению к автору как законная жена: требует для постельной сцены некоторого правдоподобия и качества романной обстановки и вообще заставляет работать, создавать для романа художественные ценности. Поскольку ни достоверностью, ни работой над текстом автор «Русской красавицы» особо озабочен не был, то героиня получилась — не побоюсь этого слова — пораженной в правах. Чтобы ее приподнять — все-таки главная, все-таки роман, — Виктор Ерофеев отводит ей роль спасительницы Отечества, искупительной жертвы во имя России. И вот тут-то появляется Чужой-2. Вся ситуация, правда, сильно напоминает другой голливудский фильм, где в жертву Кинг-Конгу приносится лучшая девушка племени. Разумеется, в романе нет роскошного тропического острова с его живописными дикарями и пряными джунглями. Просто два охломона вывозят девушку на «жигуле» куда-то под Москву, где она бежит голая по сжато му колхозному полю, выманывая чудовище не то с небес, не то из алкогольного вида кустов. Почему-то считается, что, удовлетворившись жертвой, Кинг-Конг перестанет злодействовать на Святой Руси и сам завалится спать — после чего в стране наступит полный парадиз.

Парадиза не наступило. Сегодня автор «Энциклопедии русской души» уже не считает, что России и русским следует желать счастья: напротив, он утверждает (предвкусывая, видимо, «отрицательную рецензию»), что такое желание является распространенной ошибкой. Соответственно таинственный Серый, обнаруженный авторским «я» по заданию спецслужб, в результате творческого наития уже не принимает искупительных жертв, а просто сам безобразничает и берет что хочет, не встречая сопротивления текста. Уж он-то никак не Чужой: наоборот, свой в доску. Правда, выходы его, иногда забавные, чаще нелепые, сильно похожи на обезьяны: да он и есть дрессированная обезьяна автора. Причем в этом персонаже кинг-конговский масштаб уже утрачен: Серый хватается лапами не людей, но пластилиновых куколок, и страна, по которой он носится то на четвереньках, то кувырком, есть в действительности расстеленная на полу географическая карта. Все это, как мне думается, эффекты незапланированные: автор вряд ли собирался путать сатанизм с цирком. Но вот так вышло: Ерофеев пугает, а читателю не страшно. Между прочим, финал пунктирного сюжета получился удивительно *поколенческий*. Если бы данная коллизия попала под перо прозаика условно-тридцатилетнему, то искомый, а затем все ближе и глубже познаваемый Серый оказался бы в конце концов самим героем-рассказчиком; у Виктора Ерофеева скачущая обезьяна разоблачается как агент ФСБ.

Вообще «Энциклопедия русской души» как-то очень похожа на другие книги Виктора Ерофеева — больше, чем это обыкновенно бывает между детищами одного и того же автора. «Энциклопедию» можно, например, принять за свежую порцию книги «Мужчины», состоявшей из таких же мозаичных фрагментов, покрупнее и помельче. В «Мужчинах» запомнились: братская любовь автора к Набокову (навеянная смутным ощущением, что он и Набоков выросли вместе, в соседних усадьбах); модная тема мужской капитуляции перед чернорабочим женским матриархатом; тема «зарубежа», показывающая, что автор, несмотря на падение занавеса и соответствующие изменения в пространстве и в умах, сохранил ментальность советского туриста, имеющего известную монополию на сувенирные впечатления «оттуда»; генеральная тема «русский народ», с которым автор обещал «когда-нибудь поделиться своей энергией». Темы, можно сказать, сквозные, особенно последняя. От «Русской красавицы» до «Энциклопедии русской души» — всюду Виктор Ерофеев развивает идею массового, в пределе поголовного выхода из народа. Причем, если раньше процедура носила характер драматический и напоминала чем-то выход из КПСС (русская красавица, помнится, пыталась устроить несанкционированный митинг в

базарных рядах), то теперь это больше похоже на выход купальщика из стихии на пляжный песок. Фиксируются стадии (по пояс, по колено, по щиколотку); испытывается некоторая досада на грязные ноги, которые никак не удастся сполоснуть, не оступившись мимо мокрой тапки. Настоящий антагонист авторского «я» не представитель силовых структур в дырявых польских носках, но тетя Нюра, уборщица. Тетя Нюра не человек, а тело, переваривающее жизненные впечатления так же, как оно переваривает пищу. Тетя Нюра — именно «оно». Писатель не знает, что ему по-писательски делать с таким натуральным существом. Тут можно высказать мысль, что, если примитивность объекта препятствует его полноценной художественной фиксации, значит, имеет место встречная примитивность авторского мышления — и прежде всего мышления в языке. Но какое это имеет значение? Ведь нам никто и не предлагает любоваться достоинствами королевского платья.

Написав все то, что было написано, я обнаружила, что попыталась навязать известному писателю Виктору Ерофееву свои, а не его цели создания книг. Если писатель проигнорирует все вышеизложенное, он окажется полностью прав. Дело в том, что «русские проекты», подобные «Энциклопедии русской души», абсолютно беспорны и принципиально беспроегрешны: претензии неуместны. Правда, тем самым они и безвыигрышны. Литература, бывшая всегда игрой с высокими ставками (а в национальном варианте иногда и «русской рулеткой» с одним патроном в барабане), ныне превратилась в цивилизованную лотерею, где на тридцатирублевый билетик обязательно получаешь десятирублевую авторчку или семирублевенькую, с камушками, заколку для волос. Сеанс эксгибиционизма если чем и чреват, то разве что легким насморком. При этом самый злобный критик вроде меня делает именно то, что у автора предусмотрено по сценарию: подает наконец подзадержавшуюся реплику. Когда над площадью начинается клейко моросить и оочечневший персонаж начинает подозрительно блестеть, из драповой сырой толпы раздается вдруг писклявый голосок: «А король-то голый!»



Дороги и спотыкания

Проблемы смысла, формы, принципов, результатов преподавания литературы в школе давно уже можно назвать вечными, как давно известно и то, что школьное литературоведение вызывает у детей и подростков в лучшем случае ненависть к изучаемому автору и его созданиям, а в худшем — замешанную на глубочайшем равнодушии тоску зеленую.

Сергей Боровиков, главный редактор «Волги», даже съязвил: «То ли дуб школьный проклятый виноват...» А мы дружно отзываемся: «И высокое небо Аустерлица!»

А. Ершова и В. Букатов — известные теоретики и практики педагогики — в стремлении сокрушить глухую стену между учениками и литературной классикой предлагают в своей недавно вышедшей книге «Возвращение к таланту. Педагогам о социо-игровом стиле работы» (Красноярск, «АКМЭ», 1999) две новые методики, названные *социо-игровым стилем обучения и герменевтикой*. Надо заметить, однако, что авторы подчеркивают: социо-игровой стиль — это именно стиль, а не методика. И затем: новое — это хорошо забытое старое.

Но мне кажется, что терминология в образовательной сфере на удивление невнятна, и чем отличается *методика* от образовательной *технологии*, *дидактический подход от стиля* обучения, *способ* организации урока от *формы* организации урока — сказать невозможно.

Критика традиционных, привычных, выработанных учительских установок в «Возвращении к таланту» жестока, язвительна, но, безусловно, справедлива. Она касается самого широкого спектра явлений от статичной позы ученика на уроке до интеллектуального диктата учебных программ: «Врачи постоянно напоминают о том, что нельзя настаивать на продолжительном соблюдении детьми статичной позы. Интересно, что о вреде статичной позы для взрослых медики столь настойчиво не говорят. Да в этом и нет надобности — попробуй нас заставь долго просидеть на стуле, сложив ручки и аккуратно поставив ножки!» «Суть же всяких программ (и методик) в руках и головах практиков часто сводится к банальной регламентации жизни и специфическому насаждению запретов».

Stredo авторов — творческая раскрепощенность учеников и учителей, «разжигание игрового костра-интереса» к литературной классике у детей и взрослых. Первостепенное значение авторы придают подвижности учеников на уроке и предлагают большой набор игровых заданий: игры для рабочего настроения, игры для социо-игрового приобщения к делу, игры для разминки-разрядки, игры для творческого самоутверждения. «Вместе с неожиданными движениями тела начинают неожиданно по-новому работать и головы».

Все это прекрасно, скажет учитель, но *когда* этим заниматься? Ведь имеются план, программа, сложный и объемный материал, график проверок наконец! Подобные сомнения и возражения авторы отвергают решительно, потому что убеждены: социо-игровой стиль превращает школу в школу радости, заинтересованности и доверия, где самая сложная программа и самый объемный материал усваиваются полноценно и творчески.

Однако — что есть, то есть! — большинство, и я в том числе, предпочитает думать — о мотивах поведения Раскольникова, например, или о величине косинус X , — сидя или лежа, листая книжку или покуривая сигаретку, глядя на экран компьютера или на природу в окно, но уж никак не бегая и прыгая по комнате. Для авторов двигательная скованность во время «думанья» — это вредная привычка, которая самым негативным образом отражается на течении, скорости и качестве наших размышле-

ний. Двигаться, двигаться, двигаться во что бы то ни стало! — призывают авторы. «Даже для взрослых задания, позволяющие всем вместе хотя бы просто подвигать руками, ногами, туловищем, доставляют неподдельную радость». На основании своего опыта — возможно, вредного — умоляю: нет, пожалуйста, не надо, не заставляйте меня размахивать руками и ногами, да еще в строю. Иными словами: если ученик не хочет, если ему не в радость прыгать по классу, бегать со стульями в руках, передвигать парты и т. д., он *может* этого *не делать*?

Нет, разумеется, не может: задания надо выполнять. Такие задания всегда радостны и увлекательны, настаивают авторы.

В книге много и убедительно говорится об «омертвлении и обесмысливании плодов педагогического поиска при его тиражировании». Почему же социо-игровой стиль обучения не подпадает под этот печально-неизбежный закон? Об этом говорится тоже немало, но далеко не столь убедительно.

Но-первых, полагают авторы, потому, что двигательная игра и усвоение материала не разделяются. Если следовать принципу «сначала мы, дорогие детки, позанимаемся, а потом поиграем», то «дело из живого, интересного и полезного превратится в калечащую обязательку». Во-вторых, потому, что авторы не ждут «единообразного подражания», а только советуют учителям «под любимыми мыслимыми и немислимыми предложениями давать ученикам на уроке двигаться». В-третьих, потому, что социо-игровая работа становится «условием хорошего настроения». Последнее утверждение, по-моему, в своей всеобщей обязательности недоказуемо: для кого становится, а для кого и не становится. Второе заключает в себе внутреннее противоречие: если даже учитель не будет подражать конкретным игровым заданиям, предложенным в книге, все равно ученику, решая задачу или сочиняя историю, придется бегать, прыгать, ползать, кружиться, хочет он этого или не хочет. Ну и наконец: неужели позаниматься, а потом поразмяться — это так *калечаще* страшно?

Возможно, мои сомнения и тревоги преувеличены, но общеизвестна способность нашей школы все на свете превращать в запрет и принуждение, свободу оборачивать насилием, да и в самой книге это прекрасно показано.

Дать ученику независимость понимания, позволить «видеть своими глазами», не навязывать учительских эстетических оценок — таков *провозглашенный* пафос книги В. М. Букатова «Тайнопись бессмыслиц в поэзии Пушкина» (очерки по практической герменевтике. М., Московский психолого-социальный институт. «Флинта», 1999), но тревоги она пробуждает те же самые, что и предыдущая, а кроме того, еще одну, о которой скажу в самом конце.

Автор исходит из столь же смелого, сколь и рискованного *постулата педагогического мастерства*: «Когда перед учениками стоит этакий умный, эрудированный педагог, то дети катастрофически глупеют, маскируя свое оглупление в лучшем случае имитацией его умного поведения».

Между читателем и литературной классикой, между учеником и программным текстом стоят специалисты-критики, авторитет чужого мнения, научное литературоведение, *остывшая* культурная традиция, тот самый «эрудированный педагог». Они, утверждает автор, мешают не только личному обогащению, приобщению, восхищению читателя, но даже простому — на *буквальном* уровне — пониманию текста: «о чем там, собственно, идет речь, что за история рассказана». Герменевтика же позволяет отклонять «всякие директивы, откуда бы они ни исходили», и тем самым решает принципиальную задачу — «не навязывая своего толкования, помочь читателю найти собственное понимание текста».

Мнение автора, что литературоведы и критики заняты «установлением для каждого произведения единого, наиболее объективного смысла», мне кажется прямо неверным и ни на чем не основанным (*сколько голов, столько умов*, и у критиков-литературоведов, разумеется, тоже), но то, что, прочитав учебник, школьники равнодушно повторяют за ним, не вчитываясь в текст, — абсолютно точно.

Смешон и печален рассказ о занятии по художественному освоению стихотворения Пушкина «Узник». Ребята знали его наизусть (!), но затверженный текст проскользнул мимо их внимания. «Меня слегка забавляла уверенность учеников в том, что в стихотворении им якобы все понятно и что оно им якобы даже нравится!» На самом деле ученикам было «понятно», что это рассказ о стремлении узника к свободе при виде орла в небе. То, что орел не в небе, а «кровавую пищу клюет под окном», они умудрились не заметить.

Но вот с помощью учителя старшекласники вчитались в текст. И началась собственно герменевтика: «моя герменевтическая цель — научить... видеть в тексте

препятствия, которые, в свою очередь, вызывают размышления... *Учить грамотно спотыкаться* на пути к осмыслению прочитанного.

Но характер этих *грамотных спотыканий* вызывает настороженность. В. Букатов раз за разом повторяет, что не навязывает своего мнения, из предложенных толкований не выбирает «лучшего» и «правильного». Но ему вообразилось, например, что орел сидит в камере вместе с узником, и «в конечном итоге у *всех* орел оказался внутри темницы». Как же это так получилось? А иначе думать можно?

В соответствии с провозглашенными принципами — и можно, и нужно. В соответствии с реальным анализом текста — иная картина: учитель до тех пор будет видеть в тексте «бессмыслицу», «нелепость» и спрашивать, «что это значит», пока ученики не придут к тому же мнению, что и он.

Размышляя о стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», автор останавливается на словах «обиды не страшась» и требует ответа, какой именно и от кого обиды. Предполагаемый оппонент отвечает: «Имеется в виду не какая-то конкретная обида, а вообще. В поэзии так принято — иногда говорить вообще, но чтобы получалось в рифму». Оглулять воображаемого оппонента — куда не годится. Может быть, поэтому так неприятно-неубедительно выглядит толкование Букатова: обида нанесена «глупцом», который приписывает гению «мелкую похвальбу»: и памятник-то он воздвиг, и тленья убежит, и народу будет любезен. Гений же саркастически пересказывает музе мнение глупца и просит не обижаться.

Основание для такой трактовки вполне достаточное: автору в детстве было неловко это стихотворение декламировать — скромность не позволяла. Не в наши времена плюрализма-постмодернизма с этим спорить — да пожалуйста, толкуйте как угодно, но разрешите не соглашаться. Но вот не соглашаться-то автор как раз и не позволяет и даже вторгается в *бессознательное* тех, кто придерживается иной точки зрения: «Возможно, бессознательная стыдливость, возникающая еще в школе, и порождает огромное количество литературоведческих работ, посвященных *Памятнику*, пафос которых, по сути дела, заключается в утверждении права поэта на похвальбу?»

Итак, с одной стороны, автор провозглашает необходимость личного понимания, с другой — добивается «единого, всеразрешающего смысла». Суть его каждый раз можно описать от противного — только не так, как в учебнике, только не так, как у литературоведов и «всяких прочих шведов»!

«Я помню чудное мгновенье...» оказывается стихотворением о душевной глухоте лирического героя, который сам не слышит, что оскорбляет «ее»: «Она не может разделить переполняющий говорящего восторг и вместе с ним порадоваться, что всего лишь дважды явилась его воображению гением чистой красоты».

Принцип «только не так» не срабатывает в тех случаях, когда автор совсем игнорирует нелюбезных ему литературоведов. Сущность «Медного всадника», по мнению Букатова, раскрывается через стилистическую дуплановость, столкновение и переплетение торжественно-возвышенного и сниженно-повествовательного стилей. Но это еще Валерий Брюсов говорил. У литературоведов есть и другие точки зрения: о стилистической *трех*слоистости поэмы (Л. В. Пумпянский), об отсутствии в ней стилистических перебивов (В. Д. Левин). Чем эти точки зрения автора не убеждают? Неизвестно. Впечатление складывается такое, что он о них просто не знает и знать не хочет.

И, наконец, последнее, ни в коей мере не в упрек, однако... Такие формы работы, как выпускное и вступительное сочинения, пока еще никто не отменял. Может быть, отменят и, может быть, правильно сделают. Но что сейчас ожидает абитуриента, который с неопитским увлечением напишет, что «Памятник» — это насмешка поэта над мнением глупцов, а «К***» — оскорбление, нанесенное гению чистой красоты? Правильно — вердикт проверяющего: «Не раскрыл тему». Со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.



Андрей ГРИЦМАН

Будет ли будущее?

Культурная пыль (цементная, не мраморная), поднявшаяся после крушения советской системы, в которой мы выросли, понемногу рассеивается. Проступают очертания новых форм, проглядывают новая расстановка сил и литературная иерархия в России. Опосредованно это влияет и на культурный процесс в диаспоре. Зависит он в основном от двух факторов: изменения общественного сознания и языка в России (в «заморской метрополии») и от местных условий, то есть от напряжения, установившегося между иноязычной и инокультурной окружающей жизнью и художником-«инопланетянином», пытающимся найти себя в новой жизни и сказать что-то важное о своих перевоплощениях. Конфликт, связанный с творчеством в инородной среде, сам по себе создает напряжение, полезное для творчества. И в России, и в эмиграции в настоящее время происходит полное смешение художественных направлений и авторских «компаний», ранее, казалось, несовместимых. Советские писатели, бывшие «маргиналы», поэты «андеграунда», «метареалисты» и т. п. встречаются на страницах одних и тех же журналов и антологий, а также в аэропортах, у зарубежных знакомых, по дороге на чтения, лекции и конференции.

Американского явления — наличия многочисленных профессиональных поэтических журналов разнообразных направлений — ни в России, ни в эмиграции пока что не наблюдается. Эмигрантская литературная периодика, к сожалению, существует в минимальных формах: есть два-три журнала, ежегодники «Время и мы», «Новый журнал», «Встречи», «Слово», «Побережье» и пара газет (из десятков русских газет), которые все меньше и меньше публикуют стихи или аналитические статьи о поэзии, да и то очень неровно и предвзято. И это — при миллионном русскоговорящем населении Северной Америки.

Русское нью-йоркское издательство «СЛОВО-WORD» (издатель Л. Шенкер) выпускает серию «Поэты русской диаспоры», которая, несмотря на значительные колебания эстетики и художественной ценности продукции, создает некоторое представление о ведущих авторах русского зарубежья в Америке. Сборники нескольких интересных поэтов, живущих в США, выпустил «Эрмитаж» (издатель И. Ефимов). Это издательство, как и «Ардис» в недавнем прошлом, сохранило для жизни немало важных книг. В Филадельфии выходят два ежегодных литературных альманаха: «Встречи» (издатель В. Синкевич) и «Побережье» (издатель И. Михалевич-Каплан).

В американской русской периодике серьезного критического анализа поэзии почти не существует. Пожалуй, лучшими и наиболее естественными критиками поэзии выступают сами поэты, что подтверждает современный российский опыт, где оригинальными критиками стали ведущие поэты.

В эмиграции подобного развития литературоведения пока не произошло. Исключением является лишь часть критических публикаций в «Новом журнале». Для развития критики необходимо существование оформившейся литературной структуры, журналы, клубы, обмен, дискуссии, то есть пресловутый «литературный процесс». В диаспоре этот процесс, как правило, внутренний, личностный. Тут еще больше, чем в метрополии, создание текстов — это личное, частное дело художника, «одиночное, волчье дело». Потому клановости, «платформ» и «манифестов» практически нет.

В описанной ситуации диаспоры появляется феномен «сосуществования» стихов разного качества и художников разных уровней и направлений и даже языковых культур: Москва — Ленинград, Юг — Одесса — Киев и т. д. Отсюда — странная, неоднородная смесь эмигрантских сборников и антологий, объединяющих под одной обложкой авторов серьезных и опытных с любителями, взявшими перо от тоски, тщеславия или скуки. В эмиграции деваться друг от друга, в принципе, некуда.

Умер Иосиф Бродский. Это событие стало поворотным моментом данной эпохи. (Впрочем, движение к децентрализации назревало уже давно.) Бродский являлся центром кристаллизации, притяжения, верхом иерархической системы, которая как идея вообще дорога «соборному» сердцу россиян. Пример его потрясающего творческого и социального успеха был у всех на глазах, создавая ощущение, что можно дотронуться до нескольких слоев мировой культуры путем двух-трех рукопожатий: Бродский — Ахматова — Мандельштам — Блок, Бродский — Оден — Милош — Уолкотт и т. д. Исчезло «силовое поле» Бродского, которого можно было послушать в Нью-Йорке или в Бостоне или увидеть с рюмкой «клюквенной» за столом в «Русском самоваре» с Романом Капланом. Теперь, наконец, спала массовая волна стихов «на смерть поэта», скороспелых оценочных статей и фрагментарных мемуарных заметок и началась перегруппировка и работа «на общих основаниях». Труднее всего российским авторам признать, что случай Бродского уникален, неповторим да в будущем и не обязателен.

Современная американская поэзия как-то обходится без признанного «великого» поэта или поэтов. Недавно в нескольких академических американских литературных журналах возникла и быстро погасла дискуссия на тему: «Как же быть без “великого”»? Все с готовностью признали, что сейчас время *групп* писателей — крепких, зрелых, продуцирующих добротные и подчас сильные стихи.

Прошло четверть века с начала предпоследней (третьей) волны эмиграции. Появились поэты и прозаики, прожившие большую часть своей творческой жизни на Западе или вообще начавшие писать только в эмиграции. По понятным причинам в советское время и в первое время после перестройки русская культура в диаспоре традиционно считалась вторичной и периферийной. Но по прошествии времени ситуация изменилась. Выходцы из России, во-первых, почувствовали общность культурной судьбы с другими переселенцами, во-вторых, вросли в новую жизнь (те, у которых хватило пластичности). Изменилась ментальность, а с ней и характер творчества. Некоторые авторы, писавшие еще в России, по какой-то причине (видимо, из-за толчка, данного сменой жизни) созрели и «вышли на поверхность» в эмиграции (нью-йоркские поэты А. Алейник, И. Машинская, А. Антонович). В. Гандельсман представляет собой редкий пример поэта с особым, явственно «ленинградским» голосом. Гандельсман всего за несколько лет жизни в Америке начал писать в другой тональности. Его поэтический голос теперь в меньшей степени отражается от культурно-архитектурных символов родного мира (Ленинград, зима, детство); он уходит в себя, все больше отражая внутренний пейзаж. Но узнаваемые реалии и даже географические очертания окружающего американского мира встречаются в его стихах и названы вполне явственно. Та же душа, переселенная в иную сферу:

День окончен. Супермаркет,
Мертвым светом залитой.
Подворотня тьмою каркнет.
Ключ блеснет незолотой.

То-то. Счастья не награбишь
Разве выпадет в лото...
Это билдинг, это гарбидж,
Это, в сущности, ничто.

Чем авторы, заявившие о себе на Западе, отличаются от писателей, почерк которых сложился в России и которые продолжают активно работать в диаспоре: Б. Кенжеева, известные поэты старшего поколения Д. Бобышева, Л. Лосева? Скорее всего тем, что авторы, состоявшиеся еще до отъезда, продолжают пользоваться установившимся методом подхода к поэтическому материалу, перенося его на новую территорию; а вот поэтам, созревшим на американской почве, пожалуй, ближе описательный стиль (с более конкретным отношением к субстрату) или лично-исповедальный, но помещенный в новые географические координаты.

С точки зрения литературы третий период эмиграции качественно отличается от двух первых. Хотя темы поэтов и прозаиков третьей волны по понятным причинам также ностальгичны, это, как правило, не ностальгия по России, ежедневной российской жизни и ее глубинной народной культуре. Это скорее ностальгия по «утраченному времени», по детству и юности, когда у многих еще была иллюзия причастности к окружающей жизни и возможности в нее влиться.

Движущим порывом художников первой и второй волны была затянущаяся попытка любой ценой удержать культурные и духовные позиции при полной потере «физических» и географических позиций. Для современных авторов диаспоры энер-

гия творческой работы часто черпается из болезненной адаптации к новой жизни — не плач по потерянному дому, а поиски нового. Творческая практика третьей волны не преемственна по отношению к первым двум, она независима, при этом заметно связана с опытом советского периода. Литературу всех волн эмиграции в большей или меньшей степени объединяет общий поклон в сторону русской классики и тон, заданный «серебряным веком», который слышен и в наши назойливо шумные времена.

Любопытно, что в России при общем снижении интереса к поэзии, кажется, уменьшился также и поток графомании, наводнявший редакции литературных журналов и газет. Место стало «пустее», потому что перестало быть таким «святым». Появилось больше возможностей направить мутную энергию в русло поп-культуры или бизнеса (что нередко одно и то же). Да и других отвлечений и развлечений стало больше. В то же время традиционная российская престижность писательского дела поблекла на фоне общего шума: выкриков киоскеров, колебаний биржи и перетасовки правительства.

Для российского человека в эмиграции ситуация другая. К сожалению, одной из отличительных черт эмигрантской литературы является именно заметная графоманская волна, часто захлестывающая чистые струйки живого творчества. Люди тоскуют, им тяжело, одиноко, расстояния большие, критерии качества литературы размыты. Мест для публикаций — раз-два и обчелся, так что разделение на уровни и литературные лиги почти невозможно, а редакторами и издателями порой являются несостоявшиеся авторы. Они нередко и сами в глубине души это понимают, но болезненная правда как-то растворяется в активной издательско-общественной деятельности и компенсируется праведным чувством пусть небольшой, но власти: «печатать — не печатать!».

Одним из основных примеров если не графомании, то, во всяком случае, вторичного, «проходного» продукта в эмигрантской поэзии является поток стихов с нотой грусти о России, поверхностных сочинений на отъездную тему или, что еще хуже, стихов о русской природе, «осени» (!), пресловутая «гражданская лирика» с анти-советским отголоском и т. д. Нередко такие стихи построены на «конфликте» поверхностного сопоставления: того, что глаз видит вокруг, на новой земле, с тем, что осталось в памяти (а чаще всего где-то прочитано). Такое сопоставление построено по шаблону популярной песенки нашего советского «туристско-романтического» периода: «Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые. Так похоже на Россию, только все же не Россия». Печальное явление, распространенное в эмиграции, — читая графомания, так сказать, без внутреннего конфликта, но при наличии некоторой способности к версификации. Подобные авторы оперируют на уровне, доступном эмигрантской широкой публике, привыкшей к тому, что в России, в отличие от Америки, стихи печатали даже в заводских многотиражках. Происходит удобный, успокаивающий, но чрезвычайно вредный взаимный обман. Те, кто пишет, думают (или верят), что создают стихи, а те, кто читает, думают, что они читают поэзию.

Наша, третья, волна эмиграции довольно четко разделена на два «призыва»: доперестроечный и послеперестроечный. Во втором — недавнем, девяностых годов — есть люди, по-настоящему не эмигрировавшие, так сказать, живущие в двух местах, периодически возвращающиеся в Россию. Они и не хотели отрезать российскую жизнь навсегда. Это реальное различие жизненной позиции и личной истории авторов, естественно, отражается и на тональности их творчества: такие остаются советскими писателями (а чаще журналистами), работающими за рубежом.

Напомню известный факт: наша волна эмиграции (начавшаяся в семидесятых) в отличие от двух предыдущих — еврейская, хотя и русскоязычная. Для большинства из нас до переломного периода эмиграции 70—80-х годов жизнь внутри русской культуры продолжалась на протяжении примерно двух поколений. Почти полная ассимиляция началась с военного и послевоенного поколений. Во втором ассимилированном поколении особенно часты смешанные браки. Для многих из нас эмиграция — это странное продолжение миграции после выхода из черты оседлости, а затем — нескольких десятилетий развития на русской почве. Потому интересны еврейско-городские, а не «народные» или «аристократические», корни современной российской эмиграции, этого странного феномена исторически временных, но фатальных отношений с русским языком. Фактически мы представляем собой продолжение линии «перемещенных лиц» (DP) в мировой культуре.

Предтечей творческого развития литературы «перемещенных лиц» является акмеизм, кратковременный как литературное движение, но сыгравший огромную роль как идея слияния русской культуры с мировой, а именно — с западно-христианской.

Важнейшая черта русской литературной культуры в эмиграции — это кристаллизация новой ментальности, органических отношений с новой культурой. В одном из последних интервью Бродский говорил, что невозможно написать стихотворение о Нью-Йорке, во всяком случае, он не может этого сделать. «Вот если бы стихи мог писать персонаж комиксов, он бы смог». Это пример честности поэта на уровне чувственно-эстетического восприятия жизни. При плодотворном творчестве на неродном языке эта культура тем не менее не стала для него «родной».

Формирование отношений с новой культурой занимает примерно двадцать — двадцать пять лет. Авторы продолжают писать на родном языке, но внутренняя тема меняется. Я говорю здесь не о мотивах творчества. У каждого автора эти мотивы разные. Я говорю об общих чертах, групповом психологическом и социальном комплексе восприятия (sensitivity) новой жизни, определяющем и изменение эстетики. Т. С. Элиот в своей культурологической книге «К определению культуры» называл «сателлитными» культуры зависимые или происшедшие от английской (ирландская, шотландская и т. д.). Особенностью таких культур, представители которых могут быть весьма враждебны к центральной (как, например, ирландская), является постоянная живая языковая и культурная связь с культурной метрополией при географической близости, которая облегчает взаимный обмен и одновременно создает взаимное напряжение и конкуренцию. Недавний Нобелевский лауреат ирландец Шеймус Хини пишет, что его великий соотечественник Йетс адаптировал свой поэтический стиль к ирландскому национальному характеру, образно выраженному как быстрый поток, по контрасту с английской медитативной, «густой», рассудочной ментальностью, напоминающей течение Темзы в долине.

Культурная общность, подобная нашей, русско-американской, может быть названа «дочерней» культурой в отличие от «сателлитной». Я бы назвал «дочерней» культуру, удаленную от «материнской» географически и отличную исторически. После начального периода полной зависимости от недавней родины формируется свой особый чувственно-эстетический комплекс, а затем — иной оттенок языка. Подобным образом произошло развитие американской, австралийской и новозеландской англоязычных культур. Важность этого социально-психологического комплекса вращаясь в новую жизнь отражена и в старой, как мир, проблеме «отцов и детей». Это не что иное, как отставание восприятия «отцов» от развития жизни, от меняющейся ситуации. В эмигрантских семьях отставание особенно ярко проявляется, как многие убеждаются на собственном горьком опыте, в отношениях между поколениями. Кто-то проницательно заметил, что одно из основных отличий английской культуры от американской — именно в различной расстановке сил между родителями и детьми. В Англии дети узнают о реальной жизни от родителей, а в Америке — наоборот. В Америке дети лучше понимают и воспринимают развитие культуры, что особенно сильно выражено, естественно, в семьях эмигрантов первого поколения.

Способность адаптироваться к новой культуре, возможно, частично определяет и способность к языкам. Способность писать на другом языке связана не столько с безупречным знанием неродного языка, сколько с уровнем адаптации к новой жизни, чувством этой жизни и способностью в нее влиться, а не только наблюдать со стороны, из более или менее безопасного убежища своего культурного «гетто».

Стремление годами существовать в своем «гетто», внутри своей «тусовки» вообще свойственно художникам слова. Живописцы менее связаны рамками их исконной культуры. Их произведения говорят сами за себя — товар показан лицом на «туземном рынке». При обязательности таланта именно оригинальность, особость, привлекает ценителей и публику, «галерейщиков», прессу. Это позволяет художнику выжить и стать «общественной фигурой». К сожалению, любому творческому человеку движение к рынку необходимо для того, чтобы его увидели и услышали и — в конце концов — присмотрелись. Что особенно важно в наш век стремительно, с телевизионной скоростью, меняющихся образов и общего рассеивания внимания.

С писателями, поэтами дело обстоит по-другому. Они отделены от окружающего иноязычного мира полунепроницаемым языковым барьером. Комплекс «другого», «отличного», у художника выпуклый, он привлекает внимание, подчеркнут красками, линией, полутенью, непривычной композицией, особенно если школа узнаваема и творчество художника подпадает под привычную классификацию.

Эта врожденная артистическая оригинальность становится совершенно не распознаваемой под матовой оболочкой чужого языка. Особенно, конечно, стихового языка, который, по определению, непрямой и метафорический. В этом случае имеется двойной слабопроницаемый языковой слой. Отсюда вытекает основная проблема

врастания в новую жизнь у эмигрантских писателей, проблема быть понятыми и слышимыми. Уже упомянутый комплекс адаптации к культуре (sensitivity) определяет эмоциональную рефлексию и эстетику художника. Этот комплекс можно разделить на общественный и личностный. Общественно-социальный комплекс восприятия окружающей культуры этнической группой определяется общей географией, общим историческим опытом, языком и культурными особенностями, включающими также и стиль одежды, еду и сексуальную практику. В условиях особого этнического воспитания и при сохранении активного родного языка данный комплекс сохраняется порой на всю жизнь. Примеров этому в США довольно много: китайцы в Чайнатауне Нью-Йорка или Сан-Франциско, русские на Брайтон-Бич в Бруклине, мексиканцы в Лос-Анджелесе, греки в Астории (Квинс) или удивительный феномен замкнутых общин итальянцев в маленьких городках Нью-Джерси, десятилетиями продолжающих говорить на своем языке и сохраняющих рецепты приготовления лаваньи, вывезенные еще бабушкой с Сицилии.

Личностный психологический эстетический комплекс у каждого человека индивидуален и пластичен в разной степени. У литератора личностный комплекс отношений с жизнью прежде всего отражается в выборе языковых форм, синтаксиса, идиомы. Родной язык у художника тот же, но художественный пейзаж меняется, а вслед за ним со временем и звучание языка. В эмиграции автор в еще большей степени, чем на родине, пишет «для себя». Привычных условий больше не существует, носители культуры заняты в большей или меньшей степени практическим выживанием, и традиционный российский нимб вокруг головы творца потускнел.

Каковы же мотивы творчества? Что заставляет литератора, перед которым стоят серьезные жизненные проблемы, «взять перо» — сесть за компьютер? Почему авторы продолжают писать вопреки всему?

Стимулом творчества может быть религиозный поиск, более или менее осознанный. В. Гандельсман отмечает, что у художника такого типа создание стиха является религиозным актом. Это попытка поиска контакта с высшим началом, а не только с предполагаемым читателем. Художники, которых интересует выяснение отношений с «высшим», то есть поиски истины, пусть на подсознательном уровне, наименее зависимы от перемещений во времени и в пространстве. По этой же причине они часто остаются маргиналами в любой культурной среде.

Наиболее популярной и, с моей точки зрения, бесперспективной в эмигрантской поэзии является дежурная тема ностальгии по родной земле, стране и прошлой жизни: я имею в виду легкий путь среднего шаблонного письма с легко узнаваемым и удобоваримым для рассеянного читателя «общепитным» стилем. Это одна из тем, которые должны восприниматься авторами как почти запретные и наиболее сложные для творчества. (Аналогией может служить тема осени в русском традиционном стихе, или тема любви к ребенку, или смерти отца в современной американской поэзии, то есть на самом деле разговор все равно о себе самом. У американцев это обычно подано в виде «размытого» свободного стиха с исповедальной и эгоцентричной нотой.) Естественно, имеется много общего между развитием поэзии в России и в диаспоре; однако не следует забывать, что (перефразируя строки Пастернака) хоть «анapest» еще и существует, но «в сухарнице, как мышь», больше «не копаются», потому что сухарницу таможня в аэропорту не пропустила.

Говоря о поэтическом творчестве в необычных условиях другой культуры, стоит рискнуть задать вечный вопрос о том, что же такое стихи и чем хорошие стихи отличаются от плохих. В одном из эссе И. Бродский определил литературу как метафизическую истину, сообщенную на любом возможном наречии. Продолжив эту мысль, поэзию можно определить как метафизическую истину, ощущаемую художником и выраженную, почти подсознательно, определенным ритмическим строем, «фонической структурой» (по Р. Якобсону), звуком слова, имеющим многослойную метафорическую и идиоматическую структуру. Известный современный лингвист и философ Джордж Штейнер в своей фундаментальной книге «После Вавилона. Аспекты языка и перевода» отмечал, что в языке существуют три очевидных пласта: фонический, грамматический и семантический, то есть определяющий возможные оттенки значения одного и того же слова. Поэзия оперирует на «ничейной» земле, в зоне соприкосновения звука и многозначного слова, наиболее точно отражающих эмоцию-мысль. Количество вариантов этой взаимосвязи-напряжения между звуком и словом в настоящей поэзии должно быть математически бесконечным. По Ю. Лотману («Анализ поэтического текста»), отличие плохих стихов от хороших в том, что они несут меньше информации. Хорошие стихи «информативны» тем, что каждая строчка и каждый образ непредсказуемы, и в этом залог постоянной борьбы читателя и автора, в результате чего стихи — живут! Помните у Набокова? Все в Париже

и в Берлине писали стихи об оставленных зимних петербургских площадях и мостах: «Петербург у вас какой-то портативный получился!»

Эти явления процветают и в метрополии, но здесь, «на диком Западе», они более повсеместны, широки, не отрегулированы и не направлены в обход с помощью каких-то признанных критериев, которые поддерживаются творческим полем большого числа профессиональных сильных авторов. Эмигрантская ситуация игры без правил оказывает, однако, и положительное влияние. Возникает западное, «демократическое» явление: образуются различные альтернативные группы и иерархии вместо одной или двух, как было в советское время (официальная и самиздатско-андеграундная). Такова, например, ситуация в американской поэзии, где, помимо престижных органов истеблишмента — «Нью-Йоркера» или «Поэтри» и нескольких других, имеются альтернативные художественные группировки и издания. Такой «многоканальности» работы демократической системы не понимают иные недавние советские литераторы, попавшие на американскую почву.

Эмигрантскую литературную культуру отличает сила уникального опыта жизни «без корней», опыта «перемещенного лица». Россия брезжит в тумане времени, реальность прошлого в памяти смещена: на отъезд наползают темы детства, тени ушедших близких сосуществуют с образами далеких друзей, которых автор давно не видел и встречает только во сне. Язык автора в диаспоре несколько «отстает» от современного ходового языка метрополии. Автор оперирует языком многолетней давности — в основном своей юности, периода культурного становления. Художник как будто бережет дорогой ему памятный предмет, вывезенный из дома, который он достает, когда остается один, и рассматривает, закрыв дверь в окружающий мир иной культуры.

Набоков — удивительный пример изумительного дара сохранения такого ушедшего языка, создавшего «свою» литературу (письменность) подобно чудом уцелевшему генетическому изоляту вымершего народа. Мне кажется, что Набоков, гениальный одиночка, сделал шаг в сторону и полностью скрылся в себе, создал свой театр «странствующих актеров» с многочисленными масками (все те же «перемещенные лица»). Полагаю, что он и в своей англоязычной ипостаси может быть понятен только под этим углом зрения. Никакой он не «американский писатель», как и Бродский — не «американский поэт»! Что совсем не отрицает наличия глубокого чувства английского языка у обоих классиков.

Мне кажется, что прогнозы интернетной революции, обещающей превратить мир в глобальную культурную деревню, необоснованны и несколько наивны. Скорость обмена информацией и возможность детально следить по холодному мерцающему экрану за фрагментарной картиной происходящего за тысячи километров мало влияют на личный опыт художника. Можно получать поверхностную информацию о том, что происходит вдалеке, просматривая различные литературные «сайты». Но ничто не заменит индивидуального опыта реальной жизни. Точно так же недостаточно академического знания языка для активной творческой работы на этом языке. Можно досконально знать чужой язык, но писать на нем стихи и художественную прозу издалека, из-за стола или из-за экрана монитора, нельзя. Получение дозированных квантов информации, многочисленных «хитов» в интернетной системе литературы напоминает пресловутое пластиковое чоканье на американской литературной «парти», когда субъект (в прямом смысле слова) проводит с объектом минимально-оптимальное количество времени, чтобы тут же латерально переместиться к другому, более яркому объекту с тем же напитком в стакане. Интересны недавно опубликованные данные о том, что у людей, которые проводят значительное время в интернетном «эфире», статистически чаще, чем в среднем, встречается серьезная депрессия. То есть особое пристрастие к поверхностному, «скользящему» обмену в интернетной культуре не избавляет от одиночества, а усиливает его. Это имеет прямое отношение к вопросу об органической необходимости «вживания» в реальную жизнь для художника и личного обмена, общения людей, имеющих общность судьбы. Это не означает, что энергию реального опыта нельзя накопить и перерабатывать в творческую продукцию в течение всей жизни в другом мире (Бунин, Бродский, Томас Манн, Салмон Рушди и т. д.).

Рано еще говорить о том, что произойдет на новой земле с талантливими российскими художниками авангардного направления (В. Друком, например), путь которых эмиграция резко изменила еще в период формирования творческого потенциала. Творчество многих поэтов послеперестроечного периода в России было связано с отталкиванием от советского новояза путем включения его в свою поэтическую речь, выворачивания наизнанку. Что произойдет с художниками этого («неоэстрадного») направления в современной России (Кибиров, Пригов), учитывая, что актуальность

языковой ситуации быстро меняется? Не исключено, что поэзия, построенная на обыгрывании советских культурно-языковых реалий, зайдет в тупик; она уже заметно отстает от развития культурной ситуации. Эта черта «зависания» на одной теме или методе характерна и для некоторых эмигрантских авторов, не сумевших вписаться в новую жизнь и использующих только старый материал своей прежней жизни.

Некоторые авторы в эмиграции представляют собой курьезные и экзотические примеры продолжения линии авангарда, точнее, неофутуризма. Из старшего поколения — это К. Кузьминский, А. Очеретянский и его журнал «Черновик», некоторые нью-йоркские поэты и художники-авангардисты. Неясно, что может получиться из попыток выращивания ветки русского авангардизма образца десятих—двадцатых годов на почве современной американской жизни.

Особый и интересный случай — творчество поэта старшего поколения Генриха Худякова, давно живущего в Нью-Йорке. Поэт создает и читает (по-настоящему его вещи можно воспринимать только в авторском исполнении) звуковую структуру стиха, используя искусство глубокого дыхания и чревовещания. Обрывки фраз, отдельные слова и сочетания слов выбрасываются в воздух, в результате появляется стих в чистом виде, на уровне шума, на первичном эмоционально-фоническом уровне. Худяков отказывается от исповедально-повествовательного тона, столь типичного для многих русских стихов, от привычной саморефлексии, популярной среди поэтов авторефлексии, автоностагии. Наполнитель уходит, связующих слов нет. Стих «выдается» на самой ранней фазе эмоции-звука, без искажений, внесенных обдумыванием. Худяков, который развился как художник давно, задолго до эмиграции, представляет собой, конечно, изолированный и вряд ли воспроизводимый феномен в искусстве, интересный в ситуации двуязычной среды, в обстановке смены ритмов и смены чувственно-звукового строя в поле иного языка в диаспоре.

Важнейшим условием формирования если и не литературных школ, то, во всяком случае, творческого поля, общественного пресловутого «литературного процесса», становится взаимная подпитка, критическая масса сильных авторов, у которых есть возможность живого общения, частого обмена текстами, совместных чтений и т. п. Бесценна возможность продолжающегося диалога, спора, взаимной критики.

Что в рифму гудеть нам, когда не слышать отголоска?
Ума и обмылка не сыщешь,
Ни мысли обноски.
Записки в руках не удержишь, о дружбах забудем.
Где вывесок пыльный рубин —
Там фотографа бубен.

Хоть как поглядеть нам хотелось бы на поколение,
Хоть горечь почувствовать, что ли,
Хоть сожаленье.

(И. Машинская)

Жизненные условия эмиграции таковы, что авторы, как правило, работают в одиночку. Мощных культурных силовых полей, подобных Москве или Петербургу, в диаспоре просто нет. В предыдущие эпохи русской эмиграции существовали такие горячие точки творчества: Харбин, Париж, Берлин.

Пожалуй, наибольшая концентрация самобытных, активных авторов наблюдается в районе «большого Нью-Йорка»: А. Алейник, Ю. Беломлинская, В. Гандельсман, М. Георгадзе, В. Друк, Г. Кацов (двое последних — бывшие активные члены московского клуба «Поэзия» первых лет перестройки), К. Кузьминский, И. Машинская, В. Месяц. Они могут иметь различную эстетику и происхождение, но оригинально выражают в своем творчестве новую реальность нового для них мира. Другие поэты, как сформировавшиеся в эмиграции, так и ветераны российской поэзии, разбросаны по нескольким большим городам или по кампусам американских университетов, окруженных морями кукурузных полей, прорезанных скоростными хайвеями: И. Близнацова, Д. Бобышев, Б. Кенжеев, И. Кутик, Г. Марк и др.

Влияет ли другое, наведенное культурно-языковое поле на русские стихи, создаваемые вне России? Речь идет в основном о верлибре, о более свободном обращении с ритмом (я имею в виду, естественно, умелую и адекватную манипуляцию ритмом), об использовании иных словесных «красок». Важно упомянуть несколько отличное положение авторского «я» в американской традиции по отношению к окружающей жизни. В ней, как уже поминалось, автор обычно более близок к «субстрату», более описателен. Говоря о предмете или явлении, автор имеет в виду именно предмет или явление, а не его символ (традиция Р. Фроста). Естественно, в

хороших американских стихах это лишь метод решения менее явной и дальней задачи (что опять же типично для Фроста).

Часто возникает вопрос о допустимости, обоснованности употребления новых слов, пришедших из здешней жизни и американского английского языка: трэйн (не совсем «поезд» и не совсем «метро»), бэгел (не совсем «бублик» или «булочка») и т. д. Особая тема — это тема американских пространств, пронизанных хайвэями. Хайвэй — понятие никак не передаваемое оттенками значения русского «шоссе»: «И вдоль хайвэев разлитых — шумит есенинская рожь!» В довольно резкий разговорный русский стих Д. Бобышева американского периода активно и смело введены многие «ненормативные» слова из нашей повседневной американской жизни: «Прости мой англицизм...», «А просто слов таких «в забавном слог» — нет».

Итак, примерно за четверть века сложилась новая своеобразная общность — культура русских американцев. Однако каждый отдельный автор, художник, реагирует на новые условия по-своему. «Каждый умирает в одиночку», но и заново рождается в новом мире — тоже в одиночку.

Какие же вопросы стоят перед поэтом в диаспоре и есть ли какие-то характерные черты у русской поэзии в эмиграции? Есть ли у этого культурного процесса будущее? Ответов на эти вопросы пока не существует. Что произойдет с нами, с русскоязычной культурой в американской, израильской или европейской диаспоре, пока неясно. «Подпитка» из России, связанная с частыми авторскими визитами, обменом периодикой и книгами, не отменяет одну из важнейших особенностей русской американской культуры: жизнь здесь другая, на фоне иного культурно-языкового пейзажа. Это все больше влияет и на внутренний пейзаж художников, определяет иной угол зрения, создает особое напряжение между психологическим, эстетическим комплексом поэта и непривычной средой, служит источником творческой энергии, перетекающей в новое слово. Это — на индивидуальном уровне.

На уровне группы, поколения художников неясно, к чему приведет адаптация к новой жизни. Смогут ли писать по-русски дети из эмигрантских семей, даже те из них, которые хорошо знают язык, но формируются как художники в диаспоре? Наверное, нет. А без этого процесса продолжение, преемственность культуры невозможны. Можно спросить: зачем вообще беспокоиться о том, что будет с эмигрантской культурой? Россия будет существовать, русский язык будет звучать, и на нем будут писать в России. А у каждого отдельного художника своих дел хватает. Перед ним стоит задача на всю оставшуюся жизнь: как спастись путем искусства, как — через поэтическую речь — свести счеты с небытием.

И все же интересно, «как наше слово отзовется». Интересно, будет ли будущее? Или мы — это только искра, отлетевшая от костра российской культуры и догорающая в иноязычной тьме?



Самый долгий саспенс в мире

О НЕЭСТЕТИЧНОМ ОТНОШЕНИИ ДЕЙТЕЛЬНОСТИ
К ИСКУССТВУ

Поговаривают — злые языки со злорадством, добрые языки с осуждением, — будто известный прозаик, некогда вкусивший крупный плод с древа успеха, все пытается снова полакомиться. Не свежий фрукт, так сухофрукты, на худой случай — компот. Но книга «Невозвращенец II» словно заговоренная. Загвоздка в том, куда послать героя и в какое время его вернуть. Будущее расчерчено по квадратам, настоящее — замкнутый круг. И потому будто он полные сутки напролет просиживает в «Национале», благо туда на машине рукой подать. Ничего не выходит. Точнее, выходит — но больше переиздания. Написанное им в прошлом веке. И прозаик тоскует.

Те же языки поговаривают, что изредка, по привычке лавируя меж крахмальных салфеток и бесшумных официантов, появляется в «Национале» известный поэт и, глядя на тоскующего прозаика, укоризненно цитирует:

Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк?
Ты растерялся, промок и продрог.
Кончились пули. Сорван твой голос.
Дождь заливает...

«Кончай заливать, — говорят ему, — и без того тошно».

И, оборвав на полуслове цитату, поэт гордо удаляется восвояси.

Проблема и впрямь серьезная. Отражать жизнь в формах самой жизни не дано никому. Тем более задаваться прогнозами.

Чересчур нелепы они, прогнозы, когда отменены действительностью. Взять для примера любую книгу, где автор рисковал прогнозировать. Хотя бы романы Льва Гурского «Убить президента» (Саратов, «Труба», 1995) и «Спасти президента» (Саратов, ИКД «Пароход», 1998).

Попытка — она ж не пытка, утверждал маэстро саспенса Лаврентий Павлович Берия и поправлял тугое пенсне.

Распахнем пожелтевшие страницы.

«До посещения Большого оставалось десять часов...» Пройдет время, начнется балет «Спартак» (а, собственно, почему не «Динамо»? потому что «Спартак» — чемпион?), хлопнет оглушительный выстрел и точки будут расставлены. Однако тут следует вздрогнуть от радостного узнавания. Да это чистый Хичкок! «Человек, который слишком много знал», впрочем, не английский вариант 1934 года, а его американская версия года 1956-го. Место всеобщих устремлений Алберт-Холл. Сейчас дирижер взмахнет руками, зазвучит музыка, подтянется партия ударных. Вот тогда и возникнет упомянутое «i»...

Миновали годы, страсти узнавания поулеглись. Поносить литературные недостатки, равно как и превозносить литературные достоинства этих книг, ныне и вовсе глупо, ибо никакого отношения к литературе они не имеют. Сие не оценка, а лишь констатация факта. Построенные по законам кинематографическим, книги эти надо судить применительно к кинематографу — метраж, серийность, количество копий.

И если издатели, понимая, что «публика» не определение, а диагноз, поместили на обложку крупными буквами пропечатанное слово «детектив», а сочинитель вынужден был, хоть как-то обозначая жанр, скромно выставить на титульном листе слово «роман», — и то, и другое сделано по крайней необходимости.

Коли же обращаться к словарю «Кино», какой, собственно, термин из него заимствовать? Истерн? Но ни благородных всадников на еще куда более благородных конях, ни метких выстрелов: ну, сексота ногами забыли, ну, подавился кандидат в президенты сливовой косточкой, ну, другого кандидата в автомобиле взорвали (а кого застрелили, сами и удивились). Смерти в сочинениях Льва Гурского на редкость

случайны. Разве с жизнью сравнишь? День ото дня, час от часу уже и уже каре реформаторов. Длиннее и длиннее аллея, где возвышаются их могилы. Впору заводить в Санкт-Петербурге не Литераторские, а Реформаторские мостки. Или поначалу хотя бы гать. Так что поименованные романы — не «Белое солнце пустыни», которое входит в непрменный рацион космонавтов наряду с тубиками витаминов и овощного пюре.

Может быть, термин «боевик»? Дали кому-то по харе, пнули ногой под зад, сломали ребра. Это в жизни — мучительно больно, а в кино — как не бывало. Да разве это боевик? Разве что с Брюсом Уиллисом в заглавной роли.

Тогда триллер? Слово двусмысленное, но подходящее. Рассказ с точки зрения жертвы есть? Есть. А с точки зрения преступника? Тоже есть. Да и не в расказе суть. Суть в напряженности повествования, в неутомимом саспенсе. Всю дорогу ждешь не дождешься — когда? когда? — и бьешься от напряжения как рыба об лед.

Вот бы и обозначить жанр по эмоциональной покраске произведения. Почему бы сочинителю не называть книги художественными саспенсами, назвал же Гоголь «Мертвые души» поэмой?

И тут, вспомнив о Гоголе, стóбит через плечо оглянуться на прошлое русской литературы. То ли вопросы, которые она решала, были столь грандиозны, что на прочее не хватало сил, то ли склад ума и характера русского литератора был столь скептическим и насмешливым, что он и сам не боялся и чужим испугам не верил. Короче, этого самого напряженного ожидания не было. Ужас был страшный, тьма на душе непроглядная, безвыходность — жить не хочется. А вот ожидания чего-то страшно грядущего... Разве русского литератора испугать:

Уж не жду от жизни ничего...

С подобным мировоззрением Беломорканал по колено.

Индифферентное бесстрашие сказалось и на русской мистике. Ее попросту не существует: ни под печкой нет, ни на лавке нет. Веский пример. Казалось бы, кузнец Вакула общался с чертом (и лично!), а потом, не лишенный живописного дара, изобразил его в полной красе. Что зрители? Поражены, убиты? «Он бачь, яка кака намалевана!» — стращали бабы нерадивых детей. И все.

Как точен отзыв Льва Толстого о книгах Леонида Андреева: «Он пужает, а мне не страшно!» Иное дело Блок, человек эпохи кинематографа. Прочитал андреевский «Красный смех» и принялся разыскивать автора, чтобы узнать: когда придут и всех перережут? Почти по анекдоту эпохи отстоя: народу объявляют — завтра его будут вешать. «Веревки с собой приносить или там дадут?» — интересуются из толпы.

Это не бесчувственность. Это способ существования. И недаром вспомнилось имя Блока, посетителя чемпионатов по французской борьбе и завсегдатая душных киношек.

Тут водораздел, Днепрогэс, и для русской культуры, и для тех, кто ее создает, и для тех, кто должен бы ее потреблять, да кому она до лампочки (по крайней мере до той красноватой лампочки, что горит в кинотеатре над запасным выходом).

Русские литераторы поучали, предупреждали, пророчили. Желали логически убедить, использовали книгу, будто эдакое наглядное пособие, хрестоматию «Задуманное слово», потому и мистике не привечали, отдавали предпочтение пропедевтике.

Блок-писатель обреченно следовал по дороге великой русской литературы. Блок-читатель и зритель понимал: грядет иная культура. В кинематографе, где три-четыре колченогих скамейки да шелуха от семечек на полу, смотрел дурные боевики; вернувшись с мороза домой, раскрасневшийся, перед сном читал «Дракулу» Брэма Стокера. И не бился в конвульсиях, подобно Чуковскому, трепетавшему читателю «Ната Пинкертона» и посетителю иллюзионов и паризиан — «Собрать киношки бы да сжечь». Чего там! Киношки и без того горели ярким пламенем, словно спички в детских руках.

Итак, после долгого отступления в исторические дебри вопроса пора выбирать наружу, где ожидать сочинения Льва Гурского, выгадывая момент, чтобы улизнуть по-английски тихо.

Не сбилось. Будь то история о покушении на президента или о президентских выборах, история, разыгрываемая в современных декорациях. Не ищите пророчеств, сценариев будущих переворотов и бедствий.

Лев Гурский пишет не антиутопии и не детективы. Он конструирует чистый саспенс — накачивает атмосферы тягелого ожидания и заставляет публику переживать. Никаких неожиданностей (почти никаких), предельно ясно, в меру динамично, словно сделано по рецептам Хичкока: «Для саспенса, как правило, необходимо, чтобы публика была хорошо осведомлена обо всех происходящих на экране событиях.

[...] По моему разумению, тайна редко обеспечивает саспенс. В классическом детективе, например, саспенса нет, там всего лишь загадка для ума. Детектив вызывает любопытство, лишенное эмоциональной окраски, а саспенс без эмоции немислим».

Нужны ли для такого рода произведений узнаваемые персонажи? Ведь, как ни откращивается автор, что совпадения имен, портретов, ситуаций и прочего случайны, стоит появиться на страницах Валерии Старосельской, генералу Дроздову, ведущему передачу «Лицом к лицу» тележурналисту Аркадию Полковникову или телезубру Вадиму Вадимычу Позднышеву, писателю Фердинанду Изюмову или Карташову в черной униформе, публика хмыкает. Они, родные!

По тому же Хичкоку даже совпадение внешних деталей допустимо. Готова роль убийцы в фильме «Окно во двор», Хичкок обучал актера жестам продюсера Д. Селзника, вечно лезшего в хичкоковские дела.

Но и сходство (хотя во втором романе отсылки к реальности больше, чем в первом) — не главное. Публика платит деньги, чтобы испытать хоть какой-то прилив эмоций и тут же забыть прочитанное навсегда. Автор невольно вынужден напоминать, талдычить. В хичкоковском фильме диверсанты, намеревавшиеся убить государственного деятеля, прокручивали, прокручивали пластинку с музыкой, которая должна звучать на концерте. Вождь денный миг: ударник стукнет в тарелки — и одновременно грянет выстрел.

Гурский повторяет и повторяет ситуацию: президенту (какому, уточнять не надо, его заодно с перечисленными выше персонажами более не существует) грозит опасность. Противники, узурпаторы, претенденты.

Собственно, если судить по меркам литературным, это два романа об одном и том же. Подходя с мерками кинематографическими, резонно вспомнить о сиквеле. Тревожит единственное сомнение: а вдруг читатели Льва Гурского схожи со зрителями современного никельодеона?

«Я просто из шкуры вон лез, чтобы каждый мог ясно понять роль тарелок в оркестре, — устало машет рукой Хичкок, — но вы помните момент, когда камера дает крупным планом нотный лист, лежащий перед музыкантом на пюпитре? [...] Камера путешествует вдоль пустых линеек и останавливается на единственной ноте, которую он должен воспроизвести. Теперь вам понятно, насколько мощнее оказался бы саспенс, если бы зрители сумели прочесть этот кадр? [...] — Тут его собеседник Франсуа Трюффо утвердительно кивает головой. — ...Ну что ж, бесстрастность особенно впечатляет, если человеку невдомек, что он служит орудием смерти. Ведь, по сути дела, настоящий убийца — он».

К несчастью (или к радости?), завсегда таи кинотеатров не ведали нотной грамоты. Человеком, который слишком много знал, был сам старик Хичкок. И потому, когда подтянулась все-таки партия ударных, никто не выкрикнул из темного зала с глубоким удовлетворением во всю глотку: «Bingo! Есть такая партия!»

И — главное! — что ихний культурный саспенс против саспенса нашей повседневности, каковой ни конца, ни края?..

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ

Оперативный словарь персонального пользователя культуры (преимущественно кино)

Боевик — фильм с напряженным действием, для которого характерны неожиданные сюжетные повороты.

Вестерн — фильм об освоении Запада в XIX веке, главные герои, как правило, ковбои.

Гать — настил из подручных материалов через топкое место.

Детектив — фильм о расследовании какого-либо преступления, чаще всего убийства.

Истерн — приключенческий фильм, сюжет которого разворачивается на Востоке.

Приквел — фильм о предыстории событий, уже рассказанных в другом фильме.

Саспенс — эмоциональное напряжение, беспокойство, тревога ожидания. И потому зал дешевого кинотеатра правильной было бы называть залом саспенса.

Сиквел — продолжение фильма, который уже имел успех.

Триллер — жанр, для которого характерно напряженное действие, бросающее зрителя в мелкую дрожь вне зависимости от избранного сюжета.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — **73293**;

для стран СНГ — **79209**.

Во втором полугодии 2000 года каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 36 рублей;

для подписчиков стран СНГ — 41 рубль

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12 до 17.30, кроме субботы и воскресенья. Справки по тел. 214-31-23.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

Распространением журнала «Октябрь» за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax. (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka @ naukae. msk. ru

▲ Оперативная информация из всех регионов России и мира

▲ Объективность освещения событий

▲ Актуальные интервью, экономика, расследования, пенсии, налоги, консультации, спорт, культура, история, сад и огород, здоровье, «горячие линии» с читателями.

▲ Но самое главное — «Труд» остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права человека

ТРУД

Ваша Газета

«Труд-7» - Ежедневная газета для семейного чтения на 32 страницах. Обзор событий за неделю, комментарии известных политиков и экономистов, интервью с суперзвездами кино, музыки и спорта, подробная телепрограмма с анонсами лучших программ и фильмов, вопрос-ответ, гороскоп, кроссворд, тесты, шахматные задачи, занимательное чтение.

ЧТО ВЫПИСАТЬ?

РАЗВЕ ЭТО ТРУДНЫЙ ВОПРОС

Адрес редакции: 103792, ГСП, Москва, К-6, Настасьинский пер.4
Телефоны для справок — 299-3906. Издательство — 292-4990.
Рекламный отдел — 200-0338 (факс — 200-0124). Частные объявления — 200-0117. Региональная реклама — (095) 299-9448, 299-4023. Факс (095) 200-0119. Отдел по связям с общественностью — т/ф 299-9096. Телекс 111 238 «Труд»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*В 2000 году «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Наталия ИЛЬИНА. **Из последней папки.** Записи разных лет (1957—1993).

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.** Книга прозы.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».** Письма Ю. Олеши к жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Новочеркасские рассказы.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Дневник читателя.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Повесть.**

Борис ХАЗАНОВ. **Корсар.** Повесть.

Сергей ЮРСКИЙ. **Опасные связи.** Продолжение новой книги.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Афанасия МАМЕДОВА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Антона УТКИНА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.